ИГОРЬ
ГУБЕРМАН

КНИГА СТРАНСТВИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

"…Я ведь двигался по жизни, перемещаясь не только во времени и пространстве. Странствуя по миру, я довольно много посмотрел - не менее, быть может, чем Дарвин, видавший виды. Так и родилось название. Внезапно очень захотелось написать что-нибудь вязкое, медлительное и раздумчивое, с настырной искренностью рассказать о своих мелких душевных шевелениях, вывернуть личность наизнанку и слегка ее проветрить. Ибо давно пора…"

- Губерман Игорь
  -
  - Часть I. ЖИТЕЙСКИЙ ПУНКТИР
    - Стоп - кадры
    - Двенадцать лет на сцене
    - Праздник, который всегда со мной
    - Высокое искусство мемуара
  - Часть II. ДОРОГА В РАЙ
    - Краткое уведомление о шести последующих главах
    - Хвала неоспоримому греху
    - Прощение зависти
    - О высокой пользе низкой страсти
    - Остудись во гневе
    - О лени, матери пороков
    - Иного я не мыслю разговора
  - Часть III. В ОГОРОДЕ СЕЛЬДЕРЕЙ
    - О евреях и других аномалиях
    - Что нам в нас не нравится
    - Неизбежность странных сюжетов
  - Часть IV. ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ
    - Байки нашего двора
    - Карнавал свободы
    - Обаяние тухлого мифа
    - Забытые стихи
  - Часть V. ТРОЕ В ОДНОМ ВЕКЕ
    - Что наша жизнь?
    - Судьба человека
    - Эфраим, праведник-авантюрист
  - Часть VI. О ВСЯКОМ И РАЗНОМ
    - Сумерки всего
    - Ах, люди, люди...

- Парк культуры вечного отдыха
- Глава о неслучившейся книге
- Окончание

Губерман Игорь
Книга странствий

Очень короткое, но нужное начало

Вообще говоря, я хотел назвать эту книжку скромно и непритязательно "Опыты". Но вовремя вспомнил, что такое название уже было. И начертано на трёхтомнике Монтеня, стоящем у меня на полке. А ещё мне было очень по душе название известной книжки философа Бердяева - "Самопознание". Но тут возникла закавыка несколько иная: у философа Бердяева явно имелось, что в себе познавать, а у меня? Я заглянул вовнутрь себя и молча вышел. Но от огорчения сообразил, что я ведь двигался по жизни, перемещаясь не только во времени, но и в пространстве. Странствуя по миру, я довольно много посмотрел - не менее, быть может, чем Дарвин, видавший виды. Так и родилось название.

Внезапно очень захотелось написать что-нибудь вязкое, медлительное и раздумчивое, с настырной искренностью рассказать о своих мелких душевных шевелениях, вывернуть личность наизнанку и слегка её проветрить. Ибо давно пора.

Мой путь по жизни приближается к концу. Душа моя чиста, как озеро, забытое прогрессом. Я эту мысль уже зарифмовал когда-то, у меня такой именно способ сохранять свои и чужие мысли. Я уже в возрасте, который в некрологах именуется цветущим. В такие годы пишут умные и серьёзные книги, но я ещё настолько не состарился. Хотя уже охотно ощущаю вечернее глотание лекарств как исполнение супружеского долга. Ну, словом - грех не занести на беззащитную бумагу все мои от жизни легкомысленные впечатления. И выпивка, конечно, мне поможет. Многие пьют, чтобы забыться, а я - чтобы припомнить неслучившееся. Как говорил Экклезиаст (цитирую по памяти) - есть время таскать камни, а есть время пить пиво и рассказывать истории. Тем более, живу я в Израиле, где и без того достаточно камней, ибо каждый приехавший сюда скидывает камень с души. Это сказал, вернувшись из Вавилонского плена, какой-то древний еврей своему столь же древнему собеседнику. Я этого, правда, нигде не читал, но, вероятно, тот древний еврей просто не записал свою мысль. И вообще, если вы в моей книге прочитаете: "как говорил Филоктет в беседе с Фукидидом" - не используйте эти слова в научных трудах, ибо летучие цитаты я обычно сочиняю сам. Однако же, я убеждён, что ежели в учёной и серьёзной книге вдруг написано, что Эмпедокл сказал нечто

Филодендрону - то и это чушь собачья, ибо это сотню лет спустя сочинил какой-то третий грек, чтоб именами усопших утвердить свою сомнительную правоту. У меня, кстати, в блокноте понаписано полным-полно различных мудрых мыслей, только возле каждой есть пометка, откуда она именно и чья. И мог бы я спокойно зачеркнуть эти пометки и начинить свою книгу мудрыми словами и идеями. Но я побаиваюсь подлинных чужих цитат, ибо опасно, если книга умнее автора. Кроме того, по-настоящему глубокие мысли всегда печальны и пессимистичны, а мне вовсе неохота утолщать жалобную книгу человечества. Хотя с другой стороны, я где-то прочитал, что иметь на каждый случай подходящую цитату - это наилучший способ мыслить самостоятельно. Прямо не знаю, что лучше, - буду поступать по ситуации.

А вот действительно печальное в любых воспоминаниях - тот факт, что многое никак не выскажешь. Я вот о чём, я поясню это простым примером. Дочка моя Таня в возрасте лет четырёх влюбилась в незамысловатую пластинку "Малютка-флейтист". Она слушала её целыми днями - как только пластинка кончалась, она тут же ставила её с начала и опять изнемогала от блаженства. Вскоре она выучила текст наизусть и занялась естественным детским террором: принялась её пересказывать. Одной из первых жертв оказалась её любимая тётя Лола, сестра матери. С подъёмом и волнением излагая текст, минуты через три вдруг маленькая Таня остановилась и как-то напряжённо замолчала.

- Забыла? - участливо спросила тётя Лола.

Танька, не сказав ни слова, отрицательно покачала головой.

- Так что же ты молчишь? - обеспокоенно спросила тётя Лола.

- Здесь музыка, - объяснила ей Таня.

И я как раз об этом же: никак не перескажешь всю ту музыку, что звучала в наших душах в разные года по поводу тому или иному, а гораздо чаще - просто так. И мемуары это сильно обедняет. А ведь хочется - ох, хочется! - представить свою жизнь красиво. Нет, не приукрасить, не приврать, а именно представить. И мне снова много легче объясниться на примере или случае.

Мне рассказывал один художник, начинавший некогда в Одессе. Он сидел во дворе своего густо населённого дома и изо всех юных сил подражал художнику Поленову - рисовал одесский дворик. Там висело на верёвках разноцветное бельё, и в том числе - исподнее, конечно, ему было весело и интересно среди этого пейзажа. Вышла ветхая старушка, повернула часть бельишка к солнцу непросохшей стороной и с недоумением спросила у юнца, зачем он это всё рисует.

- Будет картина, - ответил он вежливо, - повезу её на выставку

в Москву.

Старушка покачала головой и удалилась. Через минут десять она снова вышла и залатанные старые подштанники, что сохли на верёвке, заменила новыми и целыми.

- Если в Москву, - сказала она художнику,- пусть лучше будут эти.

Как раз об этом я и говорю.

К несомненным достоинствам моей книги следует отнести тот факт, что её можно читать, начав с любого места и не подряд. Включая, разумеется, возможность не читать её совсем. Но если всё-таки вы станете её листать (довольно частая ошибка у любителей воспоминаний), то наверняка наткнётесь на места, где с автором категорически не согласитесь. И закипят у вас разнообразнейшие возражения. Так вот, имейте в виду, что я заранее согласен с каждым вашим аргументом. Хотя согласие моё такого будет типа, как в истории, которую я некогда услышал.

У нас тут жили в Иерусалиме два пожилых плотника - Яков и Фёдор, русский и еврей. Они давно дружили, за работой предавались шумным философским спорам, будучи попеременно правы и не правы, только Яков обожал, чтобы за ним оставалось последнее слово. И однажды на какой-то довод Фёдора ему Яков сказал:

- Ты, Федя, рассуждаешь прямо, как еврей. Ты, может быть, и есть еврей?

- Ты что? - обидевшись, ответил Фёдор. - Ты не знаешь, что ли? Хочешь, я тебе сейчас докажу?

- Да я твоё доказательство вчера под душем видел, - досадливо отмахнулся Яков. Но Фёдор в полемическом задоре вынул всё-таки и предъявил своё доказательство.

- Да, ты не еврей, - задумчиво согласился Яков, лихорадочно соображая, что всё-таки не за ним остаётся последнее слово. И язвительно добавил:

- Но и это - не хуй!

Все мемуары пишутся ещё и для того, чтоб неназойливо и мельком похвалиться и похвастаться. А у меня для этого хранится в памяти (и там пребудет вечно) удивительный житейский эпизод. Пять лет назад я получил на своё шестидесятилетие уникальный по душевной ценности подарок. Для того, чтоб рассказать о нём точнее, я отступлю от юбилея на полгода назад. Я получил тогда из Нью-Йорка от своего друга Юлия Китаевича довольно странное письмо. Он собирался торговать с Россией всяческой медицинской аппаратурой и просил меня прислать ему список людей (в Америке, в Германии, в Израиле, в России), с которыми я был настолько близок и которым я настолько

доверял, что Юлик мог спокойно обратиться к ним за разными наводками на сведущих людей и вообще с некими вопросами. Я пожал плечами, смысла обращения не понимая, но немедленно составил такой список. Он оказался довольно обширен - помню, как я хмыкнул не без удовольствия, как много у меня по свету развелось за жизнь приятелей. И Юлий всем им позвонил. Но вовсе не с той целью, о которой говорилось мне. Он предложил им скинуться по сотне долларов, чтоб к юбилею изготовить мне некий поразительный подарок. И никто из них не отказался. В день юбилея я получил отменно изданный сборник своих стихов, который никогда не составлял. Он явился в свет "без посредством отца", как говорили некогда в Одессе. Его составили Саша Окунь и Дина Рубина. А все стихи перепечатывала (у меня под носом, на моём компьютере, мне только стоило уйти) моя жена Тата. Вообще об этом знали человек, наверно, двести, и ни один не проболтался! Для интеллигентов это крайне редкое явление. Полным идиотом в этой ситуации был только я, ни разу ничего не заподозрив за полгода. Более того: за месяц до юбилея я пришёл в любимый всеми нами ресторан "Кенгуру", и владелица ресторана Лина спокойно обсудила со мной меню на тридцать человек (на больше не было финансов), мне ни слова не сказав о том, что ужин ей уже заказан - и не на тридцать, а на сто двадцать человек - от собранного оставались деньги. Тата стала волноваться только за день приблизительно - всё спрашивала у меня, не склонен ли я к инфаркту от различных неожиданностей жизни. Я, тупица толстокожий, ухмылялся, ничего не понимая. Возле самой двери в ресторан мне Тата вдруг заботливо сказала - "ты держись", но я и это понял как её всегдашнюю боязнь, что я наговорю различных глупостей. И тут я всё увидел. Ибо все уже сидели чинно за столами, а посреди зала огромной и прекрасной грудой возлежал тысячный тираж впервые мной увиденного сборника "Открытый текст". Он издан был со вкусом и размахом. А те, кто скидывался, - каждый получил номерной экземпляр в роскошной обложке из холстины. Мне такой достался тоже. Нет, я не расплакался при входе, удержался, я заплакал чуть попозже, уже выпив и пытаясь что-то благодарственное несвязно лепетнуть. Я, наверно, что-нибудь высокое хотел сказать - об уникальности такого дара дружбы и о безмерной благодарности моей, но так как я к высоким изъявлениям не приспособлен, то мой чуткий организм - чтоб выручить меня - и заменил слова слезами.

И ещё одна короткая история, пригодная для праведного хвастовства. Совсем недавно в Бутырской тюрьме состоялось уникальное для заведений такого рода мероприятие: выставка московских художников. Они развесили свои работы в большом

зале, и зэкам эта выставка будет доступна. Накануне открытия художник Боря Жутовский спросил у начальника тюрьмы, может ли придти на неё Игорь Губерман - сейчас он тут в Москве, но у него израильский паспорт. И начальник тюрьмы ему ответил незамедлительно и кратко:

- Губермана я сюда пущу по любому паспорту и на любой срок!

Хорошо, если книжки начинаются одинаково, подумал я, тогда немедля видно, что писал один и тот же автор. По глубине этой догадки легко понять, что я уже немного выпил и теперь был склонен размышлять о книге моих странствий. И в пространстве, и во времени, разумеется. Что наша жизнь, как не дорога? Да ещё с заездами в различные отменные места. Ибо любая заграница интересна своими иностранцами, подумал я и записал эту удавшуюся мысль. А так как предыдущая моя книжка воспоминаний где-то в самом начале повествовала о выпивке по пути в Америку, то вот сейчас, летя в Австралию, мне стоило подробно описать одиннадцать часов тоски по сигарете. Пожалуй, ситуация сейчас была потяжелей, чем в лагере - там не хватало табака, а здесь его полно было со мной, но было негде. Попирались на глазах моих святые человеческие права, но борцов за них пока что не нашлось. Да, мы курящее меньшинство, но сексуальное такое же давным-давно уже боролось за свои права! Так почему же нам, подобно гомосекам и лесбиянкам, не выйти на улицы городов с протестом против ущемления? Жизнь в самолёте обещала быть тяжёлой по ещё одной причине: стюардесса (из Малайзии или Филиппин, если это не одно и тоже) явно была фраппирована (если я верно понимаю это слово) моим непрерывным выпиванием, её это чем-то задевало. Она наливала мне с потухшим взглядом и со скорбно сжатыми губами. Только я ничем не мог помочь ей, видит Бог. А то, чем я бы мог ей помочь, она отвергла бы с негодованием, ибо по сухости фигуры судя и по общей грустности лица, была из этих (не люблю даже названия), отъявленных от собственной обездоленности. Такими пополняются международные террористические группы, подумал я. А может, так оно и есть? Я присмотрелся к ней внимательней и убедился в точности догадки. Взгляд мой оценив неверно, но правильно, она молча налила мне виски. И внезапно улыбнулась, так похорошев и помягчев, что я почувствовал себя мерзавцем и ещё острее захотел курить. А за окошком самолёта протекала невообразимая красота: по ровной синеве величественно плыли белые льдины, острова, торосы, снежные холмы и просто ледяные завихрения. Красота дороже денег, подумал я, но деньги нам нужней. И вдруг

мне стало ясно, что природа воздушной и водяной стихии имеет нечто общее между собой. Научность этой мысли потрясла меня. Я вообще ужасно мало, плохо и дремуче образован. Много лет я собирался как-нибудь при случае свой уровень повысить, но потом одну ужасную историю услышал и раздумал. Дальний родственник моей жены Таты, приняв пагубное решение образоваться, кинулся на старости лет читать энциклопедию. И что вы думаете? Умер на букве "В". Про это помня, я остался тёмен и дремуч. Поэтому и приходящие мне в голову идеи об устройстве мироздания всегда меня волнуют своей свежестью.

А так как единственное, что может сравниться по глубине и размаху с моим невежеством, - это моё доброжелательство к окружающей среде, я от нахлынувших высоких чувств чокнулся своим виски с соседом - англичанином, сосавшим из соломинки томатный сок. Он дико возбудился, полагая, что разрушено и попрано его многолетнее одиночество внутри занудной собственной натуры. И заговорил, бедняга, на присущем ему безупречном английском, не понимая, что каждым звуком своей родной речи он невозвратно разрушает нашу только что проклюнувшуюся близость, ибо языков не знал я и не знаю никаких. А если бы и знал, то хер бы стал я тратить на пустые разговоры время размышлений о родстве стихий. Тут я случайно выпил белого сухого - просто рядом наливали именно его, и мне так понравилось, что я немедленно повторил. Я выпил бы ещё, но коляска уже чуть отъехала, и я решил записать часть своих мыслей.

Увидав, что я ещё и пишу, англичанин просто охуел. Ни слова не произнося, он долго на меня смотрел, в душе себя коря, конечно, за нарушение пресловутой английской корректности. Он, видимо, хотел меня узнать - а вдруг я кто-то? Но, не опознав, сообразил, что и Шекспира знали в лицо немногие его современники, утешился и засопел, причмокивая.

А я уснуть не мог. По двум причинам сразу. А точней - по трём, но надо по порядку. Я вдруг вспомнил, как летел куда-то, и под самолётом расстилались не плавные снежные и ледяные поля, а вовсе наоборот немыслимо курчавые и завитые. Словно огромного размера белый баран проглотил наш земной шар, и только некоторых за умеренную плату выпускает полетать вокруг него. И я был очень рад, что это вспомнил, потому что твёрдо знал: уж если взялся я писать, то должен мыслить образами, где-то я это читал. А тут отменный образ появился сам, и я неслышно ликовал. Коляска с выпивкой ещё не ехала - это и было второй причиной моей творческой бессонницы. А третья состояла в том, что впереди неподалёку распустился белый экран, и стали нам

показывать кино. Я сразу же хочу предупредить, что я от этого кино так получшал душой, так вырос нравственно, что не могу его не рассказать. Я звук не слышал, ибо надевать наушники бессмысленно мне было, я ведь всё равно не понимаю иностранной речи, так что мной рассказанное может со сценарием совсем не совпадать. Но что из этого? Ведь если бы я понимал, тогда сюжет владел бы мной, а так - я полностью владел сюжетом, и как раз поэтому возвысился душой.

Я самое начало продремал, но главное и было чуть попозже. Там отец бил сына. Или моложавый дедушка - подростка внука. Лучше пусть будет отец. Он музыкант, и сына он учил тому же, только сын его нечаянно обидел пожилую учительницу музыки, а та - ещё отца его учила, и отец ударил сына по лицу. Это такой трагедией явилось для обоих, что сразу вспоминался Гоголь с его Тарасом Бульбой, потому что для еврея стукнуть внука - это тяжелей намного, нежели казаку сына застрелить. А что эти сын с отцом (дед с внуком) евреи, никакого сомнения не было, потому что оба - музыканты. И тогда отец от горя, что ударил внука, пошёл переживать на какую-то очень тёмную улицу, где его подстерегало ещё одно моральное падение в виде какой-то пожилой проститутки с некрасивым высохшим лицом и дико скрюченной невыдающейся фигурой. Только он с ней трахаться не стал, а сел на скамейку разговаривать и закурил (вот сволочь, я не мог этого сделать!). А в это время внук одумался после таких побоев, весь душевно возродился и потрясающе сыграл на скрипке на каком-то выпускном вечере. (Возможно, это было пианино, я плохо вижу без очков, а чтобы опознать по звуку, наушники я брать не стал, я всё равно язык не понимаю). Играл он очень, очень хорошо. Как Бог играл он. Как Шопен, когда вошла Жорж Санд. И сам от собственного впечатления, когда пошёл домой, то ёбнулся в обморок. А на дворе дождь, и поднять его некому. Но что вы думаете? Дождь прошёл, мгновенно всё подсохло (даже лето, кажется, сменилось на зиму), он сам поднялся и идёт (очень подрос за это время), и встречает девушку - она была уже в начале, он тогда её обидел тоже. А она давно его простила, ей только хотелось его встретить, чтоб ему об этом рассказать. И вот они уже потрахались (а дедушки с отцом нет дома), и она уснула, а у него в голове - мелодии и разные пейзажи. И тогда бежит он в зал, где играет та старушка учительница, которой он в детстве нагрубил (за что его отец и стукнул), и он идёт прямо на сцену и, вовремя угадав, переворачивает ей нотную страницу. Тут она взорлила и заиграла со страстью Рихарда Вагнера на еврейских похоронах. А в зале уже плачет его дедушка (довольно сильно постарел, так что,

наверно, дедушка).

И кончилось кино. Я так душевно вырос от него, что постеснялся беспокоить стюардессу и отпил из собственной бутылки, наплевав на самолётную халяву. Но перебрал. В силу чего проснулся я уже в Бангкоке. Да, до Австралии оставалось ещё столько же, и вечер, ночь и утро мне предстояло отдохнуть в Таиланде. Как я там курил тяжёлые наркотики и как валялся я в массажных заведениях - притонах (где кидают прямо в ванну какую-то ароматическую травку) - я об этом умолчу, ибо приятели мне не поверят всё равно, а жена поймёт меня неправильно, решив, что я всё это делал ради достижения блаженства, а не ради сбора информации для книги. Но спал я плохо в эту ночь, поэтому назавтра всю дорогу до Австралии (и стюардесса наливала мне от сердца) я проспал, а снились мне наркотики и ванна с травкой. Даже не припомню, кто со мной рядом сидел. По-моему, сидел кто-то, но при первой же возможности пересел. Чтоб я так жил, как я храплю, подумал я меланхолически. Я прихватил с собой в дорогу "Божественную комедию" хотел прочесть её ещё раз (ибо ни разу не читал), но так и не раскрыл, хотя она валялась рядом. Как-то мельком глянув на неё (поскольку чуть не выплеснулось пиво), я подумал, как мельчает со временем значение и смысл однокоренных слов: Данте - Дантес - дантист, но развить эту идею не успел, везли обед. А после самолёт летел довольно низко, и в просветах между облаками плыла пустыня и холмы. Я сразу догадался, что уже летим мы над Австралией. Очень хотелось послать телеграмму соболезнования вдове капитана Кука, но я в точности не помнил, где его съели, а телеграфировать откуда ни попадя мне было неудобно. Время течёт, а я лечу, подумал я с законной гордостью, и мысль эту сразу записал. Из неё, конечно, следовал какой-то вывод, резюме или мораль, и знал бы я, какие именно, то тоже записал бы. Только я не знал. Поэтому я снова задремал, а перед самым Мельбурном опять везли коляску с выпивкой.

Теперь, когда понятно вам, читатель, что за книгу эту взялся не поверхностный турист, а настоящий и заядлый путешественник, могу я смело начинать свои истории о странствиях по жизни.

Часть I. ЖИТЕЙСКИЙ ПУНКТИР

Стоп - кадры

Что память наша - это дикого размера мусорная куча - знает каждый, ибо каждый что-то вспоминал или пытался вспомнить. Те психологи и психиатры, что изучают память, пишут о связи воспоминаний по смысловой ассоциации, по созвучию, подобию внешнего вида, совпадению по времени, даже в соответствии с настроением. Я когда-то читывал статьи и книги о связях и цепочках, по которым расположено былое наше, но, копаясь в собственной памяти, понимаю снова и снова тщетность всех попыток угадать систему этой свалки. Только знаю точно, что какие-то события и факты запечатлены там прочно и надолго. То и дело в памяти они всплывают кстати и некстати, я сейчас на чистый лист этой главы их выложу без всякого порядка, перескакивая через время и пространство, ибо время всё равно одно - лично моё, текущее то вяло, то взрываясь, а пространство - слава Богу, что пришлось дожить - уже повсюдное и разное.

Все годы молодости моей - непрестанное сидение в Ленинке, я другого названия и не употреблял никогда для любимой этой библиотеки. Старожилы завсегдатаи наверняка помнят и старую курилку - огромную комнату в подвальном этаже, где стоял неописуемых размеров стол - за ним запросто уместилась бы небольшая международная комиссия по разоружению, а вместо пепельниц - стояло три или четыре столовских металлических подноса. Стульев было несколько, но на них почти не сидели, потому что вечно шла какая-нибудь шумная дискуссия, а спорить легче стоя. Самые животрепещущие темы тут не обсуждались - времена были не те, хотя уже попахивало устным вольномыслием. К тому же за столом в торце или у стенки всегда сидел дежурный стукач - они менялись, разумеется, но многих из них знали в лицо. Кстати, всегда весьма интеллигентное. Я голову даю на отсечение, что бедолаги эти все поумирали от болезней лёгких или сердца: смену высидеть в таком дыму было нагрузкой каторжной, да все они притом ещё курили сами. Высоченный потолок от дыма не спасал. Я там толпился с упоением, завёл много знакомых и общался с ними, часто забывая имя, произнесенное мне накануне или с неделю назад: калейдоскоп имён и лиц там был невообразимый. И не сиротливые телефоны-автоматы там тогда висели на стенах, как сейчас, а стояли две добротные закрытые будки. Много ли ещё живо читателей, помнящих, как снесли эти будки? А я, честно сказать, и сам бы позабыл, но мне это совсем недавно напомнил старый приятель, когда мы с ним пили водку в Вашингтоне. Дело

было так: внутри одной из будок появилась надпись авторучкой, но обведенная трижды и заметная весьма: "Бей жидов, спасай Россию!". Обсудили эту надпись сдержанно, какие тут могли быть комментарии? Слегка поспорили, должна ли обслуга библиотеки это стирать - решили, что не обязательно. А через пару дней наша дискуссия приобрела настенный характер: появилась надпись рядом: "И жидов не перебьёшь, и Россию не спасёшь!". Исторический пессимизм этой второй заметки администрация явно должна была пресечь - уже хотя бы потому, что её несомненно сделал какой-то злокозненный еврей. Тут согласились все. Администрация молчала. Третья надпись появилась очень вскоре. Начиналась она так: "Я полагаю..." Сразу же возникал образ некоего чудом уцелевшего старорежимного интеллигента, который выписывал своё наболевшее мнение, поминутно поправляя или же ловя спадающие с переносицы очки. "Я полагаю, -писал он, - что бить жидов столь же нецелесообразно, как спасать Россию". Конец цитаты. Но мелочиться и закрашивать следы народного мышления администрация сочла излишним, принят был вариант радикальный: обе будочки снесли, и на стене повисли бездушные казённые автоматы. А дискуссия, как всем изавестно, двадцать лет спустя выплеснулась на страницы прессы, только мнения по-прежнему те три, ничего нового общественная мысль пока не родила.

Год шестьдесят второй, ранняя осень. Дома у нас не было телефона, бегал я звонить в скверик на Ленинградском шоссе. Звонил я некоему редактору из издательства, мой голос был почтителен, хотя волнения не выдавал. Ещё через минуты две являл я дивное собой, должно быть, зрелище: здоровый и по виду полностью в уме амбал подпрыгивал у телефонной будки, стоя на одной ноге попеременно и руками нечто тоже танцевальное выделывая. Только минут через двадцать я унял таким образом своё восторженное возбуждение. Это узнал я, что со мной заключён договор на крохотную (первую в жизни!) книжку (а точней - брошюру) под волнующим и романтическим названием "Локомотивы настоящего и будущего". Тиражами в несколько сот тысяч экземпляров издавались впоследствии мои разные книжки - толстые и подлинные книжки, но такого удивительного счастья больше я уже не испытал.

А спустя три года вышла моя первая толстая книжка - о науке, очень шумно обсуждавшейся в те годы - о бионике. Наука эта занималась идеями, которые заимствовал человек у живой природы. И некая была там примечательность, которой тайно я гордился: книга начиналась со стиха Иосифа Бродского о

сожженном некогда учёном Мигуэле Сервете. Это было первое (если не единственное) большое стихотворение его, напечатанное в империи. Он уже тогда был в ссылке, а вернувшись, получил от меня свой гонорар. И тут же вспомнился мне вечер незапамятного дня (а это - года за два до суда над ним, я в Питер приезжал в командировку), когда уже растущая повсюду слава Бродского накрыла дивный ужин восьмерым разгильдяям. Именно в таком числе пришли мы к очень известному коллекционеру, профессору Технологического (если не вру) института. Смотрели поразительную живопись (там было много Фалька, видел я его впервые), болтали все наперебой, потом хозяин попросил Иосифа почитать, тот не ломался, а меня тем временем случайно занесло на кухню, где хозяйка уже поставила чайник и насыпала на тарелочку печенье. Тут вдохновение напало на меня, и что-то я сказал проникновенное о неприкаянном большом поэте, не евшем с самого утра. Как-то получилось вставить, что и мы с ним были с самого утра все вместе - чуть не прослезившись, хозяйка стыдливо ссыпала печенье обратно в пакет и выключила чайник. Вот-те на, подумал я, увидев несомненный вред от болтовни своей, и удручённо поплёлся в комнату. А минут через двадцать гостевальный стол в парадной комнате ломился от еды и выпивки!

Часа в два ночи той же тесной стайкой мы плелись по Моховой. Денег на такси не было ни у кого, и вовсе не хотелось расходиться. Возле одного дома я вспомнил, что тут живёт наш общий приятель - разумеется, он давно уже спал, однако всем показалось дико остроумным постучать ему в окошко. Тем более, что было оно на уровне высокого по-питерски бельэтажа, но это нас не могло остановить. Меня приподняли сначала на руках, потом я стал кому-то на плечи и кончиками пальцев дотянулся. Даже ночной стук в двери был в те годы потрясением, а тут - в высокое окно! В комнате у Алика немедленно зажёгся свет, и нам было прекрасно видно его заспанное, опрокинутое от растерянности лицо. Мы прижались к стене, он нас не увидел, свет опять погас. Но мы с пьяной жестокостью решили повторить. Когда я снова постучал и уже спрыгивал, из подворотни вышел дворник. Это нас немедля отрезвило. Ночевать в милиции не улыбалось никому. И с тем же вдохновением, что вечером на кухне, я сказал ему:

- Смотри, папаша, я из командировки приехал, а у моей жены мужик какой-то. Что мне делать?

Дворник поднял голову: в светлом квадрате виден был отлично профиль Алика, что-то взволнованно обсуждавшего с невидимой нам его женой. Скорей всего, уже нас опознали, и

теперь он получал выволочку, что якшается с такими забулдыгами. Дворник молча повернулся и ушёл обратно в подворотню. Мы растерянно молчали, ощущая холод, стыд и трезвость. Дворник возвратился через полминуты, если не скорей. В руках у него была метла.

- На-ка, парень, - сказал он, обращаясь ко мне,- палкой постучать сподручней будет.

И ушёл. Метлу прислонив к стенке аккуратно, убрели и мы. А утром все звонили, извинялись и каялись, но жена Алика ещё долго никого из нас не пускала в гости.

Мне с остротой и яркостью всё это вспомнилось почти сорок лет спустя, когда в Венеции стояли мы вчетвером (Саша Окунь, его жена Верочка и мы с Татой) на кладбищенском островке Сан-Микеле. Уже на плане для русских туристов, издавна искавших могилы Дягилева и Стравинского, чернилами был вписан Бродский, и холмик под крестом нашли мы быстро. Мы распили там бутылку, помянув его, и чуть вина плеснули на могилу.

Бродский, подобно многим, с неких лет чурался своего еврейства, никогда почти его не обсуждал, писал на христианские мотивы, и еврейство, по иронии судьбы, пришло к нему посмертно. Вся могила, включая горизонтальные плоскости креста, была уложена камушками, что приносят евреи, по давней иудейской традиции, на могилы близких. Это многочисленные израильтяне российского происхождения приходили почтить его память. Положили свои камушки и мы.

Куда-то вынесло меня на перепутье, не хотел я с самого начала вспоминать ушедших, но теперь уже никак не замолчать то чувство пустоты, что появилось в день, когда нам позвонили из Москвы про Гришу Горина. За месяц до этого мы пили с ним весь вечер в Сан-Франциско: ему исполнилось шестьдесят, и он приехал эти дни побыть с отцом. Девяностолетний отец подарил ему сто долларов, чтобы он съездил поиграть в Лас-Вегас. Это был очень неслучайный подарок: старик при помощи любимого сына изживал свою несостоявшуюся страсть к игре. Ибо советский человек, всю жизнь свою он обходился эрзацами утоления глубинного азарта, он даже в Америку уезжая с семьёй дочери, тревожно спрашивал у Гриши, играют ли там в домино. Было очень весело в тот вечер - как повсюду, где за столом сидел Гриша, и жуткая растерянность, не меньшая, чем печаль, охватила меня от вести о его внезапной смерти. За те много лет, что его знал, хоть мы и виделись довольно редко и скорей случайно, я привык, что он всё время существует где-то рядом, и что это на всю жизнь - не сомневался.

Наш огромный семейный клан был пожизненным должником

Гриши Горина. Когда меня в семьдесят девятом посадили, то немедленно и вдруг дали разрешение на выезд семье сестры моей жены - до той поры сидели они в глухом отказе. А теперь сотрудникам всевидящего ока пришла в голову роскошная идея выяснить таким образом мои преступные связи: к моему свояку стали обращаться разные тёмные личности с завидным предложением разбогатеть, если он вывезет то это, то это - ассортимент был очень разнообразен. Свояк мой наотрез ото всего отказался, но разрешения на выезд всё-таки не отменили. И тут я вспомнить попрошу, что в эти годы уезжавшие прощались навсегда - надежды на возможность видеться не было ни у кого. Тёща моя держалась безупречно и без единого упрёка или слезы - чего ей это стоило, все понимали. И возник вдруг Гриша Горин -в эти дни как раз летел он в Вену на премьеру своего спектакля. Спросил про день отъезда, посидел, рассказывая тёще, как это прекрасно, что иная будет жизнь у дочери с семьёй, и что наверняка удастся им не только видеться, но и ездить друг к другу (беспочвенное это утешение тогда твердили многие), и убежал куда-то по делам. А в день отъезда появился в Шереметьеве: он обменял, как оказалось, свой билет, чтоб ехать вместе, подхватил один из чемоданов, и его улыбчивое лицо лучше любых напрасных слов снизило трагедию проводов. А как и чем он рисковал, понятно только тем, кто жил в то замечательное время -тем, кто ещё помнит, как зависели выезды творческого человека от его идеологической безупречности.

Ещё я вспомнил по естественной ассоциации безумно смешной Гришин рассказ (его устные истории воспроизвести невозможно, он был гением застольной байки), как ему однажды позвонили из сирийского посольства. Там у нас в Дамаске, почтительно сказал ему какой-то деятель культуры, состоится премьера вашей пьесы, я уполномочен пригласить вас, вы окажете нам честь. За чем же дело стало? - спросил Гриша, - Я готов и с удовольствием. Я заполняю тут на вас анкету, - пояснил невидимый собеседник, - знаю ваше имя и фамилию, а отчество, простите, не знаю. Очень простое отчество, - бодро ответил Гриша, - Израильевич. С полминуты висело в трубке тяжкое молчание, после чего уныло скисший голос собеседника сказал: ну, всё равно приезжайте. Но билета так и не прислал.

Гриша в те года жил на улице Горького, а в ходе хлынувшей свободы в подвале его дома учинили дискотеку, и до позднего утра весь дом дрожал от лошадиного топтания. Жильцы подали в Моссовет коллективную жалобу о своём бедствии, самой высокой и опасной для дискотеки была, естественно, подпись Григория Горина. Поэтому его как-то вечером окружили три десятка

местных потаскушек, кормившихся на этой дискотеке, и выбранная ими делегатка ему ласково и вкрадчиво сказала:

- Дорогой товарищ Горин, уберите вашу подпись с заявления, и мы все тебе по разику дадим!

Но он в соблазн не впал и предпочёл переехать.

Гриша спокойно, твёрдо и с полнейшим пониманием презирал советскую власть. Как я завидовал его такому безучастному отчуждению! И все лучшие пьесы, им написанные - они вне времени империи и вне её пространства. Но в общечеловеческом они и времени и пространстве, оттого и останутся как подлинная русская литература. Впрочем, я ведь не некролог пишу - ты, Гриша, в этом месте уже стал бы улыбаться, извини. Не мне тебя хвалить, тебе отменные слова при встрече скажут и Мольер, и Свифт, и Шварц.

В переживании потерь почти всегда есть нескрываемый эгоистический оттенок. Жалко, что общался много меньше, чем хотелось бы, дурак безмозглый, жалко, что ленился (а казалось, что запомнишь навсегда) записывать те разговоры и истории, от которых то щемило сердце, то трясло от смеха. Так у меня от многочасовых разговоров с Юлием Даниэлем сохранилась в памяти одна тюремная байка, которую теперь Саша Окунь рассказывает своим ученикам-художникам как притчу о влиянии на нашу душу цвета.

В одиночной камере Волоколамской тюрьмы постигла Юлия тяжёлая депрессия. Уже и жить не очень-то хотелось, и казалось прошлое настолько пустяковым и бессмысленным, что просто обесценивалась жизнь, и засыпать было гораздо легче и нужней, чем просыпаться. Все эти дни курил он очень много, как-то поздно вечером он выкурил последнюю сигарету в очередной пачке, но вставать, чтоб выкинуть её, не было сил, а бросить на пол не хотелось. Он пустую пачку послюнил чуть-чуть и прилепил на без того шершавую, в острых комках застывшего бетона стену своей камеры. А утром разлепил глаза - скупой свет солнца через грязное окно освещал красно-оранжевый квадрат "Примы" на огромной серой стене. Это было так красиво, что внезапно радость и спокойствие омыли его душу, и ощутимо возвратились силы. Хуй вам, суки, сказал Юлий вслух и оживел на всё оставшееся время.

Помню, что в ответ я рассказал ему свою излюбленную байку о сравнительной ценности искусства. У нас в лагере за татуировку "Сикстинская мадонна" во всю спину - от шеи до копчика - брали четыре пачки чая, а за небольшую наколку на груди "Битва Руслана с головой" - шесть. И мы ещё одну татуировку обсуждали - профиль Ленина над сердцем у матёрых

блатных. Они ведь это делали совсем не потому, что чекисты, мол, не станут стрелять в Ленина (чекисты стреляли в затылок) - а потому, что это было знаком совершенно иного назначения. Поскольку Ленин - Вождь Октябрьской Революции, что по первым буквам означало - ВОР, это была семиотика профессиональной принадлежности, и кто ни попадя права не имел такое изобразить.

И, хотя затеял я отнюдь не мартиролог ушедших, только самое тут место, чтобы вспомнить, как с отменно выраженным омерзением сказал как-то Зиновий Ефимович Гердт:

- Вот вы все, профессиональные поэты, полагаете, что вы влияете на жизнь, а я, от случая до случая стихи кропая, я как раз на жизнь влиял.

В своём многоэтажном, густо заселённом доме как-то вывесил Зиновий Гердт простое и прекрасное двустишие:

> Дорогие, осчастливьте
> перестаньте писать в лифте!

И недели две, судя по запахам, оно действительно на жизнь влияло.

Среди людей, пожизненно запавших мне в душу, помянуть хочу я человека, имени которого не стану называть, поскольку наши отношения раз и навсегда оборвались. Он позвонил мне, когда я вернулся из Сибири, но я холодно и твёрдо объяснил ему, что впредь общаться я намерен только с теми, кто не исчез, когда меня арестовали, и помогал моей семье хотя бы тем, что не исчез. Он пожелал мне счастья и повесил трубку. Был он математик и философ, писал отменные эссе и здорово переводил стихи с английского. А каждый новый перевод читал он мне обычно по телефону, и мистическое было что-то в этом: он всегда звонил в ту минуту, когда наша семья садилась обедать или ужинать. Это происходило у нас в разное время, но звонок звучал неукоснительно. (Об этой мистике я вспомнил много лет спустя: в нашей квартире в Иерусалиме телефон может молчать весь день - однако только до поры, когда я скрываюсь в туалете, это длится уже много лет - дай Господи, чтоб длилось дальше.) В семьдесят каком-то году он среди бела дня плакал у меня на плече от явно подлинного горя, а я не в силах был удержать смех, утешая его. Это его исключили из коммунистической партии, прознав, что втайне он католик. Но, старик, говорил я рассудительно и нетактично, разберись для себя сам - ты коммунист или католик, это невозможно совмещать, ты лучше радуйся, что всё решили без тебя. Но он меня не слышал и не понимал. Кто-то из почитаемых

им учёных одновременно с успехом делал что-то в совершенно иной области, за что порою называл себя двуёбом, быть таким же не без основания хотел мой тогдашний приятель, но что можно совмещать, а что - нельзя, он искренне не мог понять.

Так у меня однажды было - на моём только, естественно, уровне. В Архангельске я был в командировке от научно-популярного журнала. И пошёл в зоологический музей, который оказался выходным в тот день. Однако же, почтенный представитель уважаемого органа печати, я препроводился в кабинет директорши музея - женщина приятно расцвела и вызвалась водить меня по залам самолично. Я поддерживал, как мог, высокую научную беседу о загадках мирового океана, восхищался редкостными экспонатами, всё шло отлично первые полчаса. Но тут мы миновали комнату, где на столах лежали тысячи (ну, сотни) высохших морских ежей, и моя истинная мерзкая натура (хорошо хоть, что вторая, а не главная) взяла верх. Ловким движением руки я скрал ежа себе в коллекцию. Я мог бы получить его, попросив, но это я сообразил потом. Пока что этот шар с сухими острыми колючками длиною в сантиметров пять лежал у меня в кармане штанов. А мы спокойно двигались по ставшим бесконечными залам музея. Что делали колючки с нежными частями моего тела, могут себе полностью представить только те, кто пережил по случаю какой-нибудь допрос в стране, где пытки не запрещены. Спасаясь от уколов этих, совершал я пируэты столь диковинные, что смело мог бы поступать в школу балета. Что думала директорша музея о представителе столичной прессы, я не знаю, хотя уверен, что ничего хорошего. И длилось это больше часа. Выйдя из музея, я с остервенением и счастьем выбросил ежа в помойку. И подумал, что наказан я не зря, а за простое и непозволительное человеку желание проявить одновременно обе стороны своей личности. Клянусь, что я подумал это именно тогда, а не приплёл сейчас, чтоб сделать притчу из вульгарной юной вороватости.

И вот теперь - самое время вспомнить о подлинной и многолетней раздвоенности моей жизни, когда я работал инженером и уже писал, писал, писал. И даже изредка печатался, что гнало и подхлёстывало мой азарт. Работал я электриком-наладчиком в конторе с уже забывшимся названием, после неё были другие, вот и стёрлось.

Одна, впрочем, очень солидная, была и раньше: ей благодаря участвовал я в историческом пуске то ли восьмого, то ли девятого турбогенератора на Сталинградской ГЭС (тогда все пуски были историческими). Помню, как часов в шесть утра меня как младшего послали звонить в Москву нашему начальнику.

- Пустили мы её, проклятую, всю ночь возились, - доложил я гордо и взволнованно.

- А на хер ты меня будил, я ещё вчера читал об этом в газетах, ответил мне начальник.

А контора, где я много лет трудился, занималась пуском разного оборудования на заводах, и чего я там только не налаживал. Начинали мы немедля, как монтажники заканчивали всю проводку, и вменялось нам в первейшую обязанность - за ними проверять всю правильность соединений кабелей и проводов по схеме. Это отнимало жуткое количество времени, а я уже писал рассказы, надо было что-то сочинить, чтоб экономить ценные рабочие часы. Мне в голову пришла тогда идея, мудростью которой восхитятся все, кто понимает в электрических делах. Идея в виде лозунга была, звучала как высокая инструкция: "Включать любой агрегат следует сразу, всё, что соединено неверно - выгорает!". Так мы и стали поступать. Летели предохранители, что-то отказывалось двигаться или крутиться - это было много проще изнурительной прозвонки проводов. Патента на свою идею я просить не стал, уж очень не хотелось тут же вылететь с работы.

Так самозабвенно я трудился на благо общества, пока однажды вечером не зашёл ко мне приятель, где-то всю жизнь чем-то руководивший.

- Хочешь, я тебя устрою завтра же на непыльную, но разъездную работу? - спросил он. Ещё бы не хотеть, подумал я, давно пора мне повидать страну лицом к лицу. И сдержанно кивнул. Приятель написал короткую корявую записку, суть которой не была длинней её самой - прими такого-то, не пожалеешь, я тебе завтра позвоню. На сложенной записке написал он так же лаконично - Рабиновичу. Я засмеялся, и мы сели выпивать. А что мне предстоит, я не спросил, меня тогда не в силах испугать была никакая работа, я на всех работал равно плохо и халтурно. А назавтра эту записку медленно и вдумчиво читал её адре-сат Рабинович, который как раз так и выглядел. А прочитав её, спросил:

- Скрываетесь от алиментов? - Нет,- удивлённо ответил я. Он мгновение подумал.

- Алкоголик? - полуутвердительно спросил он с некой грустью.

- Вовсе нет, - ответил я. И это было полной правдой в те годы.

Уже раздумий не было, и Рабинович с пониманием сказал: - Имеете судимость, жить в Москве нельзя.

- Ни разу не судили, - ответил я, провидчески добавив, - пока что

И задал Рабинович замечательный вопрос:

- А что же вы тогда к нам поступаете?

- Поездить хочется,- сказал я честно.

- Евреи любят ездить,- согласился Рабинович. Я молчал.

- Особенно в молодости, - настаивал Рабинович. Мне снова было нечего возразить.

- Пишите заявление, я завизирую, идите к главному энергетику, - сухо сказал мой будущий начальник (дивным и спокойным ко всему на свете оказался позже человеком).

Главный энергетик сидел этажом выше и понравился мне с первого взгляда, мы потом с ним очень подружились. Был он из приволжских немцев, побывал некогда в лагере, начитан был, умён и тоже горестно спокоен. С ним решил я для проверки пошутить и, сев возле стола его, сказал, как будто упреждая:

- Я не алкоголик, не скрываюсь от алиментов и ни разу не судим.

- Это говорит о вас негативно,- холодно откликнулся ещё один мой будущий начальник. - Будьте добры подождать в коридоре, мне надо позвонить.

Думая растерянно и с интересом о загадочной конторе, я курил и ждал. И тут ко мне вдруг подошёл средних лет и очень интеллигентного вида человек, попросил огня, прикурил, выдохнул дым и вежливо спросил, не я ли тот новый прораб, что сейчас к ним поступает на работу. Я утвердительно кивнул. И человек сказал, очень прямо глядя на меня:

- Вам будут говорить, что мы прорабов посылаем на хуй, вы не верьте, они у нас сами идут.

Он повернулся и ушёл, ступая медленно и по-хозяйски. А меня позвали оформляться.

Контора эта ставила по всей империи (особенно где было крупное строительство) земснаряды - эдакие огромные баржи с насосами и глубоким хоботом, уходящим на дно водоёма. Земснаряд высасывал землю, углубляя дно водоёма, а пульпа - земля с водой - подавалась по трубам в другое место, где надо было сделать сушу. Такие вот могучие плоды технического разума я запускал в ход после того, как монтажники ставили на баржу всё необходимое оборудование. С этой бригадой монтажников мне и предстояло ездить. Через день мы уже были все вместе в маленьком городке недалеко от Москвы, носящем почему-то гордое название - Суворов. Там в центре городка стоял даже памятник полководцу: Суворов был, как полагается, маленького роста, очень прямой и гордый, а лицо - чистый Белинский у постели больного Гоголя. Это, по всей видимости, символизировало гуманизм российской завоевательной

политики. Я поселился в маленькой гостинице, а вся бригада моих монтажников нашла какое-то общежитие. Недели две мы молча приглядывались друг к другу. Я бродил по палубе и трюмам этой баржи, наблюдая за монтажом, бегал ругаться, что запаздывает нужный кабель и необходимые приборы, быстро убедился в полной сплочённости бригады и в беспрекословном подчинении её тому интеллигентного вида бригадиру Михалычу, что сообщил мне, что прорабов они на хуй не посылают. Я им не очень-то и нужен был, работали они сплочённо и очень грамотно - прорабом, собственно, и был у них всезнающий Михалыч, я как наладчик нужен был последние два-три дня (чем я впоследствии и пользовался без зазрения совести). Должно быть, потому и уходили от них прорабы, что бывали посылаемы при попытках вмешаться и поправить. Мне это и в голову не приходило, уже дня через три я хищно и сладострастно сообразил, что явно свободен и могу сидеть в гостинице, изводя чистую бумагу. А через две недели всё стало на свои места и прояснилось полностью, включая те вопросы Рабиновича. За мной в субботу утром прибежал мальчонка-приборист (лет двадцать ему было, самый младший среди нас) и попросил придти в общежитие - бригада просит, сказал он. И я пошёл, конечно. Все они сидели в одной комнате, сгрудившись тесно вокруг стола с водкой, колбасой и солёными огурцами. Выпили они уже изрядно (часов одиннадцать утра), все сидели в майках, и такое множество татуировки украшало каждого, что даже юный пионер немедля понял бы, где провели они значительную часть своих цветущих жизней. Мне освободили табуретку, налили стакан и на ломоть хлеба положили колбасу, украсив половинкой огурца. Всё было молча и торжественно, хотя по лицам собригадников бродило некое расположение - мне предстояла явная приятность. Я готовно взял стакан.

- Мы к тебе, Мироныч, присмотрелись, чуть между собой поговорили, медленно сказал Михалыч, - всё к тому идёт, что ты нам подходишь.

А я был молодого гонора исполнен в те года.

- Вы мне тоже,- ответил я. Не лошадь же они себе купили.

Михалыча перебивать не следовало, я непозволительно снижал важность задуманной процедуры. Он чуть сощурился, и тут же тень пробежала по всем лицам Но он сдержался и меня не осадил.

- Так вот я и говорю, - продолжил он так же размеренно, -что ты нам годишься, и работай на здоровье. Только у меня к тебе одна просьба: когда будешь заполнять наряды, без меня это не делай, мне видней, кто как работал в этот месяц. Сговорились?

- А я могу тебе отдать их заполнять, если бригада согласна,- ответил я покладисто, - мне это по хую, я распишусь только в конце, а все претензии ребят тогда к: тебе.

- Так не пойдёт, Мироныч,- снисходительно объяснил мне бригадир, - с тебя начальство глаз не спустит, когда ты деньги станешь нам выписывать, наряды на тебе, я только одним глазом должен глянуть, так посправедливей будет. Ты согласен?

- Не о чем говорить,- сказал я.

- За всё хорошее, - сказал Михалыч, поднимая стакан. Засиживаться я не стал, открытым текстом объяснив, на что я трачу время. Что я именно пишу, я не сказал, мне самому не очень ясно это было. Тем более, - сказал Михалыч, и вся бригада дружно засмеялась. С тех пор свою бригаду видел я урывками, хотя являлся каждый день на час-другой, чтоб не застукало местное начальство. Что пересидели хоть по разу они все, я понял ещё в ту субботу, а за что именно каждый, мне узнать не удалось, хотя свербило любопытство постоянно. Просто я однажды спросил об этом самого младшего: мол, ты за что? Он мне ответил, улыбаясь во весь рот:

- Любил, Мироныч, я по магазинам походить.

- За это разве садят? - изумился я наивно.

- Я ходил в ночное время, - пояснил мне собеседник. А назавтра (или в тот же день) отозвал меня Михалыч в сторону, сказал, что все меня ребята уважают, но расспрашивать, за что они сидели - среди нас не принято, Мироныч, ты ведь не по кадрам и не мент. Сговорились?

- Извини,- ответил я, - не знал и не подумал. Больше не спрошу ни у кого. Вот разве только у тебя, Михалыч, ты прости, уж очень интересно.

- А меня о чём угодно, - сказал Михалыч, - я, видишь ли, Ленина рисовал.

Уже напичканный в те годы всяким самиздатом, я воскликнул, фраер, с радостной наивностью:

- Карикатуры что ли?

Мой Михалыч с омерзением поморщился:

- Какие на хуй карикатуры? Я его на деньгах рисовал.

Из редкостной породы уголовников - он был фальшивомонетчиком, бригадир Михалыч, а отсюда, как мне кажется, проистекала и видимая интеллигентность его облика. Сидел он уже трижды, но срока были недолгие всегда.

- Хороший адвокат? - спросил его немедля я.

Он засмеялся так, что я бы мог обидеться, но любопытный фраер был во мне сильнее гонора.

- Мироныч,- объяснил мне бригадир,- адвокат хорош любой,

чтоб денежки носить судье и прокурору, он затем только и нужен. Только не моего изготовления, конечно, денежки. Есть ещё вопросы?

У меня их было много, но хватило такта промолчать. А Михалыч после разговора нашего терял порой свою солидность и подмигивал, меня встречая мне это было лестно и приятно.

Только вскоре я женился, с разъездной работой надо было заканчивать, и я ушёл из дивной той конторы. Вышла, как я уже упоминал, первая толстая книжка, и мгновенно я вкусил сладость авторского чувства. Именно с женитьбой это оказалось связано, точней - со свадьбой.

Недавно мы с женой, гостей не созывая, тихо выпили за тридцать пять лет нашего супружества де-юре, помянув тем самым день, когда ходили в загс. А та же дата нашей близости де-факто праздновалась нами на год раньше, ибо именно её я полагаю подлинной точкой отсчёта, отметку в паспорте считая пустяком и формальностью. И мне жена сказала с чисто женской мудростью, что де-факто - это мой праздник, а её праздник -де-юре.

Так вот, за несколько дней до этого праздника я ездил в Киев, а когда в доме приятеля кончилась водка, вызвался сбегать, и в очереди этой у меня украли паспорт. Я вернулся без него, и что подумала об этом моя тёща, она призналась много позже. Поменять в те годы паспорт можно было месяца за два, а в загсе нам было назначено уже через три дня, и гости позваны. Я пошёл к начальнику паспортного отдела нашей районной милиции, а для начала разговора подарил ему свою книжку, где уже были написаны слова благодарности. Эффект превзошёл все ожидания. Начальник лично отнёс моё заявление паспортистке, клятвенно меня заверил, что через три дня утром (загс был днём) получу я новый паспорт, и спросил, не может ли он быть полезен чем-нибудь ещё. Спасибо, нет, вы чистый благодетель, заверил я его, в ответ на что он доверительно спросил, не с умыслом ли я утратил паспорт, потому что в этом случае он с лёгкостью растянет моё дело на полгода. Нет, ответил я, и мы с ним посмеялись зрелым мужским смехом. Только принесите паспортистке коробку конфет, предупредил он меня, прощаясь, она у меня баба с норовом, а всё теперь зависит от неё.

Надо ли говорить, что в этот день я с самого утра уже торчал в милиции? Паспортистка с лицом тюремной надзирательницы (через пятнадцать лет я видел много таких лиц) сказала сухо, что ещё не всё подписано, как должное взяла коробку конфет, спокойно вытащив её из газеты, куда я трусливо спрятал свою мелочную взятку, но пообещала к часу дня успеть. Ну, словом,

опоздал я в загс всего минут на сорок, и жена мне это помнит до сих пор. Но главное я обнаружил только в загсе: видимо, коробка показалась этой бабе несколько мала на фоне сделанного мне благодеяния, поэтому все пункты в паспорте были заполнены нормально маленькими буквами, а в графе национальности слово "еврей" - огромными и прописными. Очень я любил тот паспорт и жалею об утрате до сих пор.

А книжка эта привела меня спустя несколько лет на студию научно-популярного кино, где я кропал сценарии, и до поры всё было хорошо. Но как-то главному редактору пришла идея что-нибудь приятное мне сделать и при всех: покинув кабинет, зашёл он в комнату редакторов, где я толпился, и сказал:

- Какие-нибудь если есть у вас задумки, пишите мне заявку, я с вами немедленно заключаю договор на фильм.

Задумок было в изобилии, но об одной я точно знал, что не пройдёт, а мой язык уже заговорил как раз о ней. Поскольку накануне я на пьянке у приятеля услышал об учёных, работающих под мавзолеем - занимались они постоянным охлаждением и вообще сохранностью мумии Владимира Ильича. И вроде бы не столь уж были засекречены, чтобы нельзя было о них писать.

- Что ж, тема для сценария хорошая, - сказал начальник неуверенно, но трусить прямо при сотрудниках он не решился. - Узнайте только, разрешат ли съёмки. И название какое-нибудь надо, чтоб достойно было темы.

С ним наедине, в служебном кабинете, из которого исходило, в сущности, всё тогдашне пропитание моей семьи, я был бы собран и воздержан на язык. Но тут сидело столько зрителей!

- Название уже готово,- доложил я преданно и бодро. Главный редактор поощрительно вздёрнул брови.

- Ленин умер, но тело его живёт,- сказал я. Сдавленное хрюканье за спиной одобрило мой творческий порыв. Но на дворе был год семидесятый.

- Прошу вас покинуть студию и некоторое время тут не появляться,сказал редактор тоном ровным и не оставляющим сомнений. А когда он вышел, те же, что смеялись, принялись меня ругать за легкомыслие.

- Через месяц приходи спокойно, - утешили меня двурушники, - он тебя выгнал очень мудро, а за этот месяц выяснится, что никто не настучал.

Конечно же, язык - весьма сомнительный нам друг, но в жесте - даже самом дружелюбном - кроется опасность ещё большая. Так Саша Окунь чуть не развязал однажды крупный дипломатический конфликт между Израилем и Колумбией. Его куда-то пригласили на приём, он крепко выпил и решил, что ещё рюмки через две

непременно схватит за попку молодую полуобнажённую красотку, сидевшую с ним почти рядом - всего через одного человека. Но когда он потянулся, чтоб исполнить замысел, то обнаружил, что немного перепил и падает, в силу чего схватил за зад соседа. Оказался тот послом Колумбии, а неухваченная красотка - послицей. Охнув, посол от ужаса обнаружил знание русского языка:

- Товарищ! - гневно сказал он. Тут Сашка принялся сердечно извиняться, и до военного конфликта дело не дошло. Хотя и близко было к этому, как попка обаятельной послицы.

С интересом я ловлю себя на том, что как ни вертишься в подвалах памяти, а попадаются истории, почти неощутимо созвучные друг другу, и психологи ничуть в своих трудах не врали: всё связано причинно-следственно, по времени или месту, по похожим состояниям души, по ключевому слову в совершенно разных эпизодах, даже иногда по запаху, естественно присущему какой-нибудь истории. Об этом - ниже, а сейчас - по ключевому слову.

Как однажды чудом избежал смерти художник Володя Витковский, рассказал он мне случайно в разговоре об Израиле и моей жизни здесь.

- А я вас чуть не разбомбил однажды,- повестнул он так легко, как будто речь пошла о чём-нибудь приятном и сюрпризном. - А точней - ракетой чуть вас не накрыл. Уж я б не промахнулся, будь уверен.

Службу свою в армии советской проходил Володя на подводной лодке. Осенью семьдесят третьего подлодку эту послали в дальнее секретное плаванье, и, все проливы и контроли хитроумно миновав, она легло на дно вблизи Израиля. Где по приказу всплыть должна была и начисто ракетами покончить с раздражавшей всех страной. Забавно было мне в его рассказе (но не больше, чем забавно, как-то я уже привык), что капитан подлодки был евреем. А спустя неделю ожидания случилась неполадка с кислородом, и раздался во всех отсеках приказ немедленно задраить отверстия, через которые к ним подавался воздух. И обходиться тем, что был, пока не будет нового приказа. Вскоре они стали задыхаться. Но открыть подачу воздуха никто не смел, они были на военном положении.

- И вот уже плывёт моё сознание,- жизнерадостно рассказывал Володя,- и разные видения из мирной жизни мне туманят голову. Из них последнее, как я иду по Севастополю, а впереди меня - толстущая роскошная девка. В белом таком платье - из марли оно что ли, только прозрачное совсем, и вижу я, как колыхается передо мной её немыслимая белая жопа. Я за ней не

меньше трёх кварталов шёл, даже забыл, куда я собирался. И я, хотя уже в удушье полном, но сквозь это марево подумал: неужели больше в жизни никогда не видеть мне такую красоту? Тут я встал и думаю: да ну их на хуй, пусть в стройбат сошлют, ведь не расстрел, а жить охота. И раздраил все заслонки. И пошёл ты понимаешь - чистый свежий воздух. После выяснилось, что эти суки нас заставили закрыться на случай, если воздуха станет не хватать на всех, пока там чинят кислородную подачу.

А вскоре и домой их завернули - не хватило, видно, смелости у кремлёвских миротворцев.

- Могли мы запросто и ни за что подохнуть, - говорил Володя, - если бы не жопа той красотки, дай ей Бог здоровья и что хочется.

А передо мной тем временем своё видение всплывало, и читатели второй моей книги знать не знают, что им было интерес - но её читать благодаря обильным формам одной редакторши из издательства "Детская литература". Называлась эта книга - "Чудеса и трагедии чёрного ящика" - об изучении мозга и психиатрии современной. Я писал её с восторгом и старанием. На поле этой темы открывались мне отменные возможности сказать хотя бы походя и мельком о безумии устройства нашей жизни. После выхода книжки множество знакомых тихо и интимно спрашивали меня: а как тебе удалось сохранить вот это, и вот это? Очень просто удалось. Ведь миф о советской бдительной и всепонимающей цензуре - он был чистой ложью, резали всё сами авторы, а уж за ними подрезали редакторы. Внутренняя цензура была куда более зоркой и чувствительной к малейшему вольнодумию. Так вот набор моей книжки лёг на стол заведующей отделом (очень, кстати, симпатичная и мудрая была старушка, но тем более насквозь она читала каждый текст), и вышел от неё с тремя сотнями отметок - галочек в местах, которые мне следовало сгладить или полностью убрать. И был я вызван в кабинет её, чтоб это обсудить. Дискуссии мне ждать не приходилось: она просто тыкала пальцем, и я зачёркивал или предлагал смягчённый вариант. Она работала в издательстве уже десятки лет, её пугливые поправки были безошибочны и превращали мою книжку в стерильное повествование о научном прогрессе. А я писал совсем не для того. Унылое и вялое моё сопротивление творилось мной скорее из упрямства - книжка явно висела на волоске, а я был начинающий советский автор, и это было единственное издательство, которое печатало меня.

Уже сидели мы, наверно, с час, и ясно было, что она меня отпустит, только полностью дожав. Но тут впорхнула в кабинет редакторша из какого-то отдела, я её знал. Она была настолько

пышных и обильных форм, что за глаза её давно уже все называли Дюймовочкой. О чём-то бурно заговорила она со своей начальницей, и та, кивнув мне на соседний стол, предложила сесть и подумать.В руках у меня остался карандаш, которым охолащивалась книжка. Я сначала тупо уставился в набор, его листая: зловещие пометки - галочки пестрели чуть ли не на каждой странице. Что вполне было естественно, писал я книгу с удовольствием и упованием. И тут я обнаружил, что сижу я, загороженный от экзекуторши гигантской задницей сотрудницы. И тут меня постигло озарение. Перевернувши карандаш, пустил я в ход резинку, что торчала на втором его конце. Нет, я стирал пометки не подряд, но с яростью и дикой быстротой. К моменту, когда зад, который заслонял моё самоуправство, заколыхался, я довольно сильно преуспел. Начальница увидела меня задумчиво сосущим карандаш, и что-то материнское было в ее первых словах:

- Надо было, Игорь, раньше думать, надо было думать, когда вы писали.

Я улыбнулся ей в ответ прельстительно и виновато. Мы закончили кромсать набор часа за два, и старушка, посмотрев с сомнением на последнюю страницу, бормотнула, что сомнительных мест было, как ей показалось ранее, гораздо больше.

- Перечитаете ещё раз? - угодливо предложил я.

- Я в день читаю по три рукописи, - с омерзением ответила она. - Я отдаю это вашему редактору, с моей стороны вопросов больше нет.

Вот так и получилась книжка, за которую не стыдно и сейчас. Но обратить прошу внимание на то, что не рассыпалась от этой книжки советская власть, не вышли на улицу трудящиеся, которым я хотел открыть глаза, и вообще никто и глазом не моргнул. А как я нервничал те два часа, следы резинки замечая на страницах, так это вовсе никому не интересно.

А сколько было их - ревнителей, блюстителей и охранителей идеологии представить себе можно вряд ли. Набегали они разом, ниоткуда и все вместе. У меня однажды был короткий опыт встречи с такой пожарной командой. Я писал сценарии для Останкинского телевидения, уж не помню, что это была за программа, но мою халтуру они брали. А приятель мой тогдашний, Лёва Минц (он, бедолага, знал языков пять, если не больше, и кормился переводами) меня однажды попросил, чтоб я в сценарии как-нибудь по случаю вставил его имя, почему-то страсть ему хотелось своё имя услыхать с экрана телевизора (или хотел порадовать старенькую маму). И я в очередном сценарии

заставил одного героя говорить, что в жизни есть место удивительным людям: вот, например, живёт на свете некий почти безвестный Лев Минц, который знает то ли двадцать, то ли тридцать языков, давно уже им счёт он потерял, а ежели не спится - начинает их перечислять и возле третьего десятка засыпает.

А вечером за час до этой передачи позвонил мне - даже не взволнованный, а потрясённый чем-то мой редактор и велел мне срочно, на такси мотать на студию, поскольку передачу, если я не появлюсь, снимают, а такое происшествие - кошмар и неприятности сотрудникам. А почему - не объяснил, но я, конечно, кинулся, поймал такси и через полчаса уже, волнуясь очень, поднимался на этаж, где все они обитали. А с площадки лифта в коридор войдя, увидел я такое, что не приведи Господь в те годы. Стояли прямо в коридоре, явно в ожидании меня - двенадцать, как не более, нескрываемо взволнованных мужчин (в пиджаках и при галстуках), образуя некую дугу, где в центре высился, иного слова не найти, хоть был он ниже всех, какой-то неприметный мужичонка с ровными волосиками набок и наполеонистого вида. Все они застыли, глядя на меня и сквозь меня, а мужичонка коротко и резко вопросил:

- Кто такой Минц?

Мне до него было идти ещё метра четыре-пять, а при таком запасе времени уже врасплох еврея не застанешь. И когда метра полтора всего осталось, я спокойно и приветливо сказал:

- Здравствуйте. Минц - это хранитель Ватиканской библиотеки.

Всем, кто читал о коллективной психологии, известно, что в толпе всегда найдётся некто, кто готов немедля что угодно подтвердить. И тут один из окружающих сказал негромко:

- Да, да, да, припоминаю...

Тут у всех разгладились их напряжённые черты, а мужичонка - с меньшей резкостью, но столь же строго у меня спросил:

- А он..?

А я понятлив был, поскольку автор, и немедленно ответил:

- Он большой и давний друг Советского Союза. А недавно было интервью его по радио, он говорил о пользе взаимного влияния культур.

И мужичонка снисходительно кивнул мне, поворачивая спину, и дуга вся развернулась вслед за ним. Я, кстати, правду говорил: недавно Лёва Минц о чём-то именно таком болтал по радио, туда настырно напросившись, чтобы порадовать старушку-маму. А из вот этих, что толпились - ранее не знал я ни одного, а мой редактор с ними не стоял, он был намного ниже в этой

иерархии. И мы с ним крепко выпили в тот вечер. Но про Минца подлинного я ему не рассказал, это разрушило бы нашу зыбкую творческую связь.

Тут хорошо бы текст переложить весёлым чем-нибудь, чтобы скорей забыть о тех испуганных блюстителях идеологии, а в случаях таких Шолом-Алейхем рекомендовал поговорить о холере в Одессе. И я с тем большим удовольствием готов последовать его совету, что холеру я в Одессе таки да застал однажды. Летом это было, год - семидесятый. Утром я приехал в Одессу, где уже с неделю меня ждала жена и маленькая дочь. День у меня дивно начинался и сулил быть подлинно одесским. Ибо вёзший меня таксист подсадил какую-то знакомую, увялую, но дикой бодрости толстуху, и они свои удавшиеся жизни шумно обсуждали в той украинско-еврейской тональности, которую я раньше слышал только в анекдотах. По дороге я его тормознул, чтобы купить бутылку вина, женщина молча взяла её у меня из рук, коротко глянула на этикетку и, сочно сказав - "дерьмо", продолжала дружескую беседу. Жену и дочь я отыскал на пляже, мы переговаривались, собираясь поплавать, но в это время вплотную к берегу прошёл патрульный катерок, из матюгальника которого летели хриплые отрывочные слова: холера, в море лезть запрещено, соблюдайте спокойствие. В доме отдыха сказали всем очень логично: оставайтесь, поживите, всё равно мы денег за путёвки не вернём. И дали всем желающим автобус до вокзала. То, что я там обнаружил, можно передать лишь средствами кино, и то необходим какой-то специальный режиссёр. Немыслимой густоты толпа, залившая и зал вокзала, и перроны, не гудела, а кричала, в воздухе витала паническая, эвакуационная ярость и растерянность. Рупор объявил, что все билеты отменяются, посадка в поезда - свободная, и началось столпотворение, подобного которому я в жизни не видал и не хотел бы видеть. Потому что это сильно подорвало мою веру в человечество, а мне всё же уютней жить с хотя бы остатками этой веры. Наша ситуация усугублялась ещё тем, что с нами увязалась некая знакомая с такой же маленькой дочерью, что означало ещё два чемодана. Тем не менее, мы сели в поезд. А в купе нас оказалось двенадцать человек, но мы все сначала были умиротворённо счастливы. Тогда я, кстати, в первый раз столкнулся с азами народной психологии: у нас была какая-то прихваченная снедь, я разложил её на чемодане и, естественно, всех пригласил к столу. Никто не отказался, всю еду умяли в три минуты. А чуть позже - каждая пара стала молча есть своё, и мы с женой лишь удивлённо переглядывались. К ночи ближе на какой-то остановке мы разжились кукурузой. Спали мы с женой (точней, пытались спать)

на тех антресолях, что используют род чемоданы. Когда я ровно десять лет спустя ехал по этапу в лагерь, и в купе нас было двадцать два, я вспомнил, как мы некогда переживали ту тесноту, и усмехнулся от блаженства, присланного памятью. Что было душно, жарко, потно, грязно - глупо говорить. Вода в вагоне кончилась через несколько часов, и туалет легко себе представить (хотя лучше не стоит), а про запахи - писать не поднимается рука. Тем более, что впереди нас ждало худшее. К концу второго дня пути вдруг слухи поползли, что нас в Москву не пустят, а поместят в карантин примерно на неделю. И некая конкретная деталь зловеще прозвучала: что вот-вот проводники запрут вагоны. И поэтому, как только мы остановились у входного семафора какого-то город-ка, я аккуратно выбросил в окно все чемоданы, и гуськом мы выбрались на волю через пока незапертую дверь. Потом довольно быстро и машину я нашёл, водитель всё никак не мог понять, зачем хочу я ехать в любой ближайший город, откуда есть поезда на Москву - они ведь были и отсюда. А чтоб они не из Одессы шли, пояснил я, и он пожал плечами, удивляясь прихотливости забалованных москвичей. Ближайший город оказался - Нежин. Ранее он был знаком мне только по названию каких-то выдающихся огурцов.

В кассовом зале было пусто и прохладно. От одного этого наши лица расплылись в немом удовольствии. Поезд на Москву ожидался часа через три, билеты обещали продавать за час до поезда, и кроме нас его никто не ожидал. Теперь поесть! За два часа мы наверстаем всё, о чём мечтали двое суток.

Смутное чувство остановило мой порыв бежать и кормиться, Я бы назвал это инстинктом бывалого советского человека. Я поставил чемоданы, попросил у приветливой кассирши лист бумаги и крупно написал на нём: "Очередь за билетами на Москву. Написал наши фамилии, количество билетов и положил этот лист у окошка в кассу.

Мы ели много, жадно и вдохновенно. Только оторвавшись от порции котлет с картошкой, я заметил, что в ресторанном зале уже заняты все столики. И возле каждого стояли и чемоданы. Я похолодел и кинулся в кассовый зал. Там шевелилась несметная толпа таких же сообразительных пассажиров с нашего поезда. Вспотев от ужаса, я протолкался к кассе. И обнаружил, что совершил самый разумный в жизни поступок: все послушно заносили свои фамилии в мой список. Как же я собой гордился, возвращаясь в ресторан! В тот день проводники этого поезда изрядно заработали: билетов не хватило, разумеется, но все вагонные проходы и площадки были наглухо запружены счастливцами. А ехать оставалось нам недолго. Вечером на

следующий день уже в большой компании друзей и родственников я хвастался своей находчивостью, сметкой и бывалостью. И пожилая интеллигентная женщина грустно сказала:

- Какой стыд, вы были в Нежине и не зашли в музей Гоголя!

А память перескакивает в эти же края, но к несколько иному имени и двадцать с лишним лет спустя. Уже в Израиле мы жили. Как-то я целый месяц нервничал, и тупо ныло сердце. Я волновался от неверия в евреев. Незадолго до того я получил письмо с Украины, а точнее из Полтавы, от неведомого мне тамошнего Исторического общества. Они напоминали, что недавно был я там на выступлении, показался им хорошим человеком, и поэтому я, может быть, найду какую-то возможность помочь: ужасно бедствует в Полтаве внучка (или правнучка?) и правнук (или праправнук?) Владимира Галактионовича Короленко. Господи, подумал я жалостливо - чувство это относилось ко мне - что же я могу поделать? Однако обаяние этого светлого имени постепенно взяло верх над ленью, суетой и равнодушием. В Культурном центре советского еврейства (был такой некогда в Иерусалиме) порешили мы с приятелями учинить благотворительный концерт. Ещё тогда ходили в израильтянах Валентин Никулин и Михаил Козаков (оба согласились без промедления), артистов мы набрали много и большую сделали афишу. Не особенной была и цена билетов. На недоуменные вопросы ("разве Короленко был евреем?") горячо напоминал я о деле Бейлиса и вообще об отношении этого человека к евреям. Слушатели согласно кивали, но билеты расходились крайне плохо. В день концерта я дошёл до крайности того состояния, о котором написал в начале. Наплевать, что выручки не будет, думал я, ну не получилось, так бывает сплошь и рядом, только очень уж обидно за евреев. Потому что кто-кто, а мы должны - обязаны помнить добро, пускай и сотворённое когда-то. И было очень мерзко на душе, заранее и стыдно и обидно.

Зал был набит битком! И более того: на сцену кинули три или четыре свёрнутых листка, в которых были деньги: мы прошли зайцами, писали неизвестные мне люди, но хотим участвовать. В автобусе дня через два кто-то сунул одному из выступавших стоимость билета - он не смог пойти, но тоже в доле, сказал он.

А я- меня душили гордость и счастье. По-моему, они и в зал передались, таких удачных выступлений не было у меня ни до, ни после. А потом мы напились, конечно.

Выручка была обменена на доллары и послана в Полтаву. Тут забавная подробность: в благодарственном письме писала внучка Короленко, что деньги эти (очень маленькие по любым

сегодняшним понятиям) довершили некую необходимую сумму, и куплен был клочок земли, на котором собрались огородничать и тем кормиться несколько семей интеллигентов местных, сбившихся в общину, чтобы выжить. Я не знаю, был ли Короленко идеологом общинного земледелия, но уверен, что, узнав об этом, усмехнулась его чистая душа.

А в это время я как раз квартиру покупал, на двадцать пять лет рассрочки здесь даются нужные для этого большие деньги, и выходит, что в итоге платишь втрое, как не впятеро, зато живёшь, как человек, и волен как угодно забивать в стену гвозди.

Торжественный и незабвенный день приобретения квартиры в Иерусалиме (!) я закончил в больнице. Когда шёл я в юридическую контору, то споткнулся так неловко, что под коленом на ноге у меня лопнула какая-то жилка. Боль была чуть меньше, когда я выставлял ногу далеко в сторону - как собака, собирающаяся пописать, но ещё ногу не успевшая задрать. В таком вот виде я доковылял до конторы, где обессилено уселся и подписывал бумаги, как вельможа (в моём представлении) - полулёжа в кресле и далеко вытянув ноги. Тут и подъехала вызванная неотложка - сам я идти уже не мог. Рядом со мной, в беде клиента не бросая (хотя мы уже расплатились), неподвижно высился толстый молодой еврей - агент по продаже квартир. А так как был он в шляпе и при пейсах, говорил негромко и весомо, всё происходящее обретало явную значительность. Увидев санитаров, он сказал:

- Да, нелегко достаётся еврею кров на Святой земле.

Я не смог засмеяться, потому что санитар уже ощупывал мне ногу. После этого достал он ножницы и ловко взрезал мне штанину. Тут агенту по недвижимости изменило хладнокровие, и он воскликнул взволнованно и страстно:

- Он режет не по шву!

Имелся в виду непоправимый вред, наносимый моим брюкам. Тут даже жена моя улыбнулась, а мудрец обиделся на наше легкомыслие и временно умолк. Поэтому и есть у него деньги, подумал я, умнея от общения с таким человеком. Он пожал мне руку, издали кивнул Тате (коснуться чужой женщины нельзя) и, проходя мимо неё, заботливо сказал:

- Проследите, чтоб его не вынесли вперёд ногами.

И, римскому патрицию подобно, я был вынесен оттуда на носилках. Над лицом моим распластывалось синее израильское небо, капелька дождя упала мне на лоб, и я блаженно вспомнил окончания разных советских повестей о партизанах: "снежинки падали на его лицо, но уже не таяли".

- Чему ты, дурак, смеёшься? - спросила у меня жена. И мы

поехали.

В приёмном покое я пролежал часа три, ожидая своей очереди на осмотр, появился срочно вызванный женой приятель, очень хороший врач, но - хирург.

- Ты за каким хером сюда приплёлся? - спросил я его грозно. - Здесь тебе работы не будет.

- Не знаю, не знаю,- ответил он, плотоядно потирая руки. Он как-то рассказывал мне профессиональную шутку своих коллег - что, дескать, настоящая хирургия кончилась с появлением анестезии. От его прихода я почувствовал себя спокойно и уютно. Это в нас ещё российское осталось: как бы мы ни жили там, но в тяжкие минуты и часы рядом возникали друзья - даже, если не было в них особой необходимости. И тут меня такой взял сентимент, что я чуть не заплакал от любви ко всем, кого люблю и близко знаю. Но немедля я отвлёкся, поскольку за шторками, где лежал соседний больной, непрерывно раздавались старческие хриплые вздохи и ритмично повторяющийся полустон-полувскрик: хуяво, хуяво! Что ты кричишь, думал я с раздражением, ведь и мне хуяво, только я молчу. Вернулся убежавший куда-то приятель и объяснил мне, что я стон этот неправильно понимаю: старик себя утешал, говоря себе на иврите - "он придёт!", ибо надежда на приход Мессии, очевидно, успокаивала его.

А ближе к ночи, туго-натуго мне ногу обвязав, меня отправили домой, и мы даже успели обмыть обретенную на Святой земле недвижимость.

В Германии с квартирой много проще: ты её находишь, пишешь заявление в муниципалитет, и тебе её пожизненно оплачивают. Хотя один старик (в Берлине на концерте мне его специально показывали) написал заявление, что квартиру он искать не будет, пусть ему найдёт жильё сам горсовет, и что желательно, чтобы имелся при квартире зимний сад, поскольку автор заявления - ветеран Великой Отечественной войны и имеет медаль "За взятие Берлина".

И не слабей по содержанию письмо получил один мой приятель из немецкого другого города, где он устроился играть в большом оркестре, будучи отменным музыкантом. Письмо его дышало неискоренимым партизанским духом. Всё у меня очень хорошо, старик, - писал он своему другу просочился в замечательный оркестр, снял очень уютную квартиру, и беда только одна - как утром растворю окно, так сразу понимаю: в городе немцы.

Когда я недавно ездил на гастроли и болтался по немецким городам, то от рассказов местных охватило меня чувство, которое

назвал бы я национальной гордостью великоросса. Хотя немало и злорадства (тоже очень русского по духу) было в этом неприглядном моём чувстве. Дело в том, что стонет вся великая Германия от почти двухмиллионого наплыва своих российских соплеменников - поволжских немцев. В империи родившись и прожив там всю сознательную жизнь, они типичные советские люди. Да ещё приехавшие из Сибири и Казахстана, куда некогда загнали их родителей.

И с их приездом в маленьких, уютных и зелёных, сонных, аккуратных и спокойных немецких городках начались пьяные ночные драки с поножовщиной и руганью на всю округу. А немецкие леса и парки? Все они ухожены настолько, что мне кажется, там по ночам чинно гуляют хорошо подмытые лисы и зайчихи. А ныне там повсюду попадаются следы российских разудалых пикников.

Именно это вызвало восторг в моей безнравственной душе. Естественно, что обладают вновь приехавшие и другими истовыми свойствами советского человека - в частности, весьма свою историческую родину Германию поносят за отсутствие культуры и бездуховность. Мой приятель как-то разговаривал в гостинице одного немецкого города с коридорной уборщицей - такой типичной тётей Клавой, каких помнят все наверняка, кто ездил и останавливался в гостиницах и общежитиях. Она поехала вслед за детьми, ничуть не чувствует себя на родине и с горьким, но достоинством сказала:

- Немцы нас сюда позвали, чтоб мы делали за них всю чёрную работу и повышали ихнюю культуру.

Мой приятель вежливо сказал, что сам живёт он в Тель-Авиве и знаком с подобной ситуацией.

А я с поволжскими немцами встречался в Сибири. Возле нашего шахтёрского посёлка (он уже при нас стал городом) были деревни, где жили немцы, выселенные некогда из городов подле Саратова - Маркс и Энгельс. И в избу к нам как-то заглянул погостевать мой местный друг, такой же ссыльный поселенец Валера. С ним была его новая подруга из немецкой деревни. Крупная, дебелая и плотная блондинка безупречного арийского облика, да ещё с фамилией Мах. В колхозе у себя работала она дояркой. А на мой изысканный вопрос, не родственник ли ей философ Мах (которого как "Мах и Авенариус" мы проходили в школе - их за что-то Ленин поносил), она только блеснула молча карими коровьими глазами.

А когда мы сели выпивать (а сели мы немедленно), она молчала точно так же. И спустя, наверно, полчаса я начал тихо волноваться - видно, всё-таки подействовала на меня её фамилия.

О чём ей с нами говорить, печально думал я, ведь немцы - это Гегель, Кант и Фейербах. Она молчала. Что ей в наших пьяных разговорах, думал я смятенно и пристыженно, ведь немцы - это Гёте, Томас Манн и Шиллер. Она молчала. Немцы - это Бетховен и Вагнер, думал я, униженный вдвойне, поскольку больше никого не вспомнил. А приятель мой Валера (уже час прошёл, я весь извёлся) у меня спросил, видел ли я вчера, что Мишка (общий наш знакомый) заявился на работу с диким синяком под глазом.

- Видел, как же,- механически ответил я (весь находясь внутри своих переживаний), - ты не знаешь, кто его побил?

И вдруг она открыла рот.

- А никто его не бил, - сказала она хрипло и усмешливо,- просто встретил он мешок с пиздюлями.

И снова замолчала. И ни слова не промолвила в дальнейшем. Только я уже спокоен был и больше не терзался. А теперь она в Германии, должно быть. Что же, всем народам тяжело даётся историческая радость воссоединения - так я думаю об этом, когда я об этом думаю.

Однако, про Сибирь упомянув, я рассказать обязан о пожизненной моей гордости - сооружении на нашем огороде нового сортира. Я уже на протяжении этой главы хвастался - то невзначай и мельком, то назойливо и страстно некими поступками житейскими, но апогей триумфа (и высокие греко-латинские слова тут как нигде уместны) связан в моей жизни с той уборной. Доставшийся нам от прежних хозяев старый и щелястый скворечник был единственным упрёком, сделанным мне Татой за всю нашу сибирскую жизнь. Уже заполнена была вся яма (далее пойдут подробности похлеще), всю осень, зиму и весну кошмарно задувало посетителя этой беседки - и однажды понял я, что дальше я тянуть не должен. Следовало для начала выкопать новую яму, именно о ней весь мой рассказ. Вкопался я уже на метр, и, хотя вечной мерзлоты не обнаружил, но суглинок прочен был, как камень, и работа предстояла тяжкая. Что, как известно, обостряет ум и стимулирует смекалку. Я вылез на край ямы, сел и закурил. И вдохновение пришло ко мне немедленно. Зачем же буду я копать до неизвестной глубины, подумал я, когда полученное мной высшее техническое образование позволяет сделать предварительный расчёт, и я бы знал тогда, докуда мне махать лопатой, а не тупо рыть и рыть, как будто я в плену у фараона. Я сбегал за листом бумаги, закурил ещё одну сигарету и самозабвенно углубился в план-проект. Нас постоянно жило трое, человек пять - шесть приезжали к нам на лето, а мелькающих гостей легко было прикинуть приблизительно, учтя, что большинство в сортир не бегает, а нужда маленькая - не в счёт, с

ней вежливо отходят за угол избы. Я тщательно сосчитывал людей и дни, и пламя инженерного азарта озаряло мою утлую голову. Я выложил из глины приблизительную кучу, тщательно обмерил её и получил объём разового поступления. И более того: я ввёл коэффициент всасывания жидкости глинистой почвой - это ещё более уменьшило объём копательных работ. И в результате рыть мне оставалось - просто тьфу. От пережитого мной умственного восторга я даже сколотил из досок некий унитаз - он был прекрасен. Если обтянуть его парчой, подумал я (возможен бархат, шепнул мне внутренний дизайнер), выйдет настоящий царский трон. Однако вдохновение ушло, и трон остался деревянным. Накрепко сколачивая доски внахлёст, я соорудил непроницаемый для ветра скворечник. Словом, красота сооружения была неописуема, внутри его хотелось жить и мыслить. Порой обуревал меня контрольный интерес, и я хозяйственно заглядывал в пространство ямы: подсознательное чувство, что по лени и халтурности натуры я необходимые размеры преуменьшил, всё оставшееся время ссылки так и не покинуло меня. Но каково же было торжество моё, когда я заглянул туда примерно за неделю до отъезда! Я если лишнее и выкопал, то сантиметров десять, а скорей всего, что оказался выше коэффициент поглотительной способности почвы. Но об этом уже думать предстояло новому хозяину избы.

И более значительного в этой жизни я уже не строил ничего.

Двенадцать лет на сцене

Ума не приложу, каким беспутным ветром занесло меня в чтецы-декламаторы. Заканчивая школу, правда, посещал я года два районный клуб, где в театральной самодеятельности играл плохих людей, а то и полностью мерзавцев (длинный нос в те годы этому амплуа весьма способствовал). Играл с огромным увлечением, потому что учёба в школах ещё была тогда раздельная, а в театральный коллектив ходили девочки - я только там и видел их вблизи, оттого и юное вдохновение. Содержание этих пьес вполне созвучно было моему тогдашнему мировоззрению, и я с бездумным упоением вливал советскую отраву в неокрепшие умы ровесников. В коллективе этом относились ко мне очень хорошо - за щенячью ко всем любовь. И басни Михалкова я с усердием талдычил на районных конкурсах, и запросто могла эта зыбучая стезя меня завлечь и засосать.

Но в первой четверти десятого класса получил я тройки по математике и физике. А так как раньше я учился хорошо ("идёт на медаль", - шептала мама бабушке), то собран был семейный совет. Папа был формальным его членом, ибо первое и последнее слово говорила мама; бабушка как умный человек молчала, чем поддерживала равно обоих. На совете решено было, что у меня плоскостопие. Мне было велено помыться, отыскалась пара ещё ни разу не штопаных носков, и я пошёл к врачу. Он был старик, насколько помнится, то есть уже за сорок ему было, и я его так удивил заведомым знанием диагноза, что он осматривал меня довольно долго.

- Кто вам сказал, что у вас плоскостопие? - спросил он в конце осмотра.

- Мама, - честно ответил я. И доктор тоном удивительным, я помню его до сих пор, меня спросил:

- А мама - врач?

- Нет, - ответил я столь же честно, - мама закончила консерваторию.

- Тогда всё понятно, - сказал доктор, - идите, плоскостопия у вас нет и пока не предвидится.

И хотя на вновь собравшемся семейном совете доктор был обруган за верхоглядство и невежество, но причиной троек обозначен был театральный коллектив. И я расстался с ним, и в конце года получил-таки медаль, что косвенно свидетельствует о правоте обеих маминых гипотез.

Так я и вышел в люди без определённых увлечений. Разве только в смысле отрицательном одно было довольно стойким:

никогда я не любил театр. А много раз пытался - и на шармачка, когда перепадала контрамарка, и зайцем, и билеты даже покупал, когда девица притворялась театралкой. И всегда мне до боли душевной жалко было артистов, а когда они произносили что-нибудь высокое, то и безумно было стыдно в это время видеть их.

Жена моя, по счастью, к этим играм Мельпомены относится так же, но считает неудобным в этом признаваться вслух. Я помню, мы с ней как-то получили в подарок билеты на безумно престижный спектакль - в новом здании МХАТа шла премьера "Чайки". Был какой-то тяжкий суетливый день, к началу прибежали мы в обрез, на краю огромной сцены сиротливо толпились знаменитые артисты, разговаривая громко и натужно. Жена моя уснула почти сразу, а я минут ещё пятнадцать не мог уснуть от гордости, что опознал артиста Смоктуновского, но рассказать об этом было некому - вокруг заядлые сидели театралы, так что вскоре придремнул и я. Но ненадолго, потому что жена моя внезапно пробудилась, и у неё начался естественный после сна утренний кашель курильщика. Мы быстро выбрались из зала и пошли в буфет, где дивно скоротали время до антракта. Уходить раньше нам казалось неудобным, а в антракте мы уже были не одни. Так что Станиславский был прав: театр начался для нас с вешалки, ей и закончился. Впрочем, по дороге домой мы ещё немного поговорили о театре: жена утверждала, что первым уснул я, притом храпел немилосердно, а я не возражал, потому что, во-первых, знал правду, а во-вторых, счастье семьи опирается на благоразумие хотя бы одного из супругов - в данном редком случае таким был я.

А что касаемо чтецов, то их мне было жалко ещё больше - может быть, поэтому судьба-злодейка меня определила в декламаторы?

И где я только с той поры ни выступал! В залах концертных и спортивных, в кинотеатрах и кафе, ресторанах и консерваториях, школах и институтах, театрах и синагогах, в христианских церквях самых различных ответвлений (они охотно сдают своё помещение, когда нет вечерней службы), в домах для престарелых и молодёжных клубах, в залах заседаний и музейных залах, а один раз - даже в женском католическом монастыре. И замелькали города - сперва в Израиле, потом в Америке, России и Германии. Я завывал свои стишки в Риме и Париже, Праге, Вене и Амстердаме. Я стал замшелым гнусным профессионалом и перечисление это - такое привлекательное на сторонний взгляд - привёл не ради хвастовства, а чтобы поделиться странным чувством: я повсюду ощущаю себя жуликом. А когда мне цветы подносят, то вдвойне. И когда хлопают, а я неловко кланяюсь. Я

объясню сейчас, откуда это чувство, что мошенник. Я не артист, я это не люблю! Мне пребывание на сцене не приносит кайфа, нет во мне того актёрского куража, что возникает у моих коллег от вида зала, устремлённых лиц и льющегося света. И поэтому такое облегчение я ощущаю, когда всё кончается, что первая же рюмка доставляет мне не удовольствие, а счастье. Я не кокетничаю и не жалуюсь, но чувство, что не принадлежу я к цеху, к коему меня относят зрители, томит меня и удивляет постоянством.

Тем не менее, актёрское тщеславие во мне живёт и проявляет себя очень зримо. В нашей квартире в Иерусалиме - уникальный сортир: я в нём открыл музей, где учредил культ личности. По стенам густо там развешаны красивые афиши моих выступлений в разных городах и странах. А на афишах разные комплиментарные слова, куски стишков, а главное - со всех этих листов я улыбаюсь обаятельной артистической улыбкой. Так они повешены со вкусом и разумением, эти афиши, что человек, садящийся на унитаз, как бы со мной вступает в молчаливое общение - ему это не может не быть приятно.

Гастроли - это поезда, автобусы и самолёты. Я стал опознанный летающий субъект. Гастроли - это гостиницы, дома или квартиры, куда меня пускают на постой. В памяти они сливаются друг с другом, но одно место, где я прожил всего сутки, до сих пор неизгладимо в моей замшелой, но впечатлительной душе.

Я тогда в Париже собирался переночевать у Саши Гинзбурга и честно попросил его об этом по телефону - мне ещё хотелось потрепаться о былом. Саша охотно согласился, но, приехав, обнаружил я, что в тесной их с Ариной квартире обитала ещё некая любимая собака, время от времени кусавшая и хозяев, и их сыновей. Не то чтобы я этого так испугался, только стало как-то неуютно, и я вспомнил, что я в сущности - воспитанный и деликатный человек. И попросился отвести меня в ближайшую гостиницу. Саша Гинзбург так был рад столь неожиданному для него порыву моей щепетильности, что гордо заявил: сейчас он отведёт меня в некое место, где я доселе не бывал и вряд ли буду впредь. И это правда: мы пришли в бордель, который прогорал из-за отсутствия клиентов и поэтому пускал приезжих на ночлег. Мы подошли к дверям отведенной мне комнаты, и понял я, какая бурная ещё недавно здесь творилась жизнь. Дверь эту не раз ломали и руками, и ногами, трещины былых проломов были кое-как заделаны, закрашены и напоминали морщины, проступающие у старой портовой потаскухи сквозь намазанные наскоро румяна. Впрочем, изнутри на двери был кокетливый и крохотный крючок. Средних размеров комната была перегорожена от стены до стены

малинового цвета театральным занавесом. В образовавшейся прихожей находился утлый столик с двумя такими же стульями, а главной тут была стоявшая в углу крохотная чугунная ванна начала века - биде и рукомойник одновременно. За занавес войдя, издал я возглас восхищения. Такого же материала малиновая накидка покрывала необъятных размеров деревянную старинную кровать с резным высоким изголовьем. Угол накидки был заботливо отогнут, напоминая постояльцу о блаженстве спать на простыне. А по стене вдоль всей кровати струилось - я иного слова не найду - метровой высоты зеркало в широкой золочёной раме с завитушками. Я видел в этой жизни красоту, но такой - был Саша прав - не видел никогда и не увижу. Надо ли вам говорить, что занавеска-шторка на узком окне была такого же малинового цвета? А в трёхрожковой витой и золочёной люстре горела лампочка - всего одна, но под таким же абажуром. Спал я изумительно в ту ночь и видел много сновидений. Я их не запомнил, но о содержании догадываюсь.

И возвращусь теперь я, рассказав о промелькнувшем счастье, - к будничному актёрскому существованию.

Эстрадные воспоминания хорошо сперва украсить каким-нибудь знаменитым именем. Уже почти полвека назад мне посчастливилось побывать на концерте Александра Вертинского. Учился я тогда на первом курсе института, ничего не слышал ранее об этом человеке, и мама чуть не силой повела меня в концертный зал гостиницы "Советская", невнятные, но жаркие произнося слова о великом исполнителе пронзающих душу песен. Чуть позже я узнал, что кроме дармовых билетов - контрамарок (кто-то подарил их маме) был ещё один мотив влечения, его мне мама рассказала уже взрослому. Когда-то в молодости за ней ухаживал друг Вертинского, тоже поэт, и моей юной маме был посвящён романс, довольно часто ею напеваемый за стиркой и готовкой:

Нет, ты не быль, моя жемчужная,
ты вся из старых сказок выткана,
такая нежная, такая нужная,
такая преданная выдумка.

Признаться, я с тех пор не удосужился сыскать имя автора и тем самым как бы косвенно проверить мамины слова - зачем? - я низких истин не ценитель. А в тот день, о коем идёт речь, я плёлся на концерт без всякого одушевления. И - врать не буду - столь же апатично слушал пение ничуть меня не тронувшего старика. Вот разве только руки помню, жили они совершенно

самостоятельной жизнью, взметались вверх, падали вниз и чуть парили в воздухе. А длиннопалые кисти вообще вытворяли нечто виртуозное. Но мне всё это было странно, а за текст немного как бы стыдно, я тогда был прям и прост. К тому же с самого почти начала я сильно и всерьёз отвлёкся. Справа от мамы сидела молодая женщина невероятно пышных форм. И я, мельком глянув на её роскошный, да к тому же сильно декольтированный бюст, более не смог уже оторваться. Мне в ту пору было восемнадцать - стоит ли меня осуждать? Спустя всего лет пять я полюбил эти песни, но тогда я многое полюбил впервые и навсегда. А в тот вечер я почти не отводил свой потаённый и блудливый взор от пышной прелести правее мамы. Я тогда не прочитал ещё известных строк Некрасова - "сидит, как на стуле, двухлетний ребёнок у ней на груди", а когда позднее прочитал, то вспомнил снова этот бюст, и потому ещё так помню этот вечер. Но вдруг по белоснежной клумбе пробежала светлая струйка, тут же капнула вторая, и я чуть выше глянул. Из глаз бежали слёзы, по густому слою пудры обтекали щёки и оттуда падали на грудь. Я не успел отвести взгляд, когда женщина, стремясь излить и разделить своё чувство, повернула к маме разгорячённое прекрасное лицо и хрипло-жарко выдохнула: "Он знал любовь!"

Какие-то первичные эстетические замашки уже были, вероятно, свойственны мне, потому что после этих слов меня перестал привлекать её бюст, и я всё-таки чуть-чуть послушал Вертинского.

А много-много лет спустя ещё одно высокое имя сверкнуло мне уже во время моих собственных гастролей - было это где-то в Америке. Перед началом выступления мне уважительно шепнули, что в зале будет некий престарелый актёр, много лет игравший у Аркадия Райкина. Я вежливо и холодно кивнул, но сразу отыскал глазами седенького аккуратного старичка явно артистической внешности. После концерта он ко мне подошёл (я вычислил правильно) и сказал несколько хвалебных фраз. Последняя из них была такая: "Только один человек умел так держать зал...".

Всё-таки помнит учителя, успел подумать я со снисходительным одобрением, а старикан тем временем закончил: "...но я давно уже оставил сцену".

А теперь, осенив своё повествование двумя такими дивными именами, я смело перейти могу к собственной наглой персоне.

А наглой потому, что вылез я на сцену благодаря читателям, пожелавшим слышать меня лично (всем я хочу сказать огромное спасибо), сам постигал азы чтецкого ремесла, а года три спустя уже и кофе пить садился в доме тёщи только после подтверждения жены, что я - большой артист.

И замелькали случаи и происшествия, без коих обойтись не может ни одна пристойная актёрская жизнь.

Как-то в Одессе получил я записку, от которой испытал чистую радость: "Уважаемый Игорь! Если у меня нет денег, чтобы купить Ваш четырёхтомник, можете ли Вы расписаться на мне и моей подруге? С надеждой - Анна". Разумеется, могу, за честь почту, только найдите фломастер, девочки, чтобы вам не было больно, ответил я, и зал похлопал, одобряя. Это было в самом начале концерта (девочки потом не подошли, застеснялись), и установилось среди публики то прекрасное благосклонное оживление, которое сразу передаётся на сцену, подстёгивая актёрский кураж. Вечер получился. Я возвратился в гостиницу очень поздно (ещё пьянка была долгая) и с огромным букетом остро пахнувших лилий. Их я сразу же отдал двум ночным администраторшам, они растрогались, а ко мне подошла дежурившая в фойе профессионалка, которой они успели что-то шепнуть.

- Вы поэт, - с кокетливой надменностью (такую накрепко усваивают на ускоренных курсах благородных девиц) сказала эта чуть помятая шатенка, - я бы с удовольствием послушала стихи у вас в номере. Вы как?

Администраторши с материнской любовью смотрели на нас из-за стойки: им хотелось и пристроить знакомую и отблагодарить меня за букет.

- Я очень плохо, ласточка, - честно ответил я. - Я еле волочу ноги. Как-нибудь в другой раз, ладно?

Шатенка окинула меня глазом с головы до ног и по каким-то признакам убедилась, что я не увиливаю.

- Да, вы не спортсмен,- процедила она презрительно,- у них бывает второе дыхание.

И я, нелепо ткнувшись в отключённый на ночь лифт, поплёлся на свой этаж, постыдно ощущая свою дряхлость. Второе дыхание, угрюмо и печально думал я, подумаешь - второе дыхание, это просто иллюзия, что будет и третье, а оно не приходит.

А на следующий день концерт мой был назначен в Музее западного и восточного искусства, я ради этого вечера и начал так издалека. Сперва поставили стулья для зрителей и столик для меня в фойе, но там была ужасная акустика, и мы переместились в итальянский зал. Очень было странно вслух произносить свои стишки среди тяжёлых потемневших полотен, я осваивался с трудом, а публика, по-моему, так и не освоилась до конца. Была она очень странной в этот вечер, как бы случайно на меня наткнувшейся и слушавшей с недоумением. Когда всё кончилось,

и были все приглашены в подвал музея, где обнаружились роскошно сервированные столы, мне объяснили с запозданием (я иначе построил бы программу), в чём тут дело. Оказалось, был я нанят, чтоб развлечь несколько десятков знакомых и клиентов очень известной городской адвокатессы в день её юбилея. Подошёл ко мне и человек, приславший мне час назад забавную записку: "Кем ты сидел в лагере?" Слово "кем" выдавало осведомлённость, не оставлявшую сомнений в прошлом автора записки. Я ответил, что сидел я мужиком, что не был я ни блатным, ни даже шерстяным (это те, которые вокруг блатных отираются), не был я один на льдине или ломом подпоясанный (те, кто выживает в одиночку) - был мужик, как абсолютное большинство. Правда, дружил с несколькими блатными. Седой красивый грузин в зале с пониманием и симпатией кивнул мне головой. Вот он ко мне и подошёл. Попросил надписать ему книги, мы закурили.

- Где отбывали? - спросил он у меня настолько светским тоном, что я с трудом подавил смех и уважительно ответил.

- С конфискацией?- спросил он точно так же. Я подумал, что в любой стране после любой революции так беседовать могли друг с другом уцелевшие аристократы. - И у меня всё отобрали, - продолжил он наш бодрый горемычный разговор.

- Всё-всё? - переспросил я сочувственно.

- Ну, чуть осталось,- грустно сказал грузин. - Едва хватило, когда вышел, чтоб купить маленький заводик.

Больше я с этим бедолагой разговаривать серьёзно был не в силах и поэтому обрадовался приглашающему жесту от соседней группки. Меня позвала очень красивая, очень стройная и столь же немолодая женщина. У нас был общий знакомый - и какой! - мы несколько минут повспоминали о Зиновии Ефимовиче Гердте. Полностью единодушны были мы в нашей любви и печали. А потом моя собеседница с некоей заботой в голосе спросила:

- Игорь, а вот вы рассказывали, что вчера две девочки просили вас на них оставить свой автограф, так они к вам подошли?

- Нет, - ответил я, - они, наверно, застеснялись.

- Боже мой,- воскликнула женщина,- вы ж из-за этого можете плохо подумать об одесситках!

И мгновенным мановением руки глубоко распахнула своё платье на молнии. Я не успел опомниться, как рядом возник фотограф, а вокруг стояли гости, громко одобряя даму, а в руке у меня была уже авторучка. И я начертал свою подпись на её вполне ещё груди. И все захлопали, возликовав, а женщина сказала:

- Покрою лаком и не буду мыть... Неделю точно, мой мужик через неделю приезжает.

Я неловко чмокнул её в щёку, и мы выпили, чтоб видеться ещё.

Что наша жизнь - трагедия, известно каждому, поскольку каждый знает о неминуемом финале этой пьесы. Но что наша жизнь - ещё и комедия, понимает и чувствует далеко не любой из её участников. Мне повезло: я ощущаю оба эти жанра. Но стенать, скулить и жаловаться - глупо, так как бесполезно и снижает, мягко говоря, высокую пожизненную трагедию человека до сопливой и слезливой мелодрамы. Да к тому же - пошлой, ибо тысячами уст прослюненной на все лады. А тот неоспоримый факт, что каждая такая личная трагедия включает в себя множество смешных эпизодов - свидетельство таланта нашего Творца - проходит почему-то мимо большинства высоколобых описателей.

Лично меня (дефект душевного устройства) интересуют в жизни только эти эпизоды: я их замечаю, я про них расспрашиваю, мне от них тепло, светло и хорошо. И часто - стыдно. Потому что люди серьёзные из любых, к примеру, путешествий доставляют целый ворох наблюдений, размышлений, фактов и глубоких выводов из мельком увиденного. Я езжу вместе с ними, в день приезда-возвращения радостно усаживаюсь за стол с друзьями, лихорадочно копаюсь в памяти - конфуз, афронт и стыд на всю Европу. Что я увидел, понял и узнал? А ничего серьёзного. А что ты хоть запомнил, что имеешь рассказать? А ничего и рассказать я не имею... Постой, но ты ведь только что летал в Австралию? Летал. Загадочный далёкий материк, полёта чуть не сутки, кенгуру и коалы, горы и пустыни, утконосы и аборигены. Наши чахлые и вечно пыльные домашние фикусы - это в Австралии огромные деревья. А машины в городах ездят так вежливо - разве что не раскланиваются друг с другом, уступая дорогу. Наконец, созвездие Южного креста - знак удалённости этих земель, предмет гордыни у матросов Александра Грина - "я плавал под созвездием Южного Креста". Ты это видел? Да. Так расскажи!

По Мельбурну меня водила сотрудница местного радио - они вещают на семидесяти с чем-то языках, такое там количество различного народа. А смотреть мне было очень скучно: типично американский город среднего размера плоско расстилался всюду, разве только заросших зеленью парков было сильно больше, но я - увы - не ботаник. В разговоре выяснилось вдруг, что некогда эта молодая женщина училась в Тарту, и не просто, а у Юрия Михайловича Лотмана.

- О Господи, я знал его отлично, - закричал я. - И я других там знал преподавателей!

Я имена назвал, она у них училась, а интеллигенты русские - они где бы ни встретились, обнюхиваются, как собаки, с помощью знакомых книг или имён. Тогда я сел на уличную тумбу, закурил и ей сказал категорически, что никуда я больше не пойду, и пусть она расскажет лучше что-нибудь о Тарту.

- Прямо я не знаю, что вам рассказать,- задумалась она. - Вот, например, любимый был у Юрия Михайловича ученик, а как его звали, я уже не помню. Он сам был из Чувашии, писал стихи, а на чувашский переводил он Пастернака. Или из Удмуртии он был?

- Вспомните хоть что-нибудь,- взмолился я. И гениальные услышал две строки:

Барлы шарлала на столе,
барлы шарлала.

Согласись, читатель, что только ради этого стоило тащиться в Австралию!

А на следующий после выступления день пошёл я в местный зоопарк. Я зоопарки вообще люблю и всюду, где оказываюсь, их стараюсь посмотреть. Берлинский, в частности - один из лучших, я там часа два проторчал возле человекообразных обезьян - моя бы воля, я бы вообще там поселился. Вот и в Мельбурне я прежде всего кинулся смотреть на наших предков. И, обалдев, застыл. Природа ведь в Австралии развивалась замкнуто, отсюда уникальность кенгуру и прочих сумчатых, но обезьяны... У всех человекообразных взрослых и детей, самцов и самок - были скорбные и грустные лица пожилых евреев. Даже двое только что родившихся уже о чём-то тосковали. Я простоял там минут тридцать, когда приятель мой, молча куривший в стороне и видевший моё наслаждение, подошёл, чтоб усугубить впечатление. Знаю ли я старый местный анекдот? Конечно, нет. А дело в анекдоте было так: стоял на том же месте, где сейчас торчу я, точно такой же израильский турист. Стоял-стоял, потом не выдержал и спросил у вон того орангутанга: "Ицик, это ты?"

Я рассмеяться не успел, как оказалось, что орангутанг ему ответил: "Тихо, я на работе!"

Ну, а теперь скажите - стоило за этим ехать в Австралию?

Так вот, на мой взгляд, - несомненно. И в другие страны - тоже. Я, быть может, потому и езжу.

А как порой бывает тяжело, ведь никому и не расскажешь - не поймут. Поскольку сцена, огни рампы, благодарно стихшая публика, пой - не хочу и наслаждайся в фокусе внимания. Эту

херню не опровергнешь, ибо она тоже есть. Но есть и другое.

Как-то позвонил приятель из Ашдода: приезжай, немного почитаешь, платят на месте. Помянув ещё раз, как похожа жизнь актёра на работу девушек по вызову, я тут же, разумеется, приехал. Зал спускался к сцене крутым амфитеатром, набит был битком и явно только что приехавшими: это больше всего видно по глазам -первые месяца два вполне безумные глаза у нас у всех, куда бы нас ни занесло и как бы ни сложились обстоятельства. Всё так и оказалось, это понял я по первому же выступлению. Какой-то банковский деятель принялся усердно убеждать собравшихся, что ввиду его невероятной нутряной любви к приезжим из России все они должны иметь дело только с его банком, не соблазняясь на заведомо лживые посулы всех других. Следом за ним выступил не менее достойный человек, владелец или представитель какой-то огромной и ведущей (по его словам) технической компании. Заявил он сразу, что так любит всех сидящих тут, что с завтрашнего дня готов им продавать стиральные машины, холодильники и прочее -за полцены. Но без гарантии, добавил этот всё же честный человек. Хотя и не потупился. Я, стоя за кулисами, невежливо от смеха хрюкнул, зал не реагировал никак. Но все всё поняли, а их реакция пришлась как раз на мой черёд. Какая это каторга читать стишки в болото, в вату, в мёртвое молчание, в как бы безлюдное пространство, хотя ясно видишь лица - это мне не передать. Невидящие глаза, обращённые куда-то мимо меня, ясно говорили о тягостном и напряжённом размышлении: а как нас хочет обмишулить этот? Минут через пятнадцать зал пришёл в себя, сообразив, что я - нелепая случайность в этом действе, не опасен, позван только ради развлечения, и всё, что я плету, призыва тратить деньги или как-то непривычно поступать не содержит. Тут послышались первые смешки, глаза уже смотрели на меня и явно видели, а главное - установилось в зале то дыхание, которое известно каждому, кто часто выступает: зал с тобой. И вскоре был вознаграждён я за муки, просто-таки счастье испытал, услыхав слова, которые ни в кои веки сам не выдумаешь, поскольку родились они из самой глубины истинно советского человека. Я читал стишки самиздатского ещё времени из цикла под уютным чисто московским названием "Вожди дороже нам вдвойне, когда они уже в стене". И на каком-то из стишков (об Ильиче, по-моему) из зала вдруг по слышался хорошо поставленный, по прокурорски звучный женский голос:

- А почему вас не расстреляли?

В голосе такая слышалась категорическая непреклонность - я вдруг ощутил смутную вину, что со мной этого не случилось.

Даже что-то оправдательное залепетал: дескать, сидел, но повезло, вот уцелел - но так неубедительно звучало - я переметнулся наскоро на стишки о любви. А после выступления этот вопрос я благодарно записал, осознавая явленную им душевную глубину.

До сих пор помню свой конфуз, когда был приглашён к старикам и старушкам, которых у нас часто зовут "китайцами" - Это дети той послереволюционной эмиграции, что оказалась в Шанхае, Харбине, и сюда попали много позже. Им свойствен поразительно сохранный и чистый русский язык - он у них остался таким ещё со времени царских гимназий, и я с бодростью и упованием принялся им излагать свои рифмованные впечатления от жизни. Боже, какой ждал меня кошмар! Эти воспитанные люди смотрели на меня внимательно и с видимым доброжелательством, им очень-очень хотелось, чтобы им понравились мои стишки, но ничего с собой поделать не могли: они меня не понимали. Все реалии моей вчерашней жизни, от упоминания которых то смеялись дружно, то качали головами те, кто жил в России эти годы - были почти полностью чужды и слабо понятны людям из Харбина и Шанхая. (После как-то в утешение мне рассказали о подобном же афронте у Галича, когда стал петь он свои песни для парижской первой эмиграции). Я почитал минут двадцать в это улыбчивое ватное пространство и сдался.

- Давайте лучше попьём чаю и поговорим,- взмолился я.- Мне есть, о чём вас расспросить, и я вам лучше отвечу на вопросы, потому что плохо сегодня что-то читается.

Очень были счастливы бедные старички такому гуманному повороту событий, с облегчением повалили к столу, и мы часа полтора замечательно пообщались, потому что они все давно уже не видели друг друга и с жаром принялись за болтовню, забыв обо мне сразу и начисто. Но я, однако, был сполна вознаграждён за неудачу: в самом конце вечера подошла ко мне старушка с очень морщинистым лицом (деталь эта окажется важна) и извиняющимся тоном мне сказала:

- Игорь, вы не обижайтесь, но мне совсем не нравятся ваши стихи.

- Бог с вами, - искренне удивился я, - кому-то нравятся, кому-то нет, дело вкуса, я ничуть не обижаюсь.

- Нет, - старушка чуть поджала губы, огорчённая моим непониманием. - Я филолог, и в литературе сведуща достаточно. У вас есть мысль, энергия, напор, но пишете вы совсем не то, что нужно, и не так.

Я непристойно хищно встрепенулся:

- А что и как нужно писать? - елейным голосом спросил я. И в

памяти моей мелькнули все советские редакторы, годами наставлявшие меня на праведные и печатные пути.

И на моих глазах морщины у старушки вдруг разгладились, она помолодела, мигом впав в своё вертинско-гимназическое детство, и мечтательно сказала:

- Ну вот так, к примеру, вы бы не смогли? И прочитала:

В хрустальном сосуде две розы цвели,
и скрипки печальные пели вдали.

- Я попробую, - покладисто отозвался я. Мечта писать красиво и возвышенно теплилась во мне уже давно.

- Голубчик,- произнесла старушка твёрдо, жёстко и руководяще, - идите и работайте!

И я пошёл. Признаться, я попробовал в тот вечер написать высокий стих. И первые две строчки безусловно удались. Они были такие:

А дама тосковала по нему
и горестно заламывала руки...

Но тут я вышел на рифму "брюки", и естественные сопутствующие ассоциации не дали мне закончить этот первый в жизни высокий стих. Но я ещё не теряю вялой надежды.

Одна из странных радостей публичного существования на сцене и экране это узнавание на улицах и где ни попадя. Я знаю несколько своих коллег, которые от этого испытывают дикий кайф, а лично я - немедленно себя ощущаю пойманным на месте самозванцем.

При узнавании почти всегда услышишь что-нибудь трогательное, а то и грустное. Как-то я летел в Москву, население в самолёте было российское, и ко мне подошли несколько человек с просьбами об автографе на чём придётся. Сидевшая рядом со мной молодая женщина смотрела на меня, явно желая заговорить и колеблясь, а потом сказала:

- Нет, Игорь Миронович, я всё-таки хочу вам рассказать, что я вам очень благодарна. Я была в разводе, а два года назад познакомилась с мужчиной, который меня буквально обчитал вашими стихами. И я сдалась. И мы уже два года вместе, и нам очень хорошо, он меня сейчас придёт встречать.

И я с ним познакомился, обоих пригласив на выступление. Мне это было так приятно, что буквально через день, сидя в одной редакции, я это вспомнил, не замедлив похвалиться.

- Ну и что? - заметила одна из сотрудниц. - У меня была такая же ситуация ещё лет пять назад. В период цветов и шоколадок мне приятель тоже читал ваши стихи, и я тоже очень быстро

сдалась, хоть знала их не меньше.

Что-то было грустноватое в её тоне, я не сразу уловил и тоном опытного сводника спросил: а как теперь?

- Давно уже никак, - ответила женщина, - он и в постели продолжал читать ваши стихи. Вас это радует?

От узнавания, однако, порой редкостная проистекает польза. Как-то в Москву со мной поехали приятели-киношники, чтобы на месте сделать кино с разными видами моей персоны у Кремля и Мавзолея. Главное же было в этом почти импровизированном фильме - зэковские байки, которые я должен был повествовать в стенах Бутырской тюрьмы. Ибо в это время, следуя властным веяньям эпохи и необходимости кормиться, Бутырская тюрьма гостеприимно распахнула свои двери для съёмок внутри неё - за весьма солидную оплату, но моих приятелей расходы не остановили. И по ходу дела они вошли в такое вдохновение, что предложили мне съездить и в мою любимую, насиженную мной Волоколамскую тюрьму, что мы и сделали однажды утром. Но до Волоколамска (два часа езды из Москвы) свежий и доходный дух эпохи не довеял, и поэтому немедленно наш пыл подсёк на корню дежурный мент. Даже составив протокол о "пресечении несанкционированных съёмок" возле охраняемых тюремных стен. Мы грустно поплелись в раскинувшийся рядом церковно-монастырский заповедник, выпили по глотку из прихваченной бутылки и стояли, закурив, под окнами какого-то казённого здания. Оказавшегося конторой этого музея. Из дверей вдруг вышла женщина и мне приветливо сказала:

- Игорь Миронович, зайдите внутрь, пожалуйста, вас просит в кабинет наша заведующая.

Сейчас погонят и отсюда, было моей первой мыслью. Ничего подобного! Уже дымился кофе на столе, печенье горкой высилось на блюдечке, и две симпатичные молодые женщины разрешили пригласить всю нашу киногруппу. На вопрос, что привело меня сюда, ответил я правдиво и уклончиво: приехали снимать, но вот возле тюрьмы нам не позволили, не знаем, как нам быть. А вот же колокольня пятнадцатого века, радушно сказали женщины, мы туда туристов не пускаем, лестница опасная, но вам дадим ключи. Не веря своему киношному счастью, поднимались мы по ветхой и крутой лестнице. С верхней площадки колокольни открывался дивный и подробный вид на вожделенную тюрьму. Жизнь всегда побеждает смерть во всех её видах, думал я возвышенно и благодарно.

Был я в сильной эйфории от нечаянной удачи, и ослабли мои внутренние вожжи. Это я к тому, что коротко и сильно ухватил меня за душу бес тщеславия. Я мигом опознал его. Поскольку,

лестницу одолевая, думал, как уместно было бы двух этих женщин каким-нибудь подарком отблагодарить за помощь и участие. И первое, что в голову пришло: как жаль, что нет со мной книжек, я бы написал на них красивые автографы. Я спохватился, беса опознав, самовлюблённым идиотом обозвал себя в сердцах, а после - гнусным именем поэта одного, который с этим бесом проживает неразрывно весь свой век. И полегчало, бес исчез. Но вместе с ним - и мысли о необходимости немедля как-то выразить свою душевную признательность. И я хоть тут, с огромным запозданием хочу сказать спасибо - вдруг вам попадётся эта книга, бабоньки, дай Бог вам всяких радостей за ту огромную, что вы доставили мне тогда в Волоколамске.

В Москве я как-то возвращался из гостей, уже было довольно поздно, ехал я, скорей всего, в последнем поезде метро. А на эскалаторе, повезшем меня вверх, никого не было. Кроме высокого худого парня, ехавшего метрах в десяти выше меня. И парень этот, обернувшись, более не сводил с меня глаз. Когда же эскалатор вышел на горизонталь, то я увидел, что он стоит у самого выхода, нескрываемо меня поджидая. В фойе метро уже был потушен свет. Это был год девяносто второй примерно, я был по уши напичкан историями о дерзких и наглых ограблениях. Мне оставалось до него чуть-чуть, и я решил сопротивляться, благо выпил я довольно мало по случайности. Он был явно выше меня, я холодно сообразил, что бить его ногой в пах, как меня некогда учили, мне не по росту. Значит, - под колено, а уж там - руками. Мне до него оставалось метра полтора, уже я чуть замедлился, чтобы ловчей ударить, когда парень мне сказал: - Игорь Миронович, а вы вчера на выступлении неправильно цитировали философа Соловьёва.

Я остановился, ноги у меня стали ватными и проступил холодный пот. Какой же ты мудак, подумал я, ещё всего секунда оставалась. И почувствовал, что лучезарно улыбаюсь. Он проводил меня до дома, этот долговязый эрудит, и ещё рассказывал возле подъезда, как не верит в новую Россию. И автограф попросил, прощаясь. Я не рассказал ему, какой автограф собирался я ему оставить, мне было стыдно за мой страх.

Немного об автографах теперь. В антрактах, когда я надписываю книги, каждый раз я заново и искренне недоумеваю: для чего мои корявые слова нужны этим прекрасным людям? Я напишу эти слова - пожалуйста (более всего я люблю надпись - "С древнееврейским приветом"), только что это прибавит книге? Что-то всё же прибавляет, очевидно, ибо как-то раз в Театре эстрады надписал я (и в антракте, и после концерта)- четыреста книг. Не меньше часа у меня ушло на это, очередь тянулась нескончаемо и

празднично, ещё я с кем-то словом перекидываться успевал, и даже пьянка задержалась в этот день. А бес тщеславия меня тогда не посетил ни разу, свербила только жалостная мысль, что неприлично употел, и негде наскоро ополоснуться.

Книги-то я, кстати, стал надписывать задолго до того, как вышла моя первая. У моей приятельницы Люськи была огромная библиотека разной классики, и я эти собрания сочинений все ей постепенно надписал. Нет, уважение к авторам я соблюдал полное, я от их имени и писал на ихних книгах. "Люсёночек, не будь тебя, я столько бы ни в жизнь не сочинил. Твой Чарльз". Это, как вы понимаете, - от Диккенса. "Прекрасной Люсе с тайной страстью - Саша" - это Блок. И то же самое с любовью написали ей Некрасов, Фет и Тютчев, Бальзак, Стендаль и даже сам ("твой верный Джек") Джек Лондон. Уезжая, она всю свою библиотеку раздала знакомым, им тоже наверняка приятно держать книги с автографами замечательных людей.

От узнавания хотел бы отличить я опознание, сейчас я поясню этот неловкий термин. Тут бывает и смешно, и холодок по коже. В маленьком американском городе Остин две юные местные девушки повели меня с утра в небольшое старое здание земельного управления округи. Здесь работал некогда и здесь был арестован (вскоре осуждён - за, кажется, растрату) некий Сидней Уильям Портер. Он сидел недолго, а потом известен стал как писатель О`Генри. В детстве я читал его впервые, обожаю до сих пор, с того и поплёлся в этот скучный особняк.

Уже давно соорудили там слегка мемориальный угол, и билеты бойко продавали, и брошюры-проспекты, у меня от этого всегда щемит немного сердце, я контору, где сидел любимый писатель, посмотрел бы лучше издали, но было поздно. Нас сопровождал высокий вылощенный распорядитель и что-то малоинтересное бубнил, мне девочки переводили. Как он тут высиживал рабочий день? - угрюмо думал я. Или писал уже, таясь от начальства? Я попросил узнать, нет ли здесь по случаю чего-нибудь, связанного с его отсидкой. Нет, ответил наш гид, о тюремном периоде жизни Уильяма Портера вообще ничего не известно. Скажите ему, попросил я девочек - переводчиц, что это не совсем так, в тюрьме сидел с О'Генри некий человек, обожавший его и написавший впоследствии книгу "С О`Генри на дне". Тут музейщик дико возбудился и спросил у девочек, кто этот осведомлённый джентльмен. Они ответили (я даже уловил нехитрый текст), что это некий русский поэт, который тоже некогда сидел. Лицо распорядителя осветилось счастьем знания, и он воскликнул:

- Евтученко!

Услыхав, что Евтушенко не сидел, а я - это не он, рослый мужчина огорчился, как дитя, а я почувствовал себя виноватым и почему-то аферистом-самозванцем. Но сразу нам уйти не удалось. Как бы компенсируя своё незнание по поводу О`Генри, служитель произнёс горячий длинный монолог, и я его дослушал до конца. Мы просто не знали, оказывается, что Евтушенко сидел, и много лет, но, несмотря на это, оставался, даже сидючи в тюрьме в Сибири, вдохновителем борьбы с тоталитарным сталинским режимом. Он был знаменем и символом этой борьбы, именно поэтому его боялись убить, а просто не разрешали ему продавать его книги и не пускали за границу. Отпустили уже много позже, когда пришёл к власти Горбачёв, его ближайший друг и давний соратник по освободительной борьбе.

Я выслушал всё это молча и с сердечной благодарностью пожал руку своему просветителю. Какое счастье, попросил я девочек ему перевести, что есть ещё на свете знающие и с хорошей памятью люди. А когда мы вышли, две эти пичужки у меня осведомились, так ли это всё и было с Евтушенко, я угрюмо буркнул, что на самом деле всё было ещё суровее и героичней, и они от женского горячего сочувствия к такой судьбе коллеги моего позвали меня выпить кофе и немного покурить.

А ещё случилась как-то история, наполнившая меня гордостью за известность в подлунном мире некоего прекрасного имени. Но это уже было в Италии. Оказавшись в Равенне, наша большая экскурсионная группа тут же поплелась, естественно, на могилу Данте Алигьери. Прямо в переулочке стоял небольшой склеп, а в нём - надгробие. Я украдкой чуть его погладил (начитался я о жизни Данте перед самым отъездом), после вышел, закурил задумчиво, и тут меня все окружили, гогоча и предвкушая. Пока я стоял в склепе, Сашка Окунь с женой Верочкой наломали кучу веток с росшего позади склепа старого лавра, наскоро скрутили их в венок, который на меня и водрузили. Конечно, я был счастлив и польщён (весьма усугублялось это тем, что выпить я успел ещё в дороге). Но шутка оказалась тем смешней, что все вдруг вспомнили, что Данте был довольно длиннонос, венок на мне напоминал о всем известной гравюре в профиль с сильно висящим носом. Мы пошли по городу дальше, я шёл впереди группы и благословлял прохожих величавым мановением руки. Прохожие ничуть не удивлялись. Итальянцев карнавалом не удивишь. Более того: они приветливо кивали мне и говорили: "Данте?" Кто-то высунулся из машины: "Данте, си?", и точно то же самое спросил владелец лавочки, куда я забежал за сигаретами. "Данте, да", - подтвердил я, но сдачи дождался. А минут через десять какая-то пожилая тётка нарушила

единодушное узнавание. "Кто это?" - спросила она. А в нашей группе некая интеллигентная женщина давно уже изнемогала от ненужности своего английского языка (гостеприимным итальянцам по фигу любой чужой язык, они всё понимают с полувзгляда) - тут она и оттянулась. Это не Данте, объяснила она вежливо и назидательно, это известный русский поэт. Итальянка поняла, и все лицо её озарилось счастьем догадки:

- А!- воскликнула она просветлённо, - Пучкин!

Как-то раз в маленьком московском кафе, где ежедневно поют барды, я читал свои стишки с маленькой сцены, откуда легко просматривался весь зал. Слева от меня, сдвинув столики, гуляли новые русские. Может быть, и не такие крутые, как в анекдотах, но явно упакованные господа. В антракте мы курили на улице, они стояли чуть поодаль, и один из них окликнул меня: Игорь Миронович, подойдите к нам, я расскажу вам историю, будете довольны. Я подошёл.

- Знаете,- сказал симпатичный молодой мужик,- я тут наткнулся на ваш сборник стихов, половину сразу выучил наизусть и весь вечер ваши стихи талдычил моим друзьям. А утром они звонят мне и говорят...

Для впечатления он сделал небольшую паузу, и тон его неуловимо изменился на слегка угрожающий:

- Что же ты, Андрюша? Мы послали шофёра, он купил этого твоего Гёте, а там ничего нету из того, что ты вчера читал.

Я благодарно рассмеялся: вот ещё одна разновидность узнавания.

Я без наставников, я лично сам за эти годы непоспешно постигал азы актёрского ремесла, которые преподают, по всей видимости, в самом начале обучения. Или по ходу репетиций, Бог их знает. Никто меня не надоумил, например, как нам необходимы мелкие домашние заготовки. А наткнулся я на это, как-то сгоряча употребив со сцены простенькую собственную шутку очень давнего разлива. И немедля ощутил благодарное восхищение зала, полагавшего, что я настолько находчив. Словом, есть у меня нынче молниеносные расхожие остроты, сильно выручающие в типовых ситуациях. Так, например (о многих я не проболтаюсь, а эта - всё равно украденная у кого-то), на вопрос, удачно ли я женат, я отвечаю не банальным "да", а говорю, как бы подумав:

- Да, весьма удачно. Я при заполнении любых анкет в графе "семейное положение" пишу всегда - "безвыходное".

Негоже, вдруг подумал я, так легкомысленно пробалтывать свои заветные ремесленные тайны, только глупо и скрывать их - буду вынужден теперь изобрести что-нибудь новенькое. Не в

силах я разумно промолчать, когда мне что-то кажется забавным.

Тут отступление и вовсе не по теме, а скорей - о некой авторской черте характера. Эту историю не только у нас в доме, но и в доме у друзей частенько вспоминают, чтобы ненароком поглумиться надо мной. Когда меня только-только посадили, то неведомые мне психологи с Лубянки приняли весьма хитроумную (с их, точки зрения) линию обработки моих близких и друзей: как бы случайные, но где-то что-то слышавшие люди излагали нашим заведомым знакомым нечто о моём преступном прошлом и о том, как можно мне помочь. Охота шла у них за Витей Браиловским, редактором подпольного журнала "Евреи в СССР" (он должен был, согласно замыслу Лубянки, идти вместе со мной по сугубо уголовному делу), я же призван был постепенно обрести ореол крупного крутого уголовника, много лет искусно прятавшего от семьи свои преступные затеи. Именно такую версию изложил моей тёще и чекист, который попросил о встрече и нарассказал ей много интересного о моём прошлом. Среди этих мифов и параш одна история слегка расстроила тёщу: ей сообщили, что примерно год назад в Москве, в Парке культуры и отдыха имени Горького происходил (не много и не мало) - всесоюзный тайный съезд преступного мира всей империи, точней - его виднейших представителей. Каким бы тайным ни был он, а несколько чекистов туда проникли и вели контроль. Так вот, весьма заметную роль на этом сходняке преступников играл, почтенная Лидия Борисовна, ваш зять Игорь Губерман.

И что-то проскользнуло, просочилось в душу тёщи (гениальный был завет у иезуитов: клевещи, клевещи, что-нибудь да останется), и она неприкрыто разволновалась. Витя с Ирой Браиловские, чтобы успокоить её, принялись лихорадочно измышлять аргументы в доказательство того, что это ложь. Потратили они дня три, надумали необходимое и приехали к Лидии Борисовне.

- Вот почему это враньё, - горячо начала Ира...

- Я знаю, это полное враньё,- сказала тёща. И в ответ на изумление мыслителей она им пояснила лучезарно:

- Видите ли, если б это было правдой, он наверняка нам это разболтал бы.

Вот такая репутация у меня в семье, и я её сейчас упрочу, обнажая свою тёртую актёрскую душу. Чуть ли не в первый же год гастрольных скитаний я вдруг поймал себя на странном и заметно ощутимом чувстве надменности по отношению к залу. Я испугался и расстроился. Страха перед залом у меня не было никогда (а мне рассказывали, что такое бывает). Я за полчаса до выступления начинаю волноваться и к началу иногда трясусь, как

заячий хвост, но подхожу к микрофону - и всё проходит. Один коллега мне сказал, что так и надо - Яблочкина, например, добавил он глумливо и назидательно так и тряслась до ста одного года. Словом, волноваться надо, и полезно для актёрского куража. Но вот надменность?

Стал я спрашивать бывалых выступалыциков. Об отношении их к публике и что они об этом знают. И услышал я такое! Выходило в среднем, что любой профессионал испытывает тройственное чувство: страха перед публикой, презрения (высокомерия как минимум) и благодарного почтения. Никак это совместно не сходилось в ощущении моём, я продолжал расспросы, натыкаясь на удивительные крайности.

- На сцену надо выходить со стоячим хуем! - жарко говорил мне один матёрый эстрадник. - Вот, дескать, я вас всех сейчас! Но всё это должно быть у тебя глубоко в душе - ты понял?

- Публику надо любить! - медленно и обаятельно ответил мне известный актёр, тоже работающий на эстраде в одиночку. - Я перед началом каждый раз нахожу дырочку в задней кулисе и на них смотрю. Вот сидит, вижу, толстяк с уже заранее хмурой физиономией - мол, меня ничем не удивить, я просто так зашёл. А через ряд - сухая вобла, смотрит сквозь очки и чем-то уже заранее недовольна. Рядом парень с девкой, этим вообще на меня насрать, они сейчас обнимутся и так застынут, ничего не слыша. А вон с таким тупым лицом, что непонятно, для чего припёрся. И глухих старух человек сорок в первых рядах, эти на имя приплелись. А я их всех люблю, - вдруг выкрикнул он, явно спохватившись.- И тебе советую. Ты так и повторяй про себя молча: я люблю вас, я вас всех люблю. Ты понял?

На место всё поставил мне Зиновий Ефимович Гердт, хотя расспрашивать его я сильно побаивался от почтения и боязни насмешек. Он, однако, очень спокойно и серьёзно мне сказал, что всё моё смятение нормально, и в зависимости от удачи, настроения тебя и публики - любые справедливы ощущения.

- Ты только будь сам собой, и всё, - сказал Гердт, - на сцене все видны насквозь, а публика - совсем не дура. Веди себя, как на большой пьянке, где ты ведёшь застолье - так тебе понятней будет. Только учти, что и на пьянку эту, и вести застолье - напросился сам, поэтому тебе никто не должен в зале, а ты - должен всем.

И стал я быть самим собой до такой степени, что выступать в концертный зал "Россия" припёрся как-то в разноцветно клетчатой ковбойке. Подошла ко мне за сценой женщина и с мягкой непреклонностью сказала, что у них в концертном зале выступают только в пиджаке, а чтоб под ним - рубашка, а не это,

и поморщилась брезгливо. Если бы она так не поморщилась, то я бы сразу согласился - заведение чужое и солидное, к тому же - иностранный гость я из Израиля. Но от её презрительной гримасы обуяло меня то тупое упрямство, кое принято именовать ослиным, и я гордо заявил, что это у меня такая выступательная спецодежда, и её никак сменить я не могу ввиду потери общего сценического образа. Тогда сходила эта женщина к кому-то главному, тот согласился на ковбойку (я уже жалел об этом, у приятеля пиджак был и рубашка), всё закончилось к обоюдному неудовольствию, но тут... Эта ответственная женщина вдруг близко подошла ко мне, тесно прижалась и сказала мне рот в рот негромко и приязненно: "Я только об одном вас попрошу, чисто по-женски: вы сейчас пойдите в туалет, возьмите там бумажку, намочите и протрите себе туфли, ладно?"

И пристыженно пошёл я в туалет с покорностью, и взял бумажку, и протёр себе туфли, и с тех пор такие вольности уже нигде не допускал. Однако же, моя одёжная неприхотливость (и язык болтливый тоже) как-то раз если не жизнь мою спасла, то уж наверняка уберегла от покалеченья. Всего лет пять назад это случилось. Прилетел я из какого-то города в аэропорт Домодедово. Как обычно, там была густая толпа водителей, предлагающих подвезти, но плату что-то все запрашивали очень уж высокую. И в рассуждении такси я вышел на улицу. Со мной поравнялся молодой парень чисто шофёрского облика и мне сказал негромко, что он возит очень дёшево, поскольку берёт сразу троих, а двое у него уже есть. И я, конечно, клюнул на дешевизну. Он отвёл меня за сигаретный ларёк, где уже стоял один из пассажиров - средних лет непримечательный мужчина с саквояжиком. Сейчас приведу третьего, сказал парень и куда-то побежал.

- Командировочный? - спросил меня попутчик. Я кивнул.

- Я тоже, - сказал он.- С Урала я. Из треста Уралзолото. А вы кто будете?

- А я чтец-декламатор,- почему-то сказал я. - Я детям в школе детские стихи читаю. Михалкова басни тоже.

"Что я мелю?" - подумал я мельком. Но уж очень не хотелось разговаривать. Тут вынырнул из-за ларька водитель наш, а с ним - верзила явно привокзального, а не приезжего вида. Собеседник мой к ним живо обернулся, и водитель вдруг сказал: "Машину вывести я не могу, загородил меня кто-то, вы уж извините".

Я пожал плечами и через минуту отыскал такси. Старик-таксист (он моего был, впрочем, возраста) всё время на меня косился и в конце концов не выдержал:

- Мужчина вроде зрелый, не сопляк, - сказал он,- а знаешь ли

ты, парень, что тебя сейчас чуть не убили?

Я уставился на него в полном недоумении.

- Ну, чуть не покалечили,- согласился старик.- Это ведь у нас работают лихие ребята, один - водила, а другие двое - вроде как попутчики. Они как километров пять отъедут, так и приступают. Кошелёк давай и где ещё ты деньги спрятал. Если сразу отдают, они слегка пристукнут и выбрасывают, а вот если станешь им сопротивляться. .. Уже много было случаев, у нас их знают.

Как-то сразу всё понятно стало мне - и тот киоск, за которым почему-то мы стояли, и верзила, и мужичонка с таким хилым саквояжиком, что вряд ли с таким ездят по делам в столицу сотрудники треста Уралзолото. Только вот о чём я думал пять минут тому назад? Я просто им не подошёл - как хорошо, что я сболтнул о чтении стихов в школе. А гонорар за два концерта я с собою вёз. Выходит, что спасла меня моя нехитрая одёжка.

- Но постой-ка, - вдруг сообразил я своим фраерским сознанием, - а если все их знают, то куда милиция смотрит?

И старик-водитель тут расхохотался так отчаянно и молодо, что мне за мой вопрос дурацкий стало неудобно и смешно.

- Ты что ли приезжий? - спросил старик утвердительно.

- Да нет, мудак я просто,- ответил я ему, и он не возразил. Дальнейшую дорогу мы уже беседовали с ним о том, что на вокзалах железнодорожных тоже крадут будь здоров, и так было всегда, и вряд ли изведётся.

Актёрской жизни обучали меня все, и все по-разному, и всем я благодарен искренне.

Только на один вопрос ни разу не ответил мне никто, хотя единодушно соглашались с тем, что это нечто существует. Я говорю о тех странных, чисто вампирских отношениях, которые завязываются у актёра с залом. Происходит некое загадочное перекачивание непонятной мне энергии. И, если публика отзывчива, я ощущаю сильный подъём духа (это ещё можно как-то объяснить), но главное - он не проходит после выступления, и вовсе это не естественная радость от удачного концерта, а типичное вливание энергии. Забавно, что о том же говорят мне в таком случае и зрители. А при чтении в болото, если в зале бродит вялость и снисходительная апатия (часто это зависит и от возраста зрителей), то в конце такую ощущаешь истощённость, пустоту и высосанность, будто из тебя эту энергию незримо откачали. Зрители же говорят и в этом случае (благодаря и удивляясь), что они как будто зарядились. Уже не раз и не десяток раз я убеждался в этом, и уверен, что когда-нибудь такое даже смогут измерять. Когда поймётся - о чём речь.

А выступления преподносили мне сюрпризы, закаляющие

дух. Давно уже я сочинил себе уловку: выбирал в зале восемь-десять симпатичных лиц и обращался к ним, читая и рассказывая. А попутно попадались глазу пятьшесть лиц, симпатичных настолько менее, что я решал на них и вовсе не смотреть. Но надо ли рассказывать, что именно на них глаз и соскальзывал упрямо? Однажды я от одного такого зрителя не сумел оторваться вовсе - я всё время на него смотрел, а он, держа лицо гранитно-каменным, смотрел на меня тоже. И не улыбнулся он ни разу. Я решил: будь я не я, тебя я рассмешу. И, как плохие артисты в сельских клубах, стал я безобразно педалировать смешные места. Всё отделение. Я даже от бессилия вспотел. За залом не следил я вовсе. Всё напрасно. А в антракте этот человек ко мне вдруг подошёл. И с тем же каменным лицом купил три книги. А потом сказал: "Позвольте, я пожму вам руку, мне так замечательно вас слушать".

- Вы бы хоть раз улыбнулись, - горько сказал я ему,- ведь я об вас оббился, вас рассмеивая.

- Я это заметил,- так же холодно ответил он,- я вам ничем не мог помочь, у меня паралич лицевых мышц.

А в Бостоне концерт был как-то в частном доме. Собралось человек шестьдесят, мне каждый виден был отлично, и с начала самого глаз начал у меня соскальзывать на двух девиц, которые зачем-то демонстрировали мне своё полнейшее пренебрежение. Одна чесалась где ни попадя или рассматривала потолок и стены, а вторая, минут пять подремав, на меня смотрела, как на попугая в зоопарке, а потом задрёмывала снова. Очень это было неприятно и загадочно. И так же всё после антракта повторилось. Зол я был, как сволочь, и когда на выпивке меня хозяйка дома что-то ласково спросила насчёт публики, я бормотнул в ответ невразумительное нечто и угрюмое. Она недоуменно отошла. Спустя полгода - я уже забыл о той досаде - позвонила мне приятельница по поручению той женщины. Как-то по случаю они восстановили ситуацию: девицы те были американками, которых ухажеры не могли на эти два часа оставить, ибо вместе приехали откуда-то издалека, и зря я так тогда извёлся. Мне приятельница передала, что все по этому поводу смеялись - а я вспомнил ощущения свои и снова залился печалью о превратностях актёрской жизни.

Чтобы достойно и красиво завершить эту главу, я расскажу про некий высший миг известности: меня в Испании, в Мадриде, и не где-нибудь, а посреди музея Прадо опознал в мужском сортире русский турист. Мы стояли, друг на друга не глядя, тесно прильнув к своим писсуарам. Тесно - потому что некогда в Одессе, по преданию, над писсуарами бывала надпись: "Не льсти себе, подойди поближе". Вдруг сосед мой наклонился к моему уху

и негромко вопросил, не тот ли я Губерман, который пишет гарики. С достоинством, подобающим ситуации, я подтвердил, что это я. И тут он стал жужжать мне в ухо нечто упоительно хвалебное. Свои процессы мы не прекращали. Чуть наклонив из вежливости голову в его сторону, я вдруг заметил с ужасом, что он, не прекращая говорить, пытается переложить из правой руки в левую, чтобы пожать мне руку.

Но я освободился первым.

Праздник, который всегда со мной

В названии этой главы преувеличения нет, она - о записках, которые я получал от зрителей за годы мельтешения на сцене.

Новинкой такой вид общения для меня не был: ещё в России приходило ко мне множество читательских писем. Так как я писал книги о науке, то и вопросы ко мне шли вполне по делу. От солдат - как улучшить память, потому что им на лекции сказали, что она сильно портится от онанизма. От домохозяек - чем исправить плохое настроение мужа с похмелья? И в жутком изобилии - мысли разных сумашаев по поводу неверного устройства мира. Одно из таких писем я помню почти наизусть до сих пор, потому что очень любил пересказывать его приятелям-врачам. Оно начиналось не с обращения к редакции или автору, а прямо с самой сути:

"Идёмте!" раздался надо мной мужской голос, и я почувствовала две крепких мужских руки чуть выше своих локтей. Так я оказалась в психиатрической лечебнице имени профессора Кащенко. Практической причиной забирания были мои практические успехи в системе йоги и плавание в ледяной воде на пятом месяце беременности..."

Далее шла грустная биографическая проза об отсутствии отца, и про больную мать, которая тоже много времени содержалась в такого рода заведениях. Но у дочери характер был иным: "Я поняла, что выйти на свободу я могу, подчинив своей воле 50 (пятьдесят) лечащих врачей. Для этого мне надо было изучить их внутреннюю сущность. Я изучила её (что произвело на меня удручающее впечатление)..."

Вот, собственно, ради последней фразы в скобках я читал это письмо приятелям-врачам. И посейчас жалею, что отнёсся несерьёзно к сути того послания: мне предлагали соавторство, мне предлагали написание совместной книги, а я смеялся, идиот. Вот так проходят всуе звёздные часы тех, кто не способен их опознать. Но ныне уже поздно.

Разных писем было два мешка, они лежали на антресолях в нашей квартире, и во время обыска один из ментов так и не слез с лестницы-стремянки: он как начал просматривать эти письма, так и просидел там добрые часа четыре. А потом все письма куда-то делись - выбросили их, скорей всего, убирая квартиру перед отъездом. А жаль - там ещё были письма от людей, ставших ныне жутко знаменитыми - я бы сейчас эти бумажки продавал фанатам и жил припеваючи. Не сосчитать потерь от легкомыслия, печально думаю я и теперь, выкидывая рукописи графоманов.

В Израиле я начал получать записки по ходу чтения стишков, а после каждого концерта их выбрасывал. И тут одна моя приятельница (ещё в пятидесятые годы была она известной виолончелисткой) мне сказала: "Гарик, не будьте идиотом, не выбрасывайте записки, вы потом об этом горько пожалеете. У меня за всю мою концертную деятельность была всего одна записка, и я плачу, глядя на неё, такие лезут в голову сентиментальности".

Записка та и впрямь была достойна многолетнего хранения. Приятельница вспоминала: "Вы представьте себе, Гарик: на дворе пятидесятый год, у меня сольный концерт, я выползаю на сцену, ставлю между колен мою виолончель и начинаю на ней пиликать. И тут немедленно - из зала записка...".

Только сильно старшее поколение может ещё помнить вылощенных конферансье и ведущих тех лет - фрак, манишка, бабочка. Такой ведущий и поднял эту записку, громко и торжественно возглашая: "Какая интеллигентная наша советская публика! Даже на музыкальных вечерах шлют записки! Я сейчас прочту её всем!"

На клочке бумаги было написано: "Завидуем местоположению вашего инструмента. Группа моряков".

И, следуя совету старшего коллеги, я записки начал собирать - не часто совершал я в жизни мудрые поступки - совершал, однако, чему очень рад теперь.

Вопросов типовых, задаваемых на каждом выступлении, оказалось немного. Хотя один из них какое-то время сильно досаждал мне: как у вас с ивритом, уважаемый? А с ивритом плохо у меня, тут нечего и говорить, какой-то ехидный зритель даже вопросил, могу ли я в таком случае считаться полноценным евреем. А в далёком городе Оренбурге вдруг таких записок пришло штук пять - очевидно, в этом городе нет собственных проблем. И там от злости сочинил я ответ, которым с той поры успешно пользуюсь. У меня с ивритом нет проблем, отвечаю я любопытным, проблемы есть у тех, кто хочет поговорить со мной на иврите. А когда ответ заранее в кармане, то уже не раздражают и вопросы.

Почти всегда есть в зале человек, читавший мои стишки глазами и больно уколовший о них своё чуткое грамматическое чувство. Этот зритель сообразно своему характеру спрашивает грозно или вежливо: почему вы, Игорь, пишете гавно через "а"? Я отвечаю уважительно, но твёрдо: это мой личный вклад в русский язык. Обычно все смеются почему-то, и приходится объяснять. Слово "говно" (которое, кстати сказать, очень любил употреблять Ленин по отношению к интеллигенции) ничуть не передаёт того

накала и размаха чувств, как слово "гавно", когда мы говорим о хорошем человеке. А так как я стихи пишу о людях, то звучание отнюдь не маловажно, вот я и взял на себя смелость писать так, как слышу и произношу.

А далее - непредсказуемые записки. Оживляется у многих чисто личное творческое чувство, и плывут из памяти истории, связанные с тем, что сам я только что повествовал. Так я люблю рассказывать о некоем немолодом еврее, что сидел с моим знакомым в одном лагере. Украл бедняга что-то на своём заводе и, в отличие от остальных, попался. А фамилию имел он звучную и значимую - Райзахер. Наше ухо, избалованное редкостной пластичностью родного языка, мгновенно ловит всякую возможность игр с именем, поэтому он кличку получил у себя в лагере - Меняла. И отменную я получил как-то записку:

"Игорь, вам это может пригодиться. Моя знакомая свою свекровь Бенетту Оскаровну называет Минетой Оргазмовной".

Вообще поразительна любовная заботливость читателя-слушателя. Я не то чтобы побаиваюсь спрашивать, хорошо ли меня слышно, просто помню, как на этом накололся мой один коллега: он в разгаре чтения своих стишков спросил, хорошо ли его слышно, а из зала кто-то громко ответил: к сожалению, да. Однако часто чувствуешь неладное со звуком, говоришь обиняками (ибо помню тот конфуз) - мол, кажется мне, звук неважный. И радостно в ответ записку получить: "Игорь Миронович, не огорчайтесь, звук действительно плохой, зато изображение отличное!"

Но я отвлёкся от немедленной творческой отзывчивости. Я вспоминал не раз со сцены, как во время Шестидневной войны в самых разных городах советской империи в автобусах, трамваях и метро подслушать можно был один и тот же диалог. Один из собеседников обычно говорил: евреи-то, ведь как они воюют! На что второй солидно и успокоительно ответствовал: так это же не наши евреи, это древние! И получил записку я в стихах - с весьма убедительным объяснением того военного чуда:

Евреи, отстояв свою страну,
в шесть дней победно кончили войну;
не может же торговля, в самом деле,
стоять на месте более недели.

Вообще записок со стихами приходит тьма тьмущая, и как бы ни были беспомощны эти наспех нацарапанные строки, явно говорят они о вспышке творческого чувства, отчего я многие храню. Вот, например, стишок из Дюссельдорфа:

На Губермана? Без оглядки!
Раз в год случается.
И этот вечер, словно блядки,
пусть не кончается!

Нет, нет, хвалиться записками такого рода, посланиями доброжелательными и благословляющими, я не буду, хотя очень порой хочется, ибо теплеет на душе и мокро тяжелеют веки - если бы пишущие знали, как я благодарен им! За вот такую чистую записку:

"Ой, как я рада, что вы живой, а то бабушка мне говорила, что вы уже не живой. Живите ещё много лет!"

Очень люблю записки строгие и хозяйственные:

"Игорь Миронович, если все евреи уедут, то как мы обустроим Россию?"

Вообще еврейская тема возникает и мусолится так часто, что её откладывать не стоит. Ещё и потому она так часто возникает, что в России на мои выступления (в Израиле, Америке, Германии - само собой, но это и естественно) приходит множество евреев. Если кто-нибудь тебе, читатель, скажет, что количество евреев уменьшается в России - плюнь тому в лицо. Ибо чем больше евреев уезжает, тем их больше остаётся - это моё личное и очень обоснованное убеждение. Приношу своё горячее сочувствие всем тем, кому от этого нехорошо и больно. Итак, записки на еврейскую тему.

"Игорь Миронович, я не еврейка, а мне смешно - это нормально?"

"После первого отделения почувствовал, что у меня произошло обрезание. Спасибо за ощущение".

"Игорь Миронович, а это правда, что после концерта евреям вернут деньги за билеты?"

"Что же вы, Игорь Миронович, всё время читаете стихи о евреях? Есть ведь и другие, не менее несчастные".

"Дорогой Игорь, как Вы считаете: еврей - это религия, национальность, призвание или диагноз?"

Лучшая на эту тема записка пришла в Красноярске. Очень, по всей видимости, умная и принципиально нравственная дама выразила мне своё возмущение тем, что про евреев удаются мне порой достаточно смешные стишки:

"Игорь Миронович, я сама являюсь убеждённой антисемиткой, но то, что читаете вы, переходит допустимые границы. Член Коммунистической партии Российской Федерации - (фамилия, имя, отчество)".

И ещё об этом много, ибо тема жгучая.

"Уважаемый Игорь Миронович! Большая просьба: не могли бы Вы попросить зал поднять руку, кто еврей. Хочу, наконец, узнать, кто мой муж по национальности. По-моему, он жид, но скрытный, падла".

"Почему все евреи талантливые - может, вы знаете что-нибудь о секретах зачатия? С искренним уважением, к сожалению, русский".

Этого беднягу явно пронизал вездесущий миф - лучшая, по-моему, из выдумок антисемитов - о поголовной умности евреев. Эх, пожил бы он у нас в Израиле хоть месяц! Даже составляющие этого мифа - о способностях и грамотности - мигом улетучились бы прочь. Или, на худой конец, прочёл бы пусть записку, мной полученную в Минске от какого-то неведомого старика (крупный и неровный почерк пожилого человека):

"Мне стыдно за вас, представителя Израиля, и за еврейскую молодёжь, сидящую в зале в то время, как вы со сцены произносите названия злачных мест (жопа)".

В самом начале приглашения писать записки я рассказывал обычно, как лет тридцать назад испытал смертельную зависть. Ещё был жив Утёсов, и одна наша знакомая, его землячка-одесситка, пошла к нему в гости. Леонид Осипович развлекал её, показывая записки своих слушателей. Одну из них она запомнила наизусть, пересказала нам, тут зависть я и ощутил. Записка была от женщины, а содержание такое:

"Я хотела бы провести с Вами ночь, и чтобы небу стало жарко, чертям тошно, и я забыла, что я педагог". Эту записку я уже цитировал, но тут её повтор уместен, ибо получил я на каком-то выступлении (где про свою зависть рассказал) ужасно трогательную просьбу:

"Игорь Миронович! Пожалуйста, что-нибудь ещё о педагогах! Только медленно, я записываю. И побольше неформальной лексики! Группа школьных учительниц".

Эта записка почему-то мне напоминает о другой, такой же неожиданной: "Игорь, пожалуйста, говорите тише, в девятнадцатом ряду спит ребёнок".

Вот что интересно и загадочно: за все двенадцать лет, что я торчу на сцене, только один раз я получил мерзкую и враждебную записку. Было это на самой заре моей актёрской карьеры, чуть ли не в первый мой приезд в Москву - в Доме литератора, и думаю поэтому, что написал какой-нибудь коллега. Мне тот вечер очень памятен, я много тогда понял о природе наших отношений с залом, а матёрые профессионалы позже подтвердили мою свежую печаль. Записку ту я поднял в конце первого отделения, мне

внове были письменные игры с залом, я её немедленно прочёл - конечно, вслух. Там говорилось, что я наглый прыщ на теле русской литературы, и пусть я убираюсь обратно в свой Израиль. Я прочитал это громко и внятно, поднял голову, ещё не зная, что сказать - зал тяжело и неподвижно молчал. Ни смешка, ни звука поддержки -зал ожидал. И тут я растерялся, потому что если зал - не на моей стороне, то продолжать читать стишки просто невозможно. Я очень медленно сказал, что, по всей видимости, автор записки -весьма мужественный человек, поскольку побоялся написать в конце своё имя. Ни шороха, ни звука мне в ответ. Так как это было одно из первых выступлений в Москве, и моим приятелям всё это было тоже в новинку, один из них принёс видеокамеру, и день спустя я мог увидеть себя в те минуты собственными глазами. Ох, и нехорош я был! С красно-фиолетовым напряжённым лицом и каменно застывшим телом. А я и вправду был испуган: я терял зал и не знал, что с этим поделать. Я переступил с ноги на ногу и сказал, что приглашаю автора записки на сцену - вот микрофон, пусть он открыто скажет, чем я его так не устраиваю. В зале не произошло ни малейшего шевеления. Вот тут, по-моему, и залился я этой дикой расцветкой, уже надо было спасать собственное досто-инство, и я вполне по-лагерному ощутил, что защитить его смогу.

- Выходи на сцену, - хрипло сказал я, - не бойся, бить я тебя не буду, мне нельзя, я иностранец.

Зал по-прежнему молчал, но теперь уже эту паузу вёл и держал я сам.

- Боишься выйти, - сказал я, - у нас в лагере таких тихих пакостников держали за одним столом с педерастами.

И зал взорвался аплодисментами. Зал изначально был на моей стороне, как объяснили мне опытные люди, но в такие моменты невозможно удержать чисто животное любопытство -кто кого, и этот вековечно беспощадный зрительский интерес так испугал меня совсем напрасно. Более того: после концерта одна замечательная актриса мне прощебетала с одобрением: "Как это здорово было подстроено с запиской, ты так хорошо и вдохновенно говорил!"

Хуя себе подстроено, подумал я, в антракте я сидел за сценой, вытянув ватные ноги, и не в силах был заставить себя пойти в фойе надписывать книги.

И более таких записок я нигде не получал. Разве что прямо противоположного содержания:

"Мироныч, ты чё выёбываешься, ты же чисто русский мужик возвращайся!"

Но на такие тексты отвечать было легко и просто. А теперь -

несколько донельзя симпатичных записок:

"Очень хотелось бы когда-нибудь назвать Вас своим учителем. Что Вы посоветуете? Начать писать стихи или просто сделать обрезание?"

Старый еврей, ветеран войны (Москва): "Будь моя воля, я бы хуй вас отпустил, такие люди нам нужны в России".

"То, что моя жена от Вас балдеет, это понятно. Но почему от Вас балдею я? Мне очень страшно..."

"Дядя Игорь! Я люблю одну девочку, а ей нравится другой. Что делать?"

"Что у вас налито в стакан? И если да, то почему без закуски?"

"Как себя вести, если принимают за еврея?"

"У Вас стихи рождаются мучительно или как котята?"

"Игорь Миронович, посоветуйте, Бога ради, что мне отвечать четырёхлетнему сыну, который каждый день спрашивает: мама, куда ты ложишь эту прокладку?"

И стихи, стихи, стихи. Их авторы - не графоманы, просто очень возбуждает, очевидно, обманчивая лёгкость четырёх-строчия, и немедленно варится в голове что-то своё, часто адресованное тому придурку, что болтается на сцене, вызвал этот сочинительский прилив, а сам явно нуждается в поощрении. И я тут же получаю стишок типа такого:

Всё у Вас звучит прилично,
привыкаешь даже к фене,
так задумчиво, лирично
шлёте к матери ебене.

А вот замечательно меланхолическое двустишие:

Столько вас евреев сразу
я не видела ни разу.

Почти еженедельно я получаю обильные рукописи настоящих графоманов. Сплошь и рядом это некий ужас, в котором явно сквозит неспособное себя выразить живое чувство. А порой вдруг попадаются отменные строчки (не меняющие, правда, общую картину). Я в эстрадную программу включил несколько таких удач, и вслух читать это - большое удовольствие. Так некий пожилой мужик (почти наверняка - еврей, ибо азартно увлечён историей России) накропал огромную поэму, в которой ухитрился описать российскую историю от первобытности до двадцатого

съезда партии, где почему-то тормознулся и иссяк. Не сам я, к сожалению, эту поэму получил, мне изложил её по памяти приятель. Самое начало было изумительно по энергичности стиха:

Ну, а теперь, друзья-славяне,
посмотрим, как из века в век
подобно дикой обезьяне
жил первобытный человек.

А на уровне средневековой, Киевской Руси, им сочинилось дивное четверостишие, такого никогда не написать ни одному из нас, надменных каторжников ремесла:

Но как бы тело ни болело,
стрелу татарскую кляня,
оно у князя было цело и
даже село на коня.

Чтоб я так жил, как это сделано! А женщина одна, огромную поэму про любовь накропавшая, две гениальных строчки сочинила сгоряча:

Любимый открыл мой природный тайник,
оттуда забил стихотворный родник.

Ещё один замечательно грустный стишок сообщил мне приятель:

Послал в редакцию
я семь стихов про осень,
а из редакции
мне их вернули восемь.

И на выступлении однажды, когда я с восторгом и блаженством это всё читал, записку мне прислали, подарив шедевр не слабей:

Как полноводная Нева течёт в объятьях Ленинграда,
так возбуждённая вдова довольна прорванной блокадой.

Вообще поразительна щедрая отзывчивость зрителей. Стоило мне упомянуть какое-то забавное выражение мудреца в погонах с нашей военной кафедры в институте, как пошёл поток записок с изложением изящных мыслей этих тонких педагогов. Иногда обозначались точно место и время произнесения, чаще только самая суть.

"Один наш студент-медик на военных сборах обратился к офицеру прямо из строя: скажите, пожалуйста, вы не могли бы к нам обращаться уважительно и без мата? Офицер ответил: я могу на вы, могу без мата, но лично тебя я заебу!"

"Город Горький, 81 год. Военное дело. Офицер - студенту: как вы вообще могли поступить в консерваторию, если вы не помните номер своего противогаза?"

"Москва. Первый медицинский институт. Военная кафедра. Майор: студент, почему ты не был на семинаре? Студент: я болел эндометриозом. (Это некое заболевание матки.) Майор (презрительно): я с эндометриозом всю финскую войну прошёл".

Москва, полковник в Автодорожном институте: "Куст - это совокупность палок, торчащих из одного и того же места".

"Ленинград. 82 год. Кораблестроительный институт. Капитан 3 ранга мечтательно: "Скорей бы война! Добровольцем пойти! В плен сдаться! В Париже побывать!..."

А одна женщина-врач, какое-то время прослужившая в армии, получила при увольнении замечательно двусмысленную грамоту: "За отличное обслуживание штаба дивизии".

Доверительные слова пожилого ветерана за вечерним общим курением: "Меня за всю войну и наградили-то всего один раз, при взятии Варшавы, триппером".

В толстой папке, где храню я эти ценные дары зрительского доброжелательства, есть и листки, исписанные моим личным, донельзя корявым почерком. На этих случайных клочках писал я, понимая, что запомнить невозможно, перечень еврейских фамилий. Один мой американский приятель много лет имеет дело с нашей эмиграцией - крепился несколько лет, потом не выдержал и стал записывать:

Сарра Великая.
Леопольд Срака.
Диана Хайло.
Зина Тарантул.
Роман Половой.
Роман Заграничный.
Татьяна Дистиллятор.
Исай Кукуй.
Исай Вошкин-Лобков.

Хая Лысая.

Леонид Конфискарь.

А вот ещё записка:

"Уважаемый Игорь Миронович! Огромное вам спасибо! Вы так запудрили стишками мозги женщинам, что одна из них в перерыве зашла в мужскую кабинку (где был я). С приветом (подпись)".

Попадаются послания, на которые необходимо реагировать немедленно, чтоб вечер не завис тяжёлой паузой. Что-то спортивное, во всяком случае будоражащее есть в такой игре. В Челябинске я как-то получил изысканно вальяжную записку:

"Не вас ли мы видели в Париже в Лувре в девяносто пятом году?"

Меня, ответил я учтиво и не менее изысканно, я всё свободное время стою в Лувре в виде мраморной женщины без рук.

А в Минске очень трогательно написал мне пожилой еврей:

"Игорь Миронович, получаю удовольствие от ваших стихов.Оно было бы большим, если бы зал отапливался. Рабинович".

Там же в Минске получил я записку, которую с особенным удовольствием цитирую теперь в Белоруссии (хотя повсюду в мире россиянам хорошо известно упомянутое в ней имя). Я читал подборку, которая открывалась двустишием:

В замыслы Бога навряд ли входило,

чтобы слепых вёл незрячий мудила.

И немедленно на сцену кинули записку - я её, естественно, сразу поднял и огласил. Там было написано: "За мудилу - ответишь! Лукашенко".

Боже, какое ликование поднялось в зале! Оно было лучшим ответом на обычный пустой вопрос приезжего - мол, как вы относитесь к своему бесноватому президенту?

Чувствуя, насколько витаминно и питательно моей душе всё, что смешно, мне вообще шлют подряд, что вспоминается по ходу выступления. А если тема обозначена, то могут быть сюрпризы удивительные. Много лет назад я сочинил нехитрую загадку, на которую настолько же несложен был ответ. Что это такое, спрашивал я: без окон, без дверей, а вовнутрь влез еврей? Никто ни разу не ответил точно, я имел в виду часы в ремонте. Как-то я эту загадку предложил и зрителям на каком-то свальном концерте - нас там выступало человек десять. Получил, как водится, много неправильных отгадок, но одна я застонал от восхищения. Это беременная еврейка, ответили мне.

А как-то вспомнил я и рассказал про замечательное

объявление в большом магазине: "У нас вы найдёте всё, что вам необходимо - от крючка до верёвки". И пошли записки с виденными Где-то объявлениями, бережно теперь храню их.

Где-то в мужском туалете: "Граждане, не бросайте окурки в унитаз! Они мокнут, разбухают и потом плохо раскуриваются".

Тоже на стене в мужском туалете, а по настроению - экзистенциальная проза: "Ничего хорошего из меня не вышло".

В маленьком российском городке - в вестибюле дома для приезжих: "Товарищи постояльцы, не бросайте гандоны за окно - гуси едят и давятся!"

Словно желая повысить уровень моей осведомлённости, мне шлют порой бесценные по информации записки. Так я узнал от одного художника, что цензура в Советском Союзе обращала внимание вовсе не только на текст, но были и препоны изобразительные. Оказывается, снежинки можно было рисовать с пятью, семью и даже восемью лучами, категорически недопустимы были - только шестиконечные. Ещё мне как-то сообщили с гордостью, что только по-русски можно составить совершенно связное предложение из подряд пяти глаголов неопределённого времени (из инфинитивов, то есть, говоря по-заграничному):

"Пора собраться встать пойти купить выпить". И на душе у меня сильно потеплело от разделённой мною гордости за родной мне язык.

Отдельный вид записок - это в связи с тем, что в конце второго отделения давно уже читаю я стихи о старости и возрастных недугах, с нею связанных. Всё началось с того, что как-то я, уже на все вопросы ответив, читал эту подборку, когда вдруг мне кинули опоздавшую записку. Поднял я её, уже не собираясь отвечать, там оказались дивные стихи:

О, Гарик, я в своих объятьях
тебя истёрла бы в муку,
как жаль - публично ты признался,
что у тебя уже ку-ку.

На эту тему постепенно накопилось множество записок ("Вы говорите, что у Вас ку-ку, чтоб не было ажиотажа?"), а в одной была проявлена трогательная женская заботливость:

"Игорь Миронович, сочувствую Вам, но умоляю - не пейте виагру: стихи Ваши потеряют шарм печали, а Вы - слушателей!"

Женщины жалеют и утешают меня даже в стихах:

Хоть Вы читаете подчас,

что Ваш любовный пыл угас,
но в это трудно нам поверить,
так сексуален Ваш анфас.

Благодаря такому письменному общению, узнал я как-то (и со мной - весь зал в тот вечер), что в Москве у Павелецкого вокзала есть гранитная мастерская, где на образцах надгробных плит - повсюду фотография приёмщицы заказов. Что в Москве же (улицу не помню) в витрине забегаловки какой-то висит большое красочное уведомление: "Вовремя съеденный бутерброд улучшит ваше настроение на 72 процента". Тут я вспомнил одну собственную находку в городе Ницце в каком-то маленьком баре висела эта небольшая картинка. Был изображён довольно шишкинский пейзаж: текла река, к ней прямо на берег выходила негустая роща, к зрителю спиной, оборотясь лицом к реке, стоял солдат и писал в эту реку, струйка нам была видна. А там, где плыли облака, было написано разборчиво и крупно: "Никогда не пей воду!"

Благодаря запискам, я оказываюсь порой в атмосфере, донельзя знакомой мне по духу и по жизни. Так в одной семье сильно болела девяностолетняя бабушка, и её пожилая дочь, подойдя к её постели, сказала однажды:

- Мама, сейчас не время болеть, советская власть кончилась! Старушка лучезарно улыбнулась и умерла с тем же выражением счастья на лице.

А в другой семье из школы возвратилась восьмилетняя внучка и, явно желая обрадовать родителей, сказала:

- Папа и мама! Нам сегодня в школе разрешили не любить дедушку Ленина!

А вот чисто шекспировская по накалу трагедийности история.

Девушку-еврейку полюбил уже не молодой мужчина-русский.

Она ему сказала, что выйдет замуж только за еврея, и он, палимый страстью, пошёл и сделал обрезание. Но она осталась непреклонна. Он тогда ушёл из института, где преподавал, стал слесарем, довольно быстро спился и в беседах пьяных часто говорил: "Я за вас, жидов, кровь свою без жалости пролил!" Записки мне кидают на сцену, я в антракте собираю их и тут же отвечаю. А в одном московском клубе ко мне подошла в антракте очень молодая красотка, сунула клочок бумаги мне в ладонь и со стеснением шепнула, чтобы вслух я не читал её послание. Приключение! Любовное приключение! - с восторгом думал старикашка, унося записку за кулисы. Там же я её немедля развернул:

"Игорь Миронович, а правда ли, что чувство юмора является у человека от комплекса неполноценности?"

Правда, в тот же вечер был утешен я запиской с явно детским почерком:

"Дядя Игорь всё что вы читаете, вы неужели написали сами?"

Как-то вернувшись из Москвы, я на приездной пьянке похвалился полученной в Театре Эстрады любовной запиской (а такие изредка бывают). Неизвестная девица мне писала, что если я со сцены громко скажу "да!", то будет вот что: "Я тогда после концерта подойду к вам в своём бордовом платье, увезу вас к себе, и мы вкусим блаженство вместе".

- Ты сказал? - восхитились приятели.

- Да нет, конечно, - честно ответил я.

- А она, может быть, всё-таки подошла? - понадеялись стареющие мужики.

И тут моя жена безжалостно сказала:

- Конечно же, она подошла, просто он дальтоник.

Записки доверительные - песня особая, не всё тут оглашению подлежит, хотя вопросы сплошь и рядом - типовые. Но бывают и весьма неординарные:

"Уважаемый господин Губерман! У меня молодая тёща. Тёща непрочь, и я непрочь. Как это с точки зрения иудаизма? Или воздержаться? "

А одна записка была длинная и трогательная донельзя. Молодая женщина писала, что она весьма мне благодарна: я на книжке год назад написал ей "На счастье!" - и буквально через две минуты подошедший молодой человек попросил у неё дать телефон. С тех пор они уже целый год вместе, он свозил её в заграничную турпоездку и купил зимние туфли. "Но жениться он, мерзавец, не хочет. Может быть, в этот раз Вы мне напишете на книжке что-нибудь такое, чтоб женился?!"

Нет, такую надпись я пока что не придумал. А ведь правда - хорошо бы?

Совсем недавно подошёл ко мне (в Хайфе, кажется) немолодой мужчина очень интеллигентного вида и чуть застенчиво сказал, что он только полгода, как приехал сюда к нам из Питера, и что сочинил он некий новый глагол, уже посланный мне в записке. Удивительно симпатичный вопрос он мне задал, слегка помявшись: есть ли у меня, где ночевать? Я еду в Иерусалим, домой, ответил я недоумённо. А, тогда всё в порядке, сказал он, а то я знаю, в Питере случалось часто: хлопают заезжему артисту, цветы подносят, а потом вдруг выясняется, что и ночевать ему негде, да и голоден уже, как собака. Так что если что - пожалуйста. Я растроганно поблагодарил его, такая

заботливость встретилась мне впервые, и подумал мельком, как обидно будет, если сочинил он что-нибудь пустое. Но глагол в записке оказался отменным и лестным донельзя:

Всё, что нажил в стране моей,
она решила прикарманить,
а я решил остаток дней
в Израиле прогуберманить.

Порой мне щедро присылают услышанные в фойе суждения, и попадаются весьма небанальные. Так некий молодой мужчина в ответ на хорошие обо мне слова его спутницы задумчиво сказал:

- Не знаю, не знаю... Так издеваться над своими - это по крайней мере нескромно.

Но пора мне закруглять эту главу о счастье, собранном за прошедшие годы в толстой папке. Я категорически запретил себе приводить записки хвалебные и благословляющие, ибо с детства был воспитан мамой и газетой "Пионерская правда" в духе неумолимого соблюдения скромности. Но как-то я набрёл на удивительную, по-иезуитски точно рассчитанную мысль - она изящна и проста: скромность, конечно, украшает мужчину, сказано в ней, но настоящий мужчина может обойтись без украшений. Поэтому в конце я всё же приведу записки, составляющие предмет моей гордости.

"Благодарю Вас, у меня ощущение, словно я выкупался в чём-то хорошем".

"Игорь, почему же Вы не предупредили, что будет так смешно? Я бы взяла запасные трусики".

"Когда мне хочется умереть, я читаю Ваши стихи и снова остаюсь жить. Спасибо Вам. К сожалению, не еврейка".

А последняя записка - в стихах. Она из Питера. Я, прочитав её, позорно прослезился от довольно редкого для меня ощущения, что живу не напрасно.

Вы - друг насквозь прорёванных ночей,
какое счастье - вслух произнести:
я привожу к Вам юных дочерей,
ещё надеясь внуков привести.
И в зале, переполненном опять,
какое счастье полукровке-маме
в глазах детей еврейство увидать,
не топтанное злыми сапогами.

Высокое искусство мемуара

Когда меня порою спрашивают, как продвигаются мои воспоминания, я честно отвечаю, что всё время сомневаюсь, так ли и о том ли я пишу, поскольку нет единого рецепта, как писать наверняка, чтоб это было интересно и трогательно. Говоря так, я кокетничаю и понтуюсь. Потому что с неких пор я твёрдо знаю, как и что следует вспоминать, вороша былое и тревожа прошлое. Давным-давно (уж лет пятнадцать минуло) попалась мне книжка мемуаров - образец высокий и безусловный. Автора я называть не буду (ведь, наверно, дети с внуками остались), только рядом с ним барон Мюнхгаузен - действительно самый правдивый человек на свете. Имя автора Арнольд, и вспомненное им я не могу не изложить, хотя язык мой слаб, и восхищение от доблестей Арнольда сковывает мне гортань. Но всё-таки решусь, поскольку книга эта канула бесследно в Лету, а являла - подлинный шедевр воспоминательного жанра.

Об отце своём пишет Арнольд восторженно, но смутно: принимал участие в революции, сидел почему-то как "злостный сионист" (книга написана в Израиле, отсюда, очевидно, и формулировка обвинения), после работал в издательстве, читал лекции в университете - ни в одной из мемуарных книг я имени отца не обнаружил. Что довольно странно, ибо у Арнольда я прочёл, что, например, Владимир Маяковский, из Парижа возвратясь, в тот же день явился в их семью с отчётом о поездке и впечатлениях. Когда же Маяковский застрелился, и его сжигали в крематории, то семилетнему Арнольду стало страшно, поэтому всё время мальчика держал на руках ближайший друг семьи Борис Пастернак. А после кремации он к ним поехал на обед, поскольку ближе никого у него не было. В том же тридцатом отца Арнольда посадили, вследствие чего в их дом потоком потекли с сочувствием и помощью ближайшие друзья - я перечислю только нескольких из них (в кавычках - цитаты из Арнольда). Заходил Исаак Эммануилович Бабель. "Помню, как он рассказывал про жулика Беню Крика", Корней Иванович Чуковский к ним "изредка наведывался из Ленинграда в Москву". Теперь цитата длинная: "Особым праздником для всех нас были наезды Анны Андреевны Ахматовой. Она приезжала без предупреждения, прямо с вокзала являлась к нам с авоськами, корзинками, саквояжем, в недрах которых были вкуснейшие "ахматовские" пирожки, печенья собственного изготовления, орешки..."

А летом тридцать первого Арнольдику исполнилось восемь лет. К нему пришли его поздравить:

"Б. Пастернак, И. Бабель, О. Мандельштам с какой-то дамой, М. Зощенко, А. Ахматова, С. Михоэлс, В. Мейерхольд, И. Москвин, В. Качалов, А. Коонен, А. Таиров... После чая меня попросили что-нибудь продекламировать. Я прочитал стихотворения Бялика "У порога" и "Вечер". Всеволод Эмильевич Мейерхольд поцеловал меня. Потом он подошёл к заплаканной маме и тихо сказал ей: "После окончания школы ваш сын должен поступить в театральную студию".

Чтоб не забыть: года три спустя Максим Горький успеет поплакать, слушая, как исполняет мальчик отрывки из его книги "Мои университеты", и пришлёт ему свои книги с лестными надписями. Все письменные свидетельства впоследствии, естественно, заберут при обыске. Тут по дороге ещё встретится Луначарский, интимно сообщивший десятилетнему мальчику, что Емельян Ярославский (тот, который Губельман) - человек пакостный и ненадёжный, поскольку - "антисемит и злобный юдофоб".

Вот тут и начинается судьба! Отец его сидит на Соловках. И группа мальчиков (старшему - двенадцать) решили туда съездить повидать своих отцов. Для этого они пошли к Калинину. "Покой его охраняли сотрудники карательных органов и солдаты специального военного подразделения". И что с того? "Случайно в приёмную зашёл сутулый старик с пепельно-седоватой бородкой клинышком, в пенсне". Калинин без промедления сообщил детям врагов народа, что пропуск можно легко получить в Питере. До Питера, узнав, в чём дело, их бесплатно довезли проводники. До Смольного они дошли пешком. Их не хотела пропускать огромная и страшная охрана, но тут, естественно, на улицу случайно вышел Киров. Ничуть не удивившись, он повел их в свой кабинет и заказал секретарше чай на всю компанию. А к чаю были бутерброды с "маслом, икрой паюсной и зернистой, колбасой копчёной и варёной, сыром, ветчиной..." и пирожные всевозможных видов плюс халва и шоколадные конфеты. Выяснив, что эти дети врагов народа хотят съездить в лагерь (эка невидаль для тех гуманных лет), Киров ничуть не удивился, а тут же попросил свою секретаршу "срочно подготовить десять индивидуальных пайков на 15 суток за счёт обкома партии". Кроме того, на вещевом складе им выдали десять комплектов тёплых варежек, шерстяные носки и валенки. Затем вручили бесплатные билеты в оба конца, а до поезда ещё и повозили по Ленинграду. Так Арнольд легко и просто навестил отца в лагере. Там оказалось, совершенно естественно, что в тот самый день приехали все начальники советского Гулага и, конечно, прямиком зашли в барак отца. Они произносили нечто грозное, но

маленький Арнольд ответил им находчиво и укоризненно, они ушли пристыженные.

В январе 35 года Арнольда почему-то забирают в психиатрическую больницу имени Кащенко. Наконец-то, подумал я с облегчением. Но недооценил мемуариста. С тринадцатилетним Арнольдом сидели, оказывается, в этом отделении дети всей верхушки советского правительства (в том числе по недосмотру автора - и дети тех, кто ещё не был арестован). Это надо было не только ради называния звучных имён, попавшихся на жизненном пути - автор смотрел гораздо дальше недогадливого читателя. Дело в том, что спустя два года в Россию приехал Лион Фейхтвангер - и, конечно же, немедленно попёрся в это отделение. Его сопровождали Алексей Толстой, Ольга Форш и почему-то Лев Кассиль (поскольку, очевидно, отделение детское). Приготовленное гостю угощение описано со вкусом: "Наши глаза заблестели при виде зернистой икры, ветчины, копчёной рыбы, осетрины, сёмги, балыка, холодного мяса, голландского сыра, жареных кур. Общий восторг вызвали бутылки с лимонадом, шампанским, портвейном, кагором". Несмотря на предварительный строжайший запрет, дети набросились на угощение, и Лион Фейхтвангер сразу понял, как его обманывают. По дошедшим до меня сведениям, глухо сообщает автор мемуаров, писатель написал полную правду обо всём в какой-то неназванной американской газете.

Тут Арнольда выпускают, он - как будто не было пропущенных двух лет заканчивает со сверстниками школу и уходит на войну корреспондентом. Параллельно он оказывается в Алма-Ате, где помогает Эйзенштейну снимать фильм об Иване Грозном и тесно дружит с Зощенко: "Михаил Михайлович пригласил Эйзенштейна, Виктора Шкловского, Елену Булгакову и меня послушать только что законченную повесть". С киностудией "Мосфильм" он связан неотрывно с неких пор: к самому Молотову вскоре он проникнет только для того, чтоб подписать бумагу на получение трёх тонн бензина для снятия какого-то мелкого фильма.

Пятьдесят второй год застаёт Арнольда в Ужгороде - он администратор Закарпатского украинского хора. Это вот похоже на правду, подумал я, куда ж он гнёт? А вот куда! Этот занюханный (казалось бы) хор приезжает на гастроли в Москву, и лично Берия зовёт весь хор в свой особняк, чтобы послушать песни о Сталине в домашней обстановке. Далее - гастроли в Ленинграде, и тут Арнольда арестовывают прямо в гостинице, везут в подвалы и предлагают подписать бумагу, что им завербованы в сионисты все его друзья: Аркадий Райкин, Анна

Ахматова, Михаил Зощенко, актёр Черкасов и режиссёр Акимов. Всего 60 фамилий. Арнольд успел жарко воскликнуть: "Я не стану причиной их гибели!", и тут его избили, вкололи нечто неизвестное и выбросили на улицу, чтоб он там умер. Чуть позже выяснилось, что ему прямо в кровь влили глицерин с керосином. Но тут его случайно нашли хорошие люди, отвезли в клинику знаменитого (давно знакомого, естественно) врача, срочно привезли "запечатанные ампулы с кровью", и одиннадцать дней боролись за его жизнь. Кожа у него стала покрываться пятнами, и "консервированной кожи" не хватило, в связи с чем множество молодых добровольцев из университета с радостью отдали ему свою кожу, и больному его кожу заменили.

На вокзал Анна Ахматова принесла ему отварную курицу, а Михаил Зощенко - конфеты, торт и цветы.

Стремительно от покушения оправившись, Арнольд помог Вертинскому написать книгу воспоминаний.

Не надо на меня серчать, читатель, что втянул тебя я в этот бред, пройди со мной ещё немного, и ты тоже научишься писать правдивые мемуары вдруг пригодится?

В Москву попав, Арнольд служил (опять крупица достоверности) администратором в каком-то кинотеатре. Тут он написал письмо Хрущёву, требуя реабилитации отца, и Хрущёв его не только сразу принял, но повёл сейчас же в свою комнату отдыха, где был уже накрыт роскошный стол, и два часа они беседовали о судьбах страны. Чуть раньше его принял Суслов, ибо Арнольд его смертельно испугал угрозой напечатать на Западе свои дневники, которые он вел с девяти лет; со страху Суслов даже вызвал в кабинет Шелепина и Семичастного, но чем дело закончилось - неясно.

А Хрущев собрал тайное заседание Верховного Суда, на котором лично присутствовал, но результат заседания Арнольд обещал Хрущёву сохранить в тайне и сдержал своё слово. Несмотря даже на то, что в этот день все улицы и переезды, прилегающие к его дому, были забиты автомобилями с дипломатическими номерами - это съехались знакомые корреспонденты Арнольда из крупнейших мировых газет. Держа слово, Арнольд ничего не сказал им, но они все вытащили свои западные виски, шампанское, водку и коньяк, поставили все это на капоты своих машин и принялись пить в честь Арнольда. Выпито было столько, что соседка Нюра на следующий день сдала три корзины бутылок. Очевидно, в их приёмном пункте стеклотары, завистливо подумал я, принимали иностранные бутылки.

Апофеоз, естественно, настал, когда Арнольд подал

заявление о выезде в Израиль. Всем уже ясно, что такого человека выпускать было нельзя (я упустил ещё такие мелочи, как многолетние интимные разговоры с Паустовским, домашние полемики с Эренбургом, гостевания на даче у Чуковского). Сперва его забрали в ту же самую больницу Кащенко. Насильно сделали 18 уколов и отправили в изолятор возле котельной. Там его ремнями пристегнули к койке и три недели не пускали в туалет. "Кормили через зонд, пища была сильно пересолена". Круглые сутки "горел яркий неоновый свет, гремела какофоническая музыка". Всё это без подушек, простыней и одеяла. После вырвали несколько здоровых зубов. Потом - 12 уколов инсулина. Всё, что он говорил в бреду, писалось на магнитофонную плёнку. Он про себя читал стихи Цветаевой и Гумилёва, это придавало ему силы.

Если стынет в жилах твоя кровь, читатель, приготовься к худшему, ибо никак нельзя было такого человека выпустить в Израиль на жительство.

После больницы Кащенко сочли необходимым повезти его на экспертизу в институт имени Сербского. Там за столом сидели рядом все известные светила в этой области: Снежневский, Морозов, Банщиков и Лунц. От вашего ответа зависит ваша жизнь, зловеще сказали они ему. На что Арнольд ответил им достойно и пламенно: "У меня есть только одна родина - обетованная страна моих предков!"

В эту жуткую компанию откуда-то затесался главный редактор журнала "Советиш Геймланд" поэт Арон Вергелис. Он сюда пришёл только затем, чтобы задать лично Арнольду поразительной глубины вопрос: "Кто отравил вашу душу тлетворным ядом?"

И прямиком доставили оттуда несгибаемого Арнольда в Лефортовскую тюрьму. В камеру, где можно было только стоять. А в стену - густо всюду всажены острые железные колья. Крепись, читатель! Ибо надзиратель вышел, и немедленно пустили в камеру холодную воду. Она дошла до шеи узника. И ночь он простоял в воде. А сверху лился яркий свет. "В семь утра принесли завтрак". Потом ему ломали пальцы рук и рвали волосы. И снова засадили в ту же камеру, где он простоял сто шестьдесят восемь часов (это в книге написано заглавными буквами).

Но так как его воля не была сломлена, то его просто выпустили в Израиль. Накануне убытия он ещё получил по тайной почте записки от Бен-Гуриона и Голды Меир. Оба очень ждали его. "Мы вас примем и согреем теплотой наших сердец", - писали они. Правда, незадолго до этого Бен-Гурион немножко умер, но это вряд ли важно.

С отъездом тоже были трудности: в кассе не было билетов на намеченный Арнольдом день. И тогда он позвонил старому своему другу Константину Симонову. - Приезжай, - коротко бросил Симонов. И вышел ему навстречу с неизменной трубкой. Что будем пить? - спросил хозяин после объятия. Узнал, в чём дело, позвонил начальнику смены, тут же появились билеты, потому что Симонов обещал прислать в подарок свою книгу. И таможня хотела затянуть проверку багажа, но Симбнов позвонил и туда.

А на аэродром приехал Павел Антокольский.

В Израиле вслед за машиной, увозившей Арнольда, тянулся длинный хвост автомобилей с журналистами и местными писателями.

Всё. Теперь, читатель, и тебе известно, как надо писать настоящие воспоминания. А я опять вернусь к своей серой и немудрящей жизни.

Часть II. ДОРОГА В РАЙ

Краткое уведомление о шести последующих главах

С душой стеснённой и трепещущей приступаю я к теме, о которую веками истачивали перья самые разнообразные умы -от отцов церкви (и не одной) до святых отшельников, об этом размышлявших в часы отдыха от ловли акрид, которыми они питались. Все их рассуждения, правда, столь же для нас проблематичны, как само питание акридами. Это ведь очень мелкие и юркие кузнечики, некий дотошный энтомолог посчитал, что для их ловли в количестве, достаточном для пропитания, отшельник должен был потратить двадцать четыре часа в сутки - делается непонятным, откуда брал он время для молитв и размышлений. Тем не менее, все эти люди очень много (и веками) думали о наших грешных душах, а точнее - о грехах, сопутствующих нашему земному прозябанию. Сегодня очень интересно поговорить о том, что же именно мы нарушаем, начиная с тех заповедей, что даны были еврейскому народу на горе Синай.

Самую первую - о признании лишь единого Бога и о поклонении исключительно Ему - я обсуждать не буду. И не только потому, что это мне не по уму и не по чину, но ещё и потому, что веру почитаю делом чисто личным и интимным. Из того, что вижу я вокруг, лишь наши ортодоксы настолько изобильно -всей своей одеждой выставляют для всеобщего обозрения свои религиозные предпочтения. Не мне их обсуждать, хотя их очень жаль в жару. А ещё кто-то замечательно заметил, что такой заядлый вид наших ортодоксов это очень веский аргумент в пользу существования Бога, ибо ни эволюция, ни естественный отбор такого сочинить не в силах. Словом, это мы пропустим, разве что почтительно заметив удивительную штуку: чем величественней достижения науки, тем более куце и неприкаянно выглядит крикливый атеизм.

Не произносить имя Господа всуе, то есть попусту, напрасно и походя завет забавный именно ввиду его напрасности: мы то и дело поминаем имя Бога безо всякой к этому необходимости и даже более того - не замечая, насколько машинально мы это делаем. В русском языке это отчасти произошло с весёлым именем Пушкина ("А кто платить будет? Пушкин?").

Соблюдение субботы, предназначенной исключительно для отдыха, - завет замечательный, и лично я в субботу ничего не делаю с тем большим удовольствием, что в этот день не чувствую

вины за своё стабильное безделье, растянувшееся и на все другие дни недели. Тут как раз беда у людей истово верующих, ибо еврею невыносимо трудно целый день прожить в предписанном кругу субботних разрешений и запретов, в силу чего именно религиозные евреи в этот день обманывают Бога ещё напористей и хитроумней, чем в другие дни. Так нельзя, например, ехать в этот день. А если дела сложились так, что ты в субботу ещё едешь в поезде? Прикажете выходить? Конечно, нет. Но жена приносит тазик с водой, вы опускаете в этот тазик ноги в ботинках, и всё в порядке, потому что плыть - можно. Нельзя ничего переносить из дома в дом. А как же жить? И несколько домов окутывают ниткой - теперь это одно помещение, и дела не будут прерываться. Ухищрениям такого рода - нет числа, они описаны множеством свидетелей, участников и наблюдателей. Ибо чем выше, глуше и прочней стена любого запрета, тем изящнее и многочисленней просверленные в ней дыры и лазейки.

Почитание отца и матери - нужнейшее для человечества предписание, и, чтобы ничего не сказать лишнего, я предлагаю просто вспомнить каждому (и не расстраиваться, вспомнив), как в молодости относились к этому завету. О чём впоследстствии, добавим к нашей чести, горько сожалели. Следующим произнесено невыполнимое: не убий. А как же вся история человечества? И даже те из нас, кто этого не делал .лично, столько соучаствовал (а уголовный кодекс соучастие трактует как участие) во всём, что совершало его время - уж лучше это упустить из обсуждения.

На горе Синай нам было сказано довольно кратко: не прелюбодействуй. О том, как это огорчило именно евреев, существует множество анекдотов. Но спустя столетия Сын Божий на горе Фавор полнее растолковал это печальное запретное предписание. Сказавши так: "Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём". И мышеловка захлопнулась. Ибо представить себе мужчину, не смотревшего на женщин с вожделением, означает представить себе не мужчину, а женщину - да и те, бывает, смотрят на других феминок с вожделением.

Но вообще Нагорную проповедь я буду обсуждать мало, ибо призыв возлюбить ближнего своего исполнить я не мог настолько, что испытывал порою прямо противоположное чувство. Меня очень успокоил один мудрый мой приятель, вот какую мысль изрекший: "Возлюби ближнего своего, как он тебя и вы квиты".

"Не кради" - весьма полезное (и столь же напрасное) для человечества наставление. Ибо не сказано, что именно нельзя (ибо греховно) красть. И даже воры профессиональные - уж

крайний случай! - для себя придумали отменную отмазку: мы попросту находим то, что человек ещё не потерял. А для житейских всяких краж мы с лёгкостью отыскиваем оправдание, что мы берём принадлежащее нам по праву, ибо оно было неправедно отобрано у нас. Или недодано. В советской нашей жизни это было очень даже справедливо. Кто-то из мыслителей той замечательно высоконравственной эпохи даже заметил крайне точно: "Сколько у государства ни воруй, всё равно своё не вернёшь". Я убеждён, что самый честный в мире человек, если расслабится и память оживит, наверняка припомнит нечто, что слегка пригасит в нём праведное осуждение крадущих. Я же лично - даже и не стану напрягаться - грешен и весьма. Более того: пожизненные сожаления о несовершённых поступках - даже они у меня связаны с воровством. Я как-то мог украсть, будучи у приятеля в больнице, гениальной красоты плакат. На нём была крупно нарисована прикушенная папироса со следами губной помады, а чуть ниже - упреждение в стихах:

В свой рот не бери ты то,
что брали другие рты!

И я до сих пор жалею о своей случайной щепетильности. А кто заявит вслух, что он по части присвоения чужого совершенно чист - в него пускай и кинут камень, чтобы лучше вспоминал.

"Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего". О чём это? О клевете? О злоязычии? Об осуждении -почти всегда облыжном, ибо мы не знаем всех мотивов и деталей? Я - сторонник этого запрета. Я бы добавил только: и на дальнего своего не произноси. Завет "не судите" очень близок моему сердцу даже без последующего обещания - "да не судимы будете". Что вовсе и совсем не означает, что я в силах хоть на капельку и шаг последовать категорическому наставлению Иисуса Христа: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас". Не дождутся эти суки моего душевного затмения. Но многолетняя жизнь в неволе подарила мне и моим сверстникам одно великолепное чувство, о котором некогда писал ещё Сенека, - презрение. А если к этому ещё прибавить жалость, то получится в итоге весь набор, который мне сполна любое заменяет осудительство, мне чуждое по химии душевной.

А сказанное далее (последнее) - практически бессмысленно, поскольку не по силам человеку это вожделение в себе преодолеть и выжечь: "Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его,

ни осла его, ничего, что у ближнего твоего". Только это мы обсудим чуть попозже.

И, как бы понимая, что греховные запреты надо как-то видоизменять и делать их конкретно ощутимыми, недремлющая человеческая мысль выработала уже в двенадцатом веке - список из семи смертных грехов. Они такие: алчность, гнев, любострастие, чревоугодие, зависть, лень, гордыня. Ещё время от времени вползал сюда и грех уныния - за ним маячило неверие во всемогущество и милосердие Творца. А главные - те семь. Их назначение хоть как-то обуздать все проявления нашей буйственной и чувственной натуры, обозначить ей границы и ввести нашу природу в берега. Я в нескольких последующих главах собираюсь обсудить хотя бы часть этих грехов, поскольку сильно в них повинен и причастен. Мы недавно с Сашей Окунем о каждом из семи грехов сделали передачи на радио, и .мысли тех, кто с нами это обсуждал, бесцеремонно позаимствую для книги.

Забавно, что ни один из этих грехов нам никак не удалось осудить категорически и безоговорочно. А в защиту греха чревоугодия Саша вообще написал панегирик из пяти или шести часовых передач. И вместо бичевания порока вышел замечательный венок советов, как именно, когда и чем разумнее и ощутимей следует нам ублажать нашу плоть едой и напитками. Я вполне его понимаю: если грех чревоугодия имеет в виду простое обжорство, то запрет его - не более чем гигиенический совет. А если, в самом деле, осуждается наслаждение едой, то это полная бессмыслица сегодня: человечество так далеко ушло по пути изысканного чревоугодия, что бесполезно и не стоит его оттуда возвращать.

Поэтому последующие шесть глав будут аккуратно и по очереди посвящены шести нашим оставшимся порокам.

Хвала неоспоримому греху

Издавна и всюду люди осуждают гордыню. В пословицах и поговорках всех народов ей воздается дружная хула. И не случайно у гордыни в нашем словаре такое множество синонимов: спесь, кичливость, чванство, амбиция, важность, барство, заносчивость, зазнайство, гонор, фанаберия, форс, напыщенность, вздутость, и наверняка еще найдутся разные малосимпатичные определения этого непростого слова. Короче, мы гордыню в проявлениях ее любых привычно и согласно осуждаем. Очень зря. Мне кажется, что это осуждение - один из многих предрассудков, нас обволокнувших и пропитавших до того, что мы над этим просто не задумались ни разу. А пора бы. Что касается различных очень явных и заметных гордецов, спесивцев и чванливцев, то о них не стоит говорить - чаще всего их просто жалко: прячется всегда за этим буйным гонором какая-нибудь и тайная душевная неполноценность. Поговорим лучше о гордости обычной - будничной и повседневной, бытовой и всем присущей. Ибо она - нужна душе, как воздух, а скорей - как витамины су-ществования. Она спасительно целебна человеку, ибо уязвим любой из нас, а если присмотреться зорче и внимательней, то каждого из нас безумно делается жалко.

Ибо человек, венец творения и царь природы - очень тяжкую, почти невыносимую порой - проживает жизнь, ему отпущенную. Эта жизнь полным-полна ушибов и обид, тревог и страхов, досад и горечи, уколов самолюбия и ударов судьбы, душевной и сердечной боли, угрызений, ущемлений, оскорблений и унижений, щелчков по носу и невидимых пощёчин, а на ранимые и чуткие душевные мозоли наступают нам почти что ежедневно. Ожидая слабины или лазейки, вьются около и прячутся внутри микробы и бактерии. Человека едят домашние и Дикие насекомые, не говоря уже об унизительном бессилии перед болезнями, стихиями и идиотами при власти. А скука? А тоска? А вечная сосущая печаль о том, что все могло быть иначе и прекрасно? Если близко присмотреться к любому человеку на любом уровне удачи и успеха присмотреться и прислушаться настолько, чтобы уловить - понять его ежедневные переживания, то всех без исключения (увы, включая даже негодяев) становится ужасно жалко. И меня всю жизнь не оставляет это нелепое чувство сострадания - поэтому я и задумался о пользе гордости. Она спасает нас, ложась, как пластырь, на мельчайшие и покрупней душевные раны. Она помогает нам сохранять самоуважение, а верно было спрошено когда-то: если собака себе

хвост не поднимет, то кто ей поднимет? При любых поражениях или обидах к нам приходит благодетельное утешение - откуда же оно? От тихого, про себя хвастовства, от горделивого соображения, что ты морально прав или не прав, зато в чем-то другом недавно выиграл, а то и победил. Гордыня такого рода утешительная лесть самому себе, а собственная лесть нам - как вода и воздух. И невообразимы психологические источники этого целительного бальзама горделивости собой, а потому - душевного покоя. Всю жизнь человек, в сущности, занят посильным облегчением своей участи, и гордыня в этом непростом занятии - костыль и пружина.

Много лет назад мы оказались волей случая с приятелем в маленьком русском городе Коврове.Что-то надо было нам узнать, и нас направили к местному учителю начальной школы, показав издали его маленькую, запущенную донельзя избу. Точно такой же она оказалась и внутри. Тощий невысокий человек с изможденным сухим лицом был настолько приветлив, что мы вытащили из рюкзака бутылку.

- Спасибо, я не буду, - мягко отказался хозяин. Это было для нас так же удивительно, как если б он заговорил по-японски, и лица наши изумления не скрыли.

- Завязал я, - пояснил он, - мне судьба являлась лично. История оказалась небанальной. Многолетний алкоголик, он постепенно пропил все, что было в доме, уже ушла жена, уже должны были выгнать с работы, он сидел в сумерках и размышлял, где раздобыть хотя бы на стакан. В дверь постучали и вошел незнакомый человек городского вида.Извинился вежливо и столь же вежливо сказал, что помирает, так охота выпить.У меня ничего нет, сухо ответил хозяин, самой просьбе ничуть не удивившись. Это неправда, мягко ответил человек, у вас на книжной полке за томиком Майн Рида стоит четвертинка. Учитель кинулся к полке и обнаружил там бутылку. Тут же он на полке возле печки взял два стакана, а когда обернулся к столу, человека не было. И тогда учитель понял, что к нему являлась судьба, а то и сама смерть в обличий гостя мол, если хочешь, выпивай уже со мной. И бросил пить учитель с той же секунды, а бутылку ту загадочную отдал соседу за починку печи, потому что он уже и в холоде сидел. И все восстановилась в его жизни, вскоре возвратилась и жена.

Тут мы, естественно, оба посмотрели на очень немолодую женщину с лицом, настолько помятом жизнью, что как-то ясно становилось, что никак она не могла не вернуться доживать свои годы в привычном месте. Только внезапно она гордо выпрямила голову, помолодела до того, что стало очевидно - ей никак не

больше сорока, и выговорила с дивной величавостью:

- Мы, Косоедовы, - однолюбы!

Я хочу сказать, что гордыня - штука суетная и мельтешная, казалось бы, - сплошь и рядом очень трогательная в человеке черта. Это касается любого из нас. Ибо даже то прозвание, что дали мы себе некогда сами - хомо сапиенс, человек разумный -это такое, если вдуматься, преувеличение, что уже в нем полным-полно смешной и неоправданной гордыни А если присмотреться ближе к тому, что составляет предмет гордости (явной или скрываемой) у каждого из нас, то просто заливает душу волна нежности и сострадания к человечеству

У нас с Сашей Окунем есть один общий приятель - чрезвычайного таланта (и мировой, по счастью, известности) дирижер. Он как-то позвонил мне и сказал:

- Твой Саша Окунь - очень плохо воспитанный и темный человек.

- А что случилось? - огорчился я.

- Ты понимаешь, - объяснил мне дирижер, - я ему поставил диск со своим самым лучшим исполнением (тут некое произведение им было названо), мне тогда бурно выразили восхищение не только зрители, но даже оркестранты, и что ты думаешь? Саша твой поднялся в самом интересном месте и говорит, пора, поехали на радио, нас уже ждут.

- Это ужасно странно, - попытался я защитить друга, - Сашка невероятный меломан, и все твои работы знает и обожает, не серчай, это какая-то накладка, я ему позвоню

И позвонил

- Зачем ты так обидел дирижёра, почему ты так невежливо поднялся в самом интересном месте? - спросил я. - Ты же меломан и ценитель, что случилось?

- Старик, - ответил Саша изумлённо, - я с наслаждением дослушал диск до полного конца. Я встал на аплодисментах!

А начинает человек гордиться - с ранней младости. Ещё не слишком понимая, чем стоит гордиться в первую очередь, а чем - во вторую. Как-то наша внучка Гиля пришла с гуляния в приятном возбуждении (четыре годика ей было). Оказалось, что пока она играла на песке, мимо прошла её подружка с мамой. И подружка эта своей маме громко объяснила:

- Вон играет Гиля, у неё есть большая чёрная собака Шах.

И наша Гиля была очень польщена. А час спустя, рассказывая что-то бабушке, упомянула мимоходом, как о мелочи житейской, что у них в детском саду есть два мальчика, которые хотят скорее вырасти, чтобы на ней жениться.

Возможность выделиться, пофорсить, погарцевать в центре

внимания, покрасоваться - эти суетные проявления гордыни каждому знакомы (в мечтах и помыслах - особенно), и разве можно человека осуждать (а особливо - бедного и обделённого человека) за такое удовольствие и временное счастье бытия? За невинное блаженство хоть на краткое время прыгнуть выше головы своей и выше своего житейского потолка? Халиф на час - роль вожделенная для множества людей, и это ухищрение гордыни стоит лишь сочувственного понимания.

В начале тридцатых годов, когда слава Михаила Зощенко была в зените, он как-то приехал отдохнуть у моря. Он держался скромно и незаметно, был для соседей по пляжу просто неким питерским Михаилом Михайловичем и подружился, греясь рядышком под солнцем, с двумя юными девчушками из какого-то уральского городка. Он был им симпатичен, и однажды как-то они пригласили его вечером придти в гости. Будет Зощенко, сказали они ему. И он пошёл. Центром компании был разбитной молодой человек южного провинциального разлива, который сыпал цитатами из рассказов Зощенко, своего авторства ничуть не скрывал, звался, естественно, Мишей и вызывал у всех собравшихся девиц обморочное восхищение. Зощенко ничуть не возмутился, молча слушал и смеялся тоже, а спустя примерно час или поболее нашёл какой-то мелочный предлог и вышел с юным жуликом на кухню.

- Я к вам не имею никаких претензий, - ласково сказал Михаил Михайлович, - играйте на здоровье. Просто я Зощенко, и мне ужасно интересно, для чего вы представляетесь мной? Парень смутился на секунду, тут же оклемался и вполне разумно, с полной откровенностью объяснил, что сам он - парикмахер из маленького южного городка, весь год он вкалывает, и месяц отпуска - великое в его жизни время. Он выдаёт себя за знаменитого писателя, которого и вправду обожает, помня чуть не наизусть ("ну, вы же слышали") и пользуется вниманием и успехом у слабого и впечатлительного пола. Простите, мол, и попытайтесь меня понять.

И тут они заметили, что у двери в кухню стоит и обливается слезами одна из пригласивших Зощенко девчушек. Что с тобой, милая? - кинулся к ней Михаил Михайлович. И та ответила, рыдая:

- Значит, и Олеша не Олеша!

Но давайте вспомним о гордыне коллективной, ибо всякие народные, национальные зазнайство, спесь, кичливость или чванство - такие же целительные примочки на раны, наносимые историей. Тут легко мне возразить, что, например, общеизвестная английская спесь ("правь, Британия, морями") имеет под собой

некое историческое основание, и что такое же есть основание у многих стран и народов - я соглашусь с готовностью и, кстати, безо всякого осуждения этих стран и народов. Это ведь счастье, а не грех гордиться собственной страной. Особенно, если для этого есть почва. И достоверная притом, а не из мифов легенд. А так как почва эта исторически различна, то и разнятся так поэтому народные гордыни. И, если страна в настоящее время влачит существование убогое или зависимое, то тем более целительна душе её гордость прошлым. И для народа в целом, и для каждой личности в отдельности. А поскольку чудовищное количество отдельных личностей еврейской национальности живёт вне Израиля, то на гордыне соплеменников моих я остановлюсь отдельно и с сочувствием. Понятно как бы всем и каждому, что с веками выросла эта гор-дыня в качестве душевного лекарства от бесчисленных и постоянных унижений, поношений и ограничений. Но и в самое вегетарианское для евреев время, в самой терпимой и доброжелательной стране она по-прежнему целительна и благотворна для любого. Вот, к примеру, я - Зелик Срулевич Гольц, серенький и малоодарённый человек. Я мелкий страховой агент, с трудом свожу концы с концами, жизнь моя пресна и беспросветна. Да, но я зато принадлежу к тому народу, который дал миру Библию, а кстати, Чарли Чаплин и Альберт Эйнштейн - тоже евреи. Даже Карл Маркс был еврей, но этим сейчас вряд ли стоит гордиться. А сколько среди нас Нобелевских лауреатов! Кстати, сам Нобель - не еврей? Поскольку очень вероятно, очень уж был умный человек.

Такого рода мысли - ощущения доступны каждому, как витамины в маленькой аптеке за углом, и грех ими не пользоваться, если они полезны для здоровья. И доступны они людям всех национальностей, я просто воспользовался легчайшим случаем.

В Сибири как-то замечательно сказал мне хмельной собеседник: "Вот я сижу, я пьяный-сраный, а зато святынь у меня три: родина, мать, Новиков. Новиков - это я".

И я с ним полностью согласен. Почему же надо отнимать у человека утешительную радость? Ведь помимо того, что на оскорбительно тяжкую жизнь пожизненно обречён человек, он ещё сплошь и рядом уязвлён бывает мелочами, попросту смешными на сторонний взгляд - к примеру, непрестижным местом рождения. Конечно, этот ранящий факт можно избыть в душе одним лишь гонором и фанфаронством. Так в одном американском городке (зачуханной глуши с трёхмиллионным населением) я спросил, из каких, в основном, краёв советской империи приехали сюда мои завтрашние слушатели.

И грустный пожилой устроитель концерта мне задумчиво ответил:

- Знаете, у нас из разных мест. Но если человек одет весьма просто и приветлив, то скорее всего он - из Питера, а если человек одет роскошно и высокомерно-снисходителен, то вероятнее, что он - из Бобруйска.

Ещё хочу сказать я мельком, что людей, начисто обуздавших свою гордость, всяких униженных и оскорблённых, смердяковых всяких - потому и следует бояться, что человек своей смиренной приниженностью (то есть полным отсутствием греховной гордости) склонен пользоваться как отмычкой и разрешением на что угодно. Уж такая я тварь, сладострастно говорит себе человек, в котором чувство унижения - род свихнувшейся гордыни. Впрочем, это лучше прочитать у Достоевского.

И вот теперь только добрался я до главного. Я уверен, что хорошие поступки человека, сама нравственность его - от гордости, от самолюбия, от уважения к себе как личности. Как это я, такой-то и такой-то, соглашусь на эдакую низость? Да меня потом заест совесть, что я настолько опустился.

Ибо чувство собственного достоинства и личной чести - они ведь тоже уходят корнями в гордыню.

Неохота мне нырять за примерами в канувшую, как Атлантида, советскую империю, только там настойчиво и неслучайно отучали нас именно от чувства собственного достоинства и личной чести ("больше всех тебе надо, лучше всех ты что ли?"), заменяя это гордостью коллективной (держава, индустриализация, спутники, балет, поднятая целина и бесплатная медицина, которая того и стоила), а личности рекомендуя скромность и патриотизм. Гордыню коллективную с успехом тем же внедряли и в гитлеровской Германии, и до сих пор пытаются отмыться от неё немцы с чувством собственного личного достоинства. В котором и национальное играет не последнюю роль.

Чем вообще способен человек гордиться, перечислить невозможно, ибо даже редкие болезни составляют предмет кичливости страдающего от них индивида. А коллекции, которые порой на взгляд сторонний выеденного яйца не стоят, а хозяева лучатся, их показывая! Гордиться можно чем угодно - от славы предков до родинки в укромном месте. Ибо гордится человек - своей особостью, своей отдельностью среди себе подобных. У нас в лагере блатные требовали от раздатчика, чтоб он на кашу им плеснул ложку супа, зачерпнутую с верху. И не в капле жира заключалась суть такого странного желания - ни капли не было там жира даже сверху - а в подчёркнутости их отличия от нас,

таких же зэков, только мужиков на лагерном жаргоне, то есть сильно ниже их по рабской иерархии.

Когда особость эту можно купить, то человек (существо смешное, потому его и жалко) не медлит ни минуты. Как-то моей родственнице жаловалась по случаю одна учительница: она вышла замуж за шофёра и жила с ним счастливо, но в семейных неминуемых раздорах никогда не упускала случая напомнить, что она - интеллигентная элита, а он - обычный работяга. И вдруг ему однажды за вполне приемлемую сумму предложили купить княжеский титул со всеми необходимыми бумагами. Он приобрёл его немедленно, и с ним теперь никак не повздоришь - чуть что не так, он говорит жене: "Молчи, простолюдинка!" и ничего не хочет слушать.

В лагере столкнулся я с неким странным, очень редким, как мне кажется, видом гордыни. В больничке лагерной у нас был главврач - маленький и щуплый, совершенно спившийся мужичонка неопределённых средних лет. Он как-то мне сказал, густо дыхнув самогонным перегаром:

- Ты себе даже не представляешь, Губерман, какую я тебе могу устроить кошмарную жизнь, но я никогда этого не сделаю.

Чуть после я узнал, что он говорил это ещё нескольким зэкам - тем, кто ему явно был симпатичен. Тут гордость извращённая донельзя, только очень человеческая и понятная для такого заведения, как лагерь мира, социализма и труда.

Я в поисках народной мудрости полез было в составленный Далем сборник "Пословицы и поговорки русского народа". Осуждается там гордость, только вяло и неубедительно. Одно, правда, народное речение понравилось мне библейской прямотой: "Сатана гордился, с неба свалился; фараон гордился, в море утопился; а мы гордимся, в гавно садимся". А в других во многих удивила меня некая неоднозначность осуждения греха. Так, например, именно тут приведено предупреждение широко известное: "Тише едешь - дальше будешь". Как бы о пользе кротости и скромности оно глаголет - мол, они только ведут к успеху. Но ведь успех и есть та почва, на которой оправданно цветёт гордыня! Что-то неладно получается насчёт греха. Или вот ещё одно осуждение: "На грош амуниции, а на рубль амбиции". Выходит, если амуниции на рубль, то и амбиция простительна? Нет, не сбывается надежда почерпнуть моим решетом из пруда народной мудрости, придётся думать самому.

А упругая и азартная убеждённость в собственных силах (то есть гордыня в чистом виде) - разве не она двигает любым творческим замыслом? А неукротимое стремление к успеху? Ведь из него и выросла цивилизация, которой мы заслуженно

гордимся. Так не Творцом ли в нас заложена гордыня устремления вперёд? И почему-то Он же нас карает за неё - достаточно вспомнить Вавилонскую башню.

Легко мне возразить: ведь речь идёт о степени и мере нашей фанаберии и гонора. И непомерные амбиции - грех безусловный. Может быть. Но ведь именно они движут молодыми, например учёными, часто оправдываясь - и не только благодаря способностям (а человек и ощущает их в виде амбиций), но и в силу честолюбивого азартного напряга этих Богом данных сил.

А буйная хвастливость, фанфаронство, спесь - они ведь вызывают в окружающих лишь жалость и недоумение. Не говоря уже о том, насколько они смешны стороннему взгляду, как любое упоение собой. А барская высокомерная напыщенность и чванство в наше время - верный знак лакейского нутра; и на других сегодня смотрят свысока только мелкие люди. Но они ведь тоже более смешат, чем раздражают, а грех - дело серьёзное, смешное грешным быть не может.

Что-то, словом, непонятное выходит: нам с очевидностью гордыня мало симпатична, а никак не получается с её облыжным и тотальным осуждением. Грех этот пагубен, но животвори и целителен.

А какое дивное следствие гордыни - наша брезгливость к подонкам, разной гнуси и мерзоте в человеческом обличий! Тут ведь не чванство, не кичливость, не надменность - я говорю о благородной человеческой брезгливости к тем людям, которые стали человеками ещё не полностью. Увы, таких довольно много. Недавно познакомился я с очень симпатичным биологом, который по работе своей много общается с самыми разными людьми. И в разговоре он несколько раз употребил странное для моего уха выражение: "и тут приходит некий организм и заявляет...". Я удивился и его об этом выражении спросил. В ответ услышал я замечательное объяснение, прямо относящееся к теме нашего греха:

-Ты понимаешь, все так говорят у нас в институте. Согласись ведь что полным-полно людей, которые из обезьяны вышли, но человеками не стали. И поступают хуже, чем животные, потому что хомо сапиенсы, суки. Называть их, как они того заслуживают блядское высокомерие выходит, себе дороже. А организмы - в самый раз. Так оно у нас и повелось. Ты не согласен? О, как я был согласен! А сейчас, на эту тему выйдя - в особенности.Потому что те отличия человека, которые и делают его человеком, - чувство собственного достоинства, чувство чести и самоуважения - властно мешают ему быть организмом любых житейских обстоятельствах. К тому же столько лет вгоняли нас в состояние

организмов ("простой советский чело-век"), что я с невероятным уважением стал относиться ко многим проявлениям гордыни, в числе которых - безрассудные поступки сплошь и рядом. И никак, никак не миновать нам двух естественных детей гордыни - тщеславия и честолюбия. С ними расправляется наотмашь и словарь Даля:

"Тщеславный - кто жадно ищет славы мирской или суетной, стремится к почету, к похвалам, требует признания мнимых достоинств своих... Честолюбивый - человек, страстный к чинам, отличиям, ко славе, похвалам, и потому действующий не по нравственным убеждениям, а по сим видам".

То есть перечислены черты, достаточно низкие, чтоб убедиться в полной правоте нашей заведомой к честолюбивцам неприязни. А ещё тут же в памяти всплывают разные великие злодеи, полные тщеславия и честолюбия, во имя коих все свои деяния и совершали - грех гордыни явен и осудим.

Но не спеши, читатель, с мелкой горделивой радостью, что мнение твоё совпало со словарной мудростью народа. Ибо народ - великий и безжалостный Прокруст в отношении ко всем и каждому, кто выделяется из ряда вон, отсюда - и неправедная огульная хула двух этих жизненно необходимых человеку черт. Тщеславие и честолюбие - и крылья и бензин тех молодых людей, которые томимы Божьим даром. Ибо вложенные в них способности (любые) требуют и понукают, жаждут быть реализованными и воплощёнными, и честолюбие - та страсть, которая им помогает осуществиться. Если не я, то кто же? - это ли не чистый вид гордыни? Только творческой, а значит - Богоданной. Тут и словами как-то глупо растекаться, это ведь известно всем.

Однако есть тут и печальные, конечно, разновидности - когда тщеславие крупнее, чем талант. И тьма примеров этого несчастья - среди разных творческих людей. От яда и верёвки, от последнего отчаянья опять-таки спасает их гордыня: жалкие людишки, вы не поняли меня, не оценили, но придёт на смену вам другое поколение, и там я буду славен и велик. Забавную услугу в этом смысле оказала неудачникам и несчастливцам жизнь художника Ван-Гога, на нее всегда теперь можно сослаться, чтоб утешение и свежую в себе уверенность найти и ощутить.

Но не минуем и клиническую патологию разрыва между способностями и тщеславием - тем более, что психиатрами она давно уже и чётко обозначена. И на совсем живом примере это можно пояснить.

Я пишу это в январе две тысячи первого года. К израильским дорогам по ночам приходят снайперы, стреляя в проходящие

машины. Есть убитые, и раненых полно. Фанатики - убийцы неустанно пытаются пронести взрывчатку в людные места, чтобы погибло как можно больше людей, включая женщин, стариков, детей, и часто, слишком часто им это удаётся. Их науськивают на это в мечетях, им за это платят (или оставшейся семье) - смесь тёмной ненависти с бизнесом весьма результативна. В этой атмосфере мы живём, звоня всем близким при известии о новом взрыве в автобусе или на рынке, возмущаемся правительством, которое не позволяет солдатам стрелять, покуда нет явно смертельной опасности. И понимаем в то же время, что нельзя стрелять в детей, которых родители выводят на улицу - как раз потому, что знают - в них стрелять не будут. И бессилие такого рода портит жизнь не меньше, чем сама повсюдная опасность. В этой ситуации кромешной появляется в Москве статья в Коммунистической газете, писанная здешним журналистом Исраэлем Шамиром. Тут же появляется она, естественно, и в Интернете, и теперь это доступно миллионам. В ней полно грязной и неправедной облыжности, но на то и есть свобода печати, чтобы при отсутствии мыслей употреблять голые оскорбления. Всё было, как и в большинстве статей этого слегка клинического автора, а гнилостный душок, текущий от него, порой даже забавен. Только вдруг наткнулся я на фразы, которые мне проще передать цитатно:

"...Царь иудеев, генерал Барак, преемник царя Ирода, убивает младенцев Вифлеема. По его приказу детей убивают откормленные израильские снайперы, получающие премию за каждого убитого ребёнка... Отряды убийц безнаказанно отстреливают палестинцев с вертолёта, как дичь на сафари... Отравлены подземные воды, облака газа душат стариков в домах и младенец в чреве матери..."

Признаться, в первый день прочтения я даже обсудить это ни с кем не мог - стояло где-то ниже горла мерзостное ощущение проглоченного по оплошности куска гавна. Но после я опомнился и трезво понял, что об истоках такой подлой лжи скорее всего следует спросить у психиатра. И спросил. Психиатрии издавна хорошо известно клиническое тщеславие. Чаще проявляется оно в патологическом вранье, однако склонно и к поступкам. Комплекс Герострата - обозначили его врачи. Тот древнегреческий маньяк, что сжёг когда-то в городе Эфесе храм - единственно затем, чтоб его имя зазвучало на устах - не просчитался, ибо все подобные деяния теперь имеют его имя. Жаль только вашего - как там вы его назвали? - сказал врач, потому что вмиг забудется его статейка, в суд никто не обратится, Израиль наплюёт на эту гнусь, как и на прочие, а жгучее тщеславие останется у этого

бедняги. И будет полыхать на всём немереном пространстве между малой одарённостью и острой жаждой стать известным.

И во мне тихо шевельнулось сострадание к этому мелкому больному организму. Только обсуждение той гнуси, что проистекает из гнилой гордыни не годится в окончание главы. Поэтому поговорим лучше о гоноре, который хоть и порождает безрассудные поступки, только благородные и подлинно мужские.

Как-то в Питере мне одна женщина рассказала такую историю. В семидесятые годы уезжавшие художники должны были платить государству за собственные работы. Эти отзвуки крепостного рабства были тем более тяжелы, что у художников на это просто не хватало денег - цены назначались такие же, как если бы музей приобретал эти полотна. Когда назвали сумму выкупа за одну картину художнику Окуню, он ответил, что пусть её тогда государство купит за эту цену. Вся комиссия дружно рассмеялась над такой наивностью. Тогда Окунь вынул бритву, твёрдой рукой художника рассёк картину на четыре части и сказал, что эти четвертин-ки он раздарит. Рассказавшая мне это женщина хотела у меня узнать, где остальные три кусочка, она мечтает их купить, чтобы картина вся висела у неё. Я, к сожалению, не знал, а Саша Окунь уже просто не помнил. Мне такое проявление гордыни - как мёд по сердцу и душе.

Мы все упрямо и заносчиво творим свою судьбу, а проповеди о смирении и скромности, о тихости и кротости - достигают уха только тех, кто впал в это блаженное состояние по возрасту или болезни. И тут они естественно гордятся своим смирением. Ещё гордятся своей кротостью и скромностью те, которым более гордиться нечем. Остальные оголтело вожделеют и гордятся тем, чего достигли. И я никого не в силах осудить. Тем более, что полон сам гордыни и зазнайства. Ибо мне-то есть, чем похвалиться: с ранних лет я запросто достаю языком до кончика носа. Это мало у кого получается, а с такой же лёгкостью, как у меня - почти ни у кого.

Прощение зависти

В поэме Данте Алигьери по неприютным серым просторам чистилища бродят тоскливые тени завистников. Веки их глаз наглухо зашиты железными нитками так они избывают свой грех. Вообще огромная пыточная камера этой поэмы зримо выдает - и психоаналитик тут не нужен - мстительное и безжалостное воображение её автора. Одна из теней говорит, почуяв человека:

> Так завистью пылала кровь моя,
> что, если было хорошо другому,
> ты видел бы, как зеленею я.

Очень интересно, что завидуем мы - не уму, а удаче; мы завидуем успеху и достижению, совсем не думая о тех способностях, усилиях и упорстве, которые этот успех принесли. То есть, мы завидуем результату. А неполнота информации о том, какие трудности лежали на пути, какая сметка и отвага, сила воли и готовность рисковать были проявлены - нас совершенно не волнует. Словно с неба всё это свалилось к обладателю - так почему же не свалилось на меня?

Но я, похоже, начинаю философствовать, что крайне осуждала моя бабушка ("не обобщай, и обобщён не будешь", говорила она), и лучше обращусь я к собственной, отнюдь не безупречной личности.

Поскольку я, по-моему, был завистлив с раннего детства. А чья-то хитрая выдумка, что зависть бывает светлой, чем полярно отличается от чёрной - утешительна для тех, кто хочет обмануться на свой счёт и низменные свои чувства приподнять, чтоб с удовольствием смотреть на себя в зеркало. Я сам бы рад, но многовато лет, и уже поздно. Кроме того, мне утешаться нечем: я по сю пору полагаю, что зависть - неотъемлемое человеческое качество. Более того - она источник множества наших различных достижений: не завидуй птицам человек, навряд ли был бы изобретен самолёт. И говорить, по-моему, разумно лишь о том, чему именно и кто завидует. Вот, например, тот факт, что именно зависть (и вытекающая из неё ненависть) лежали в основе Великой Октябрьской Социалистической Революции - вряд ли даже спору подлежит, и не случайно дикий лозунг "грабь награбленное!" так воодушевил после Февраля народные массы. Только неохота мне карабкаться на высокий исторический уровень, я сел за книгу, чтоб рассказывать о жизни

личной.

Поскольку я завистлив мелочно, то есть страдаю самой низкой формой этого греха. А ни таланту ничьему, ни шумной славе, ни богатству я не позавидовал ни разу в жизни. Хотя вскоре честно поясню, что мизерные блёстки перечисленного вожделел я горячо и часто. Крохотные малости рождали во мне жгучую зависть к совершенно мелким людям. Что поделаешь: каков Сальери, таковы и его Моцарты.

Я помню до сих пор, как мой приятель (мы учились в седьмом классе) становился в проходе между партами, опирался руками о края их, чуть подгибал ноги, еле заметно спружинивал руки и - перелетал, как обезьяна, к партам следующего ряда. Я умирал от зависти и восхищения. А полгода спустя я уже с лёгкостью делал это сам. Но не было покоя моей низменной душе: теперь смертельно я завидовал другому моему приятелю, который каждый день читал газеты. Сам я в ту пору не мог осилить даже первую полосу - зевал и отвлекался, но что хуже - забывал немедленно, о чём читал. У нас какой-то в школе был тогда назначен час, когда по очереди должны были, кто сам того хотел, читать доклад о текущей политике. Боже, с каким жадным интересом слушал я сообщения о стихийных бедствиях в странах загнивающего капитала! Почему же я не прочитал этого сам, угрюмо и завистливо терзался я - ведь я бы тоже мог так рассказать. Я клялся самому себе, что с понедельника начну новую жизнь, и честно брался за газету. Но увы. И свойство это сохранил я навсегда. Газеты у нас в доме читает жена, а я по-прежнему гибну от любопытства и зависти, когда, подвыпив, начинают за любым столом говорить о политике. Полную херню обычно городят мои высоколобые начитанные собутыльники, но я вмешаться не могу - я начисто не знаю большей части того, что они где-то вычитали.

И много, много было стыдного в таком же смысле за десятилетия моей длинной и завистливой жизни. Что я сам могу быть объектом зависти, мне отродясь и в голову не приходило, потому я так и удивлялся появлению каких-то недоброжелателей или людей, странно косящихся в ответ на мою пылкую приветливость. Уверенность, что при любом успехе можно только радоваться за человека, по-идиотски сохраняется во мне. Хотя это никак не отменяет мою зависть. И любая мелкая удача там, где эту птицу мог я запросто словить и сам - волнует меня чем-то вроде ревности. Уже пустой, поскольку запоздалой, но не менее от этого жгучей.

Вот очень простой пример. Я знаю два четверостишия, неведомо кому принадлежащих - но я бы сам хотел и мог их

написать! Одно такое:

Слесарь дядя Вася
меж берёз и сосен,
как жену чужую,
засосал ноль восемь.

Даже воспроизводя его сейчас, я ощущаю горечь от потери. Так, вероятно, грибники и рыбаки завидуют друг другу, поскольку этот молчаливый вскрик - "и я бы мог!" - созвучен чередующимся всплескам их удач. А вот второй стишок:

Посланный на хуй, иду по дороге,
думаю: пьяный ты скот,
ведь по этой дороге шёл в борьбе и тревоге
боевой восемнадцатый год.

То есть завидую болезненно и остро я удаче на том поле, где она могла постигнуть и меня, но равнодушный случай повернул лицо к другому. Так Дина Рубина и по сю пору помнит, как она сначала в детстве, а потом и в розовой юности испытала жгучие уколы зависти: сперва увидев мальчика, свободно писающего на стенку, а спустя несколько лет - увидев, что у близкой подруги уже явно развивается грудь.

В разные времена живали мы с женой у тёщи Лидии Борисовны. Сотни раз ходил я по Лаврушинскому переулку, где стоит её дом, бродил по соседним, знал прекрасно вытрезвитель на углу Старомонетного и Толмачёвского (внизу решётки поверх мутного стекла, а наверху - два бюста Ленина, смотрящие почему-то не вовнутрь, а в переулок). По утрам довольно часто попадался мне навстречу только что отпущенный клиент этого заведения. Опознать его всегда было легко - по мятой донельзя физиономии (морда лица - почва земли, говаривал один художник о таком состоянии) и двум стандартным фразам: "Земляк, а тут которое ближайшее метро?" и "Дай пятак, домой доехать надо".

А тёща моя встретила интеллигента! Тоже был весьма помятый, но проникновенно и изысканно сказал (в шестидесятых это было, отсюда и последующая, всем памятная цифра).

- Сударыня, - сказал он, - обстоятельства моей жизни трагически таковы, что мне необходимо два восемьдесят семь.

Поясню для юных и забывчивых: цена бутылки. Моя тёща, пленённая вежливостью и открытостью текста, не колеблясь, дала ему три рубля.

- О Господи,- воскликнул человек, - и сырок! Поскольку плавленый сырок "Волна" и "Дружба" стоил именно тринадцать копеек в те незабвенные и достопамятные времена.

Тут я от зависти немного отвлекусь, ибо сыркам этим я обязан пожизненным уважением к полузабытому ныне великому физиологу Павлову. У нас на курсе в институте учился некий Мишка - добродушный и весёлый здоровяк. Он жил где-то в пригороде, поэтому в институте проводил целый день, лишь поздно вечером уезжая домой поспать. И по естественной студенческой бедности питался целый день всухомятку - ел он хлеб и эти плавленые сырки. Курсе приблизительно на третьем началась у него язва желудка. Мишка пожелтел, осунулся и загрустил. Могучий организм его (врачи немного тоже помогли) сумел оправиться, болячку залечили, и временно она затихла, хотя полностью не извелась. Но сохранились где-то в закоулках его мозга имена этих злокозненных сырков - "Волна" и "Дружба" (хотя он их уже не ел, а привозил еду из дома). И стоило с тех пор Мишке услыхать по радио частые в ту пору фразы типа - "Всю Африку охватила волна народного гнева" или "Изо дня в день крепнет дружба советских республик", как от этих двух ключевых слов у него начинался приступ язвы. Как после этого не поверить в пресловутые условные рефлексы академика Павлова? Так я пристрастился к психологии, а Мишка избегал всех мест, где слышно радио.

Но возвращусь я к зависти и тёще. Мы ходили по одним и тем же переулкам, а замечательные люди попадались только ей. В восьмидесятых, например (в Москве довольно было туго с продовольствием), поднималась моя тёща по ступенькам магазина на Пятницкой, а навстречу выходила из дверей тётка с кошёлкой.

- Что, яйца в магазине есть? - спросила её тёща, чтобы зря не заходить.

Тётка ответила печально и раздумчиво:

- Яйца есть, но мальчиковые.

Или возьмём подземный переход, ведущий к метро "Третьяковская". Там сидела старуха-нищенка возле большой консервной банки из-под огурцов, куда прохожие кидали мелочь. Тёща моя, тоже человек весьма немолодой, остановилась рядом, раскрывая сумку. Старуха глянула на неё, закрыла банку ладонью и холодно сказала:

- Пенсионеров не обслуживаем.

Везению такого рода я завидую угрюмо и нескрываемо. По-другому улыбается фортуна что-то услыхать и повстречать - увидеть ровно там, где мог бы оказаться я? Или не мог - но всё

равно я ощущаю зависть.

Замечательный артист Женя Терлецкий был когда-то режиссёром (главным!) в Магнитогорском кукольном театре, Ехал в поезде он как-то, вышел в тамбур покурить, а там уже сидел на корточках, вольготно к стенке привалясь, тоже куря, некий спокойный человек. Я после лагеря таких любителей сидеть на корточках распознаю настолько, что готов частично изложить их биографию. А Женя закурил, о чём-то зимнем думая (декабрь на дворе стоял), и человек его спросил участливо:

- Чего так загрустил, земляк, или не клеится чего?

- Да в Сочи ездили мы на гастроли, плохо вышло, - с машинальной вежливостью ответил Женя. А человек вдруг густо и со смаком засмеялся:

- Кто ж ездит в Сочи на гастроли в декабре?! - сказал он снисходительно и с полным пониманием проблемы.

Именно Жене позвонила на днях женщина и, нескрываемо волнуясь, сказала:

- Вы артист Терлецкий и вы много лет работали в театре?

- Да, - ответил Женя, - это я.

- Вы только не будете надо мной смеяться, ладно?

- Избави Бог, - ответил Женя.

- Понимаете,- женщина продолжала нервничать,- вы ведь много лет работали в театре, вы не будете надо мной смеяться. Дело в том, что у меня есть собака, она эрдель-терьер, ей предстоит ехать на международную выставку, вы много лет работали в театре, вы не должны надо мной смеяться.

- Я вас слушаю,- проникновенно ответил Женя. - И что?

- А у неё, - сказала женщина печально, - только не смейтесь надо мной, но у неё вдруг облысела жопка. Вы не знаете, какой берётся клей, чтобы приклеить ей волосики?

Людям везёт, и это всё, что я могу сказать. Я не работал много лет в театре, и ко мне с таким не обратятся, только ведь от этого здравого соображения ничуть не меньше хочется, чтоб так прекрасно кто-нибудь однажды позвонил. Я не придуриваюсь, это говоря, я понимаю, что завидуют повсюду и везде вещам существенным и крупным: денежной удаче, шумному успеху, суперсовременной дорогой ненужности, даче в горах или обильно плодящемуся стаду. Только ведь такой горячий пламень гложет изнутри завистников, мешая жить и сна лишая, что скорее следует их пожалеть, нежели судить за их же собственную дикую душевную изжогу.

Можно завидовать дальним поездкам и интересным знакомствам, удачным фразам и хорошему настроению, лёгкой походке и звонкам приятельниц. Такое в самом деле - как бы с

неба, и печаль, что это не с тобой, понятна и неизлечима.

А ведь завидуют несчастные иные - даже чужой энергии. И более того они её порой пытаются впитать, вертясь неподалёку от человека. Я таких вампиров наблюдал и даже замечал их сладострастие: они общаются, они блаженствуют от исходящих волн чужой энергии (вкупе со знанием порой) и впитывают, впитывают, впитывают. Забавно, что носителю энергии от этого ничуть не хуже, ибо людям льстит внимание, оно лишь возбуждает их и стимулирует отдачу. Я этому виду вампиров даже некогда название нашёл: фальшивоминетчики. И мне их тоже очень жалко.

А ещё есть зависть - к той обидной лёгкости, с которой кто-то получает нечто, с тягостным усилием тобой достигнутое, либо вовсе не дающееся тебе. Нет, я вовсе не о всяких материальных удачах, я о совсем другом. Вот, например, я знал давно и достоверно (а скорее - чувствовал), насколько мы различны с разными свободными людьми, когда не совпадают наши мнения. Мы это люди советско-российской выделки и закваски. И никакой даже модели-образа я сочинить не мог, хоть по-собачьи чувствовал, как вертится он рядом и вокруг. А тут к актёру Мише Козакову приехал из Америки какой-то приятель, запросто изложивший то, что мне никак не удавалось.

- Смотри, какая между нами разница, - сказал он Мише, выпивая - вот сидят такие же, как мы, два американца. И пьют они такую же бутылку водки на двоих. И первый говорит: бутылка сделана красиво, этикетка приятная, и вообще отличная водка. А второй с ним не согласен: и бутылка ничего особенного, и банальнейшая этикетка, а водка - вообще дрянная. - -Интересно - отвечает тогда первый, - как забавно разны у нас взгляды и вкусы. И такую же бутылку водки распивают двое россиян. И так же первый хвалит всё подряд. И точно так же с с ним не соглашается второй: и некрасивые бутылка с этикеткой, а про водку - вообще она гавно. Ну что, уже про первого ты догадался? Если такая водка кажется тебе гавном, говорит он, то ты сам гавно, и дам-ка я тебе сейчас по морде, чтобы не выёбывался впредь.

Какую зависть испытал я к этому неведомому человеку! Ибо его лёгкая модель равно пригодна для дискуссий наших на любую тему и в какой бы части света мы их ни вели сегодня. И сделать ничего я не могу с моей натурой мерзкой, потому что я завидовал, бывало, даже снам. Они мне тоже снятся, только мизерные, бытовые и неинтересные - не зря я их под ут-ро забываю. А Володе Файвишевскому, к примеру, снилось, как он едет на машине - той, что ещё Ленина возила, и сидит у него за рулём сам лично Ленин. Лысый, бодрый, только очень

раздраженный - тряская и вся в колдобинах дорога. Ночь, ни зги не видно, фары слабосильные, а ехать ещё очень далеко. И Ленин говорит ему со злобой и печалью: "Мы всё делали совершенно верно, товарищ, просто нам попался неподходящий и неправильный народ".

Ну как не позавидовать такому сну? Я и завидовал. А Саше Окуню даже не сны, а кинофильмы снятся, так построен и развёрнут их сюжет. В Америке он где-то, едет в лифте, и лицо одного из соседей кажется ему знакомым. И на пьянке, куда ехали они, тот человек с ним оказался через стол, они беседуют, они друг другу явно симпатичны. Мимо проходя, при-ятель Сашкин на его вопрос недоуменно отвечает: это же Набоков.И ничуть не удивившись, как во сне это бывает, Сашка продолжает с ним общаться, обсуждая что-то незначительное, но приятное обоим, так как родом они оба - из одного города. А под конец Набоков предлагает прокатиться на санях вдоль имения его родителей под Питером. И вот они уже в санях, вокруг российские снега, а вдоль дороги - избы. Оттуда из дверей вываливают мужики, снимают картузы и, кланяясь, степенно говорят: здравствуй, Набоков. А Набоков бодро им кричит: на хуй, на хуй!

Обзавидовался я такому сну. А ещё приснилось Саше Окуню - на то он и художник - нечто вовсе несусветное: вдруг вверх по унитазу, крохотными лапками хватаясь ни за что, быстро-быстро вылезла его какашка, припустившись от него по полу в комнату. А Сашка кинулся за ней, но у какашки распустились маленькие крылышки, и она вольно упорхнула от него в окно. Какой фрейдист не соблазнится это толковать, однако же сумеет вряд ли.

Будучи натурой необыкновенно творческой, Сашка ухитрился как-то посмотреть сон как раз про зависть. Он ходил по какому-то огромному залу, где выставлены были инсталляции, то есть всякие художественные сооружения его коллег, неведомых ему. Они были в металле, дереве, пластмассе, главное же - дивные пластические идеи были там безукоризненно созвучны материалу. Сашка восхищался и завидовал так страстно, что проснулся в некоторой депрессии. И вдруг сообразил: ведь это сон, ведь это видел он какие-то свои собственные, по праву полному принадлежащие ему идеи. Тут депрессия его перешла в бурную радость, но - ни единой инсталляции уже не смог он вспомнить, сон растворился без следа.

Порой завидую я лёгкости житейской, интересу к жизни, любопытству к людям - это с годами начало иссякать во мне, завидую случайным знаниям о чём-нибудь ненужном, ибо знаниям фундаментальным не завидовал я никогда.

Состарясь, вовсе не завидую я молодости. О, я помню это ощущение неприкаянности, страха перед загадочным огромным миром, томительной тоски непонимания, чего именно тебе хочется в этой жизни, тяжкой неуверенности в своих умственных и душевных силах. (Хуже этого - только уверенность в своих умственных и душевных силах.) Скорей наоборот - я старческому безмятежному спокойствию завидовать готов, ибо никак его не обрету.

Я полистал на этот счёт любимый словарь Даля. Там объяснялось, что завидовать - это досадовать на чужую удачу, счастье и (отменное выражение) - "болеть чужим здоровьем". Очень хорошие поговорки выписал я оттуда: "Лучше быть у других в зависти, чем в жалости" и "Завистливое око видит далёко". А поговорка - "Берут завидки на чужие пожитки" - снова показалась мне ключом не только к Октябрьской революции, но и к потугам самых разных лидеров в сегодняшней России (есть и в Израиле такие) собрать под этим флагом всех обиженных и недополучивших. Даже нечто похожее на тост нашёл я в словаре Даля: "На погибель тому, кто завидует кому!". И не случайно (прочитал я там же) день рождения Касьяна-завистника отмечается лишь раз в четыре года, ибо зависть тесно связана с недоброжелательством (хотя, по-моему, это гораздо худший грех), а "Касьян на что ни глянет - всё вянет".

Тут непременно две истории хочу я рассказать, поскольку сам объектом зависти наверняка являюсь тоже. Даже знаю - почему, и тут уместно вспомянуть, что часто зависть - благодетельное, очень побуждающее чувство. Ибо, если я кому завидую, то я хочу быть таким же, как он. И это часто стимулирует завистника (я потому и научился прыгать через парты, хотя чтение газет не одолел). Так вот - завидовал я в ранней молодости тем, кому от жизни было нужно очень мало. То есть людям типа Диогена - только я тогда о нём не знал. Я птичьей лёгкости существования завидовал (уже я вскользь упоминал об этом) -и что же? - я с годами так продвинулся по этому пути, что сам уже служу объектом зависти людей, которые без устали хотят и жаждут, мучаются и вожделеют.

Однако, я отвлёкся от обещанных историй. Первая случилась в Киеве, где я по случаю Дня независимости Израиля был пригашён нашим посольством на большой приём. В огромном ресторанном зале было всё роскошно, чинно и красиво. Вдоль столов с напитками и закусью двигались мужчины в смокингах и фраках. То есть были и обычные вечерние костюмы, только мне приятнее настаивать на фраках. А как шикарны были женщины, я говорить не стану, ибо два любимых эпитета (роскошно и

шикарно) я уже употребил. Поскольку был в ковбойке я и в джинсах, то и пялился на прикинутых мужиков - даже знако-мые там выглядели незнакомо. А на меня были похожи только две индуски в их накидках-сари, выделялись они так же, только поприличнее, чем я. В углу меланхолически пиликал специально выписанный из Израиля оркестрик, я поплёлся поздороваться, и каждый из них молча окинул меня взглядом с ног до головы. Я почувствовал себя дома и блаженно ощутил, как мне давно охота выпить. Все двигались по залу (а точней - перемещались с выдержанной плавностью), держа в левой руке тарелку (рюмка - на тарелке), а в правой вилку. У меня же в левой руке стремительно оказалась пепельница - мне её почти насильственно всучил официант, неведомо как увидавший, куда я стряхиваю пепел, а рука правая держала сигарету. Я сообразил, как поступить. Рюмку с вилкой сунул я в нагрудный карман ковбойки, вследствие чего спокойно перемещался вдоль столов, по мере надобности вынимая рюмку с вилкой, чтобы выпить-закусить и двигаться дальше. По дороге я встречал знакомых, с ними выпивал, беседуя с присущей мне учтивостью, и сделал уже круга два, перемежая разные закуски и наметив уже лучшие места привала. Тут и подошёл ко мне какой-то человек безумной авантажности (если я верно понимаю это слово) и такой дипломатической по виду выделки, что хоть в кино его снимай - учтиво сообщил, что он со мной хотел бы чокнуться и тихо мне сказал: "А я смотрю на вас и так завидую! Я уже не могу себе этого позволить".

И я ему был очень благодарен, ибо неряшество и безответственность мои он расценил как поэтическую вольность.

А теперь - о некой зависти вульгарной и настолько непростой, что странно мне писать об этом на компьютере и среди прочих всяческих побед материального мира. Лет несколько тому назад устроена была у нас коллективная ярмарка с продажей книг и начертанием автографов. Нас было много, пишущих людей, у каждого был столик, и на нём мы бойко торговали своей нетленной продукцией. А у меня только что вышла новая книжка, и возле моего стола люди толпились очень густо. Я надписывал книжки, балагурил со знакомыми и ни о чём не помышлял. Но вдруг... Всё время жалко мне, что я не настоящий писатель, я не в силах отыскать слова, чтобы красиво описать некую острую внезапность. Одним словом, почему-то поднял я голову (надо было бы сказать - "повинуясь властному внутреннему чувству") и поймал прямой и жёсткий взгляд глаза в глаза одной из поэтесс - у нас их, слава Богу, дикое количество, и я могу писать спокойно. Глянула, и ладно, я продолжил упоённо

свои нехитрые торговые занятия.

А утром обнаружил, что могу разговаривать только хриплым шепотом - у меня как будто отнялись голосовые связки. Не болело горло, не было ангины, просто разговаривать не мог совсем. Так, еле-еле клекотал. И почему-то из ума не шёл тот ровный и прямой спокойный взгляд. Увы, я материалист, поэтому когда приятельница мне сказала, что меня, скорее всего, сглазили, я радостно сперва заржал, но вмиг осёкся, снова вспомнив этот взгляд. Конечно, я немедленно пошёл к врачу-специалисту: у меня отнялся орган, коим я зарабатывал себе на хлеб. Давно знакомый отоларинголог, врач с прочной репутацией великого специалиста - осмотрел мне горло, хмыкнул и молча стал писать рецепт. Меня сжигало любопытство.

- А скажите, доктор,- вопросил я вкрадчиво и витиевато, -вы представитель очень осязаемой, вполне материалистической медицинской профессии, и как по-вашему - возможно ли, что это меня сглазили?

- А вас таки и сглазили, - спокойно отозвался доктор. - Больше никаких причин не вижу. Но антибиотики не помешают.

Голос возвратился только дня через четыре, как не больше, И одно выступление пришлось мне отменить. А год спустя я в Питере сидел в гостях у одного художника, где кроме нас ещё паслись, жуируя и благостно журча, две классические питерские старушки. Почему-то речь зашла о разных таинственностях, и я по случаю рассказал, как меня сглазили. Ни имени, ни цеховой причастности я не упоминал, но одна из старушек мне спокойно и обыденно сказала:

- О, Господи, так это же вас сглазила ... - и в точности назвала имя. - За ней давненько это водится,- добавила она и, даже не спросив у меня подтверждения, продолжила какую-то историю.

Вот какая дикая энергия содержится порой в вульгарной зависти. И не исключено, что, будучи направлена вовнутрь, эта энергия способна человека подтолкнуть на дивное развитие себя в этом направлении, где далеко маячит тот, кто зависть вызвал. У поэта Саши Аронова (ему довольно много лет, но я-то его знаю ещё Сашей) был в незапамятные годы нашей юности один рассказ - о зависти как раз, а если точным быть - о кругообороте зависти в природе. Ничего точнее я не слышал никогда, и потому перескажу его, как помню, близко к тексту. Если бы я был прозаик, начинался тот рассказ, я написал бы, как мальчик любит девочку. Но девочка не любит мальчика, она влюблена по уши в студента-первокурсника Литературного института. Он весь из себя умный и начитанный, он пишет прозу, и в одном журнале обещали его скоро напечатать. Только не сказали, когда именно,

но девочку и это восхищает. А влюблённый мальчик, жгучую испытывая неприязнь и зависть к этому сопернику-удачнику, пришёл в Литературный институт, чтоб лично посмотреть, каков он из себя и чем прельстил ту девочку. И вот стоит тот мальчик во дворе, конца занятий ожидая, и от нечего делать разговаривает с симпатичным дворником, ему доверчиво открывшись неожиданно для самого себя. А студент ничего не знает о терзаниях мальчика, у него свои душевные занозы. Он сидит на лекции, не слыша ничего, и думает о том, как хорошо бы так писать, как это делает Эрих Ремарк. Чтоб так же мужественно, твёрдо и с такой же красотой характеров. А между тем, Эрих Ремарк и знать не знает о терзаниях студента. Эрих Ремарк ходит по своей вилле в Швейцарии и тоскливо думает, что он, конечно, много написал и кое-что сумел сказать о женщинах, мужчинах и войне. Но как хотел бы он писать с такой же лаконичностью, как это делает Эрнест Хемингуэй! И чтоб за этой краткостью такая же таилась глубина, которую всё время ощущаешь до озноба. А между тем, Эрнест Хемингуэй и знать не знает, что в Европе где-то есть прозаик, полный мучительной и острой зависти к тому, что делает Хемингуэй. Своя сейчас душевная изжога прихватила Эрнеста Хемингуэя: только что он прочитал некоего российского писателя Андрея Платонова. Сквозь все несовершенства перевода проглядывало нечто удивительное: два-три слова, связанные неожиданно и точно, раскрывали столь укромные узлы устройства мира и людей, что оставалось лишь руками развести, как это смог нащупать человек. А между тем, Андрей Платонов знать не знал о восхищённой растерянности Хемингуэя. Он вышел из своей пристройки во дворе Литературного института, где он жил, работая там дворником (замечу в скобках, что легенда эта до сих пор бытует в общей памяти), и встретил мальчика, влюблённого настолько, что приятно было, хоть и больно вместе с тем, его сейчас расспрашивать о мучащей его печали. Больно потому, что, глядя на мальчика, Андрей Платонов думал грустно и завистливо, как обаятелен у молодости тот избыток вещества жизни (его любимое выражение), которое с годами испаряется бесследно и необратимо. Не дождавшись появления студента, мальчик попрощался с незнакомцем и ушёл, с собою унося свою счастливую и тягостную горечь. А Платонов с горечью и завистью смотрел ему вослед.

Потом этот сюжет повсюду стали пересказывать, он стал фольклором, безупречную очерченность от устных изложений потерял, и выдохлось благоухание придумки. Лучшего на тему зависти я не читал.

Извечно и повсюдно в человеках существует и бурлит, гуляя,

это свойство. Сам Господь, по всей видимости, вложил его в нас не то с какой-то целью, не то по недосмотру (а вложенное Богом и не может быть грехом!). Во всяком случае, напутствуя евреев на горе Синай, наш Создатель говорил как раз о зависти: "Не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, ничего, что есть у ближнего твоего". Позднее эти же слова с такой же безуспешностью говорил своей пастве Иисус Христос. Вообще, если вдуматься и присмотреться, многие христианские идеи - чистое и неприкрытое утешение завистников. Как обещание, к примеру, что в загробной жизни -"последние станут первыми".

А если я завидую (притом до такой степени, что меня раздражает их существование) - людям чистым, бескорыстным, неподкупным и отважным? Людям святым на фоне тех, среди которых я живу как свой среди своих. Что я могу поделать с этим? Так наверняка завидовали Сахарову его коллеги. Можно даже завидовать качеству дураков из соседней деревни - есть об этом грустная российская пословица: "У людей дураки - любо каки, а у нас дураки - вона каки!". И тогда обретает наша зависть - планетарный, межгосударственный характер. Короче говоря, совсем напрасно числится грехом то, что причиняет человеку жгучее и неизбывное страдание. А также служит стимулом для улучшения себя. Я лично, как завистник был, так им останусь. И когда у нас на пьянках начинают хором петь советские или блатные песни, помираю я от зависти ко всем, кто правильно мелодию выводит. Обделил меня Господь и голосом, и слухом, только петь я обожаю всё равно и с дикой страстью это делаю. А рядом, к неизбывной зависти моей, не только с безупречностью поют, но кто-нибудь ещё гитару дивно щиплет или безошибочно стучит по клавишам. За что же их Творец так выделил, а про меня забыл? И чувство этой дьявольской несправедливости никак не назовёшь греховным.

О высокой пользе низкой страсти

Давно уже я знаю, как полезно писать книги: в это время сам ужасно много узнаёшь. Так, например, я всегда думал, что алчность - это стяжательство, накопительство, приобретение и вожделение к нему, острая страсть к приумножению того, что ценишь в этой жизни. То есть, короче говоря - некий могучий хватательный и поглотительный азарт. А жадность, думал я, она подобна скупости - болезненному нежеланию расстаться даже с малой частью того, что ты имеешь. Нет, нет, я понимал и чувствовал, что можно с жадностью хотеть чего-то, жадно устремляться к чему-то, но сильнее всё же в этом слове было для меня охранительное, удержательное звучание. И очень удивился я, у Даля прочитав, что жадный - это жаждущий, сильно хотящий (и не только пить, разумеется), буквально жаждный, только букву по дороге потерявший. То есть, тоже алчный. Слово жадность, таким образом, соединило неразрывно алчность со скупостью, и смертный грех включает оба эти свойства. Я о скупости писать намерен мало, потому что это свойство мало интересно. Сам я скуп до чрезвычайности (чуть ниже объяснюсь, поскольку речь идёт не о финансах), да плюс ещё сказала как-то одна женщина, что мужика можно любить любого - даже не меняющего носки, усугубила она, только скупого невозможно полюбить. И алчен я невероятно был всю жизнь, и алчность кажется мне интереснейшим и очень плодотворным нашим свойством, как бы мы ни осуждали её в людях и каким бы смертным грехом она ни числилась.

А наше многовековое заблуждение - оно ведь просто от того, что алчность неразрывно связана у нас с деньгами. Всё очень непросто даже в этой узкой области. Когда-то я любил в ответ на мельком брошенный пустой вопрос, как мои дела, ответить так же мельком, что делаю второй миллион. Тут собеседник застывал и делал круглые глаза, а я охотно пояснял, что делал первый, ничего не вышло, и теперь я делаю второй. Эта незамысловатая шутка помогла мне понять одного моего приятеля, который миллионер и в самом деле, но не устаёт приумножать свой совершенно ему не нужный для безбедной жизни капитал (он очень скромный и непритязательный к быту человек). Я ошутил и понял вдруг, что деньги - это просто фишки, знаки его жизненного успеха, он играет, и азарт его - не накопительский, а игровой. Согласитесь - тут просвечивает алчность некоего иного рода, пушкинским скупым рыцарем тут и не пахнет.

А человек, алчный к чинам и наградам за усердие - смешон и

жалок настолько, что просто глупо тратить на него и время, и бумагу. Что же касается вообще карьерной алчности, то я весьма сочувственно к ней отношусь: в ней часто выражен азарт способности, Божьего дара, который жаждет возможности себя реализовать и воплотить. Ещё и потому с большим сочувствием (и состраданием) я отношусь к подобной жажде, что заметил кто-то очень проницательно: "Если с усердием работать восемь часов в день, то можно выбиться в начальники и работать уже двенадцать часов в день".

А если вовсе нам отвлечься от любой корысти и наживы, то чистейшим примером алчного стяжательства предстанет яростная коллекционерская страсть. Она владеет мною много лет, и я не вижу в ней греха, а то, что кто-то за моей спиной выразительно покручивает пальцем у виска, меня волнует мало. Да, Это пагубная и трудно объяснимая болезнь, поскольку люди коллекционируют что ни попадя. Открытки, значки, плакаты, марки, чашки, штопоры, карандаши, спичечные и чайные этикетки, письма и телефонные карточки. Ключи, замки, цитаты, необъяснимые случаи, анекдоты, папиросные и сигаретные пачки, пуговицы, камни, афоризмы. Книги, зажигалки, мундштуки, гравюры, всякую посуду, утварь, живопись, часы, брелки и мебель. Я даже знал коллекционера мелких надгробных памятников. И за время путешествия по жизни много в этом смысле повидал.

Помню, много лет назад большой компанией мы пили водку у одного моего приятеля, впоследствии известного поэта. В ту пору он собирал верблюдов, уж не знаю, как сейчас. Плюше-вые, резиновые, целлулоидные, бронзовые, деревянные, железные; все до единого с горбами - по крайней мере одним - и с надменно вытянутыми мордами, они высокомерно смотрели со шкафа, толпились на рояле и полках, теснили бумаги на столе, Верблюдов тогда было сорок два - приятель покупал их, выменивал, воровал. В несколько знакомых семей его уже не приглашали - хозяева входили в момент, когда он ловко и профессионально засовывал под пиджак очередной экспонат. Друзья привозили ему верблюдов из туристических поездок, отказываясь во имя дружбы от заграничных авторучек, ибо нищим было их количество валюты. Один огромный верблюд из чугуна стоял отдельно - его отлили на каком-то заводе, где приятель завывал свои стихи. ("Что бы вы хотели в подарок на память о нашем предприятии?" - неосторожно спросил его директор завода. "Верблюда", - не задумываясь, ответил маньяк. И верблюда отлили. "Поэт", - восторженно сказала секретарша. "Идиот", - ответил председатель профсоюза.) В квартиры, где замечены были верблюды, он посылал тайных агентов, и

коллекция неуклонно пополнялась. При слове "верблюд" он вздрагивал и начинал нервничать. Было также известно, что он ухаживает одновременно за двумя девицами - владелицами уникальных верблюдов, вырезанных в Туве из камня. Но девицы понимали его замысел превратно и перед свиданием вожделенно предавались косметике.

Так вот, мы у него сидели, выпивая, и одна из женщин, посмотрев на верблюдов, сказала:

- Знаете, вспомнила смешной случай. У нас в институте заспорили два биолога о нашей замечательной эпохе, и один другому сказал, что ничем при случае не докажешь, если вдруг понадобится, что ты не верблюд. А второй промолчал, но, уходя, гордо шепнул мне, что у него в домоуправлении приятельница. Назавтра он принес справку, где чёрным по белому и с печатью удостоверялось, что податель справки - "не верблюд, а старший научный сотрудник". Он во вчерашнем споре защищал точку зрения, что всё у нас доступно человеку, надо только знать и уметь. И выиграл, как видите. Правда, забавно?

Мы все засмеялись и загомонили, а один из гостей, солидный сорокалетний инженер, вдруг заволновался и суетливо задвигал кадыком - так собака делает глотательные движения при виде или запахе еды.

- А нельзя ли достать или приобрести эту справку? - искательно заглядывая в глаза, спросил он у рассказчицы. Было совершенно очевидно, что будь у него хвост, он бы им сейчас вильнул.

- Зачем она вам? - удивились услышавшие.

- Я собираю справки, - сказал он печально и возвышенно, - у меня их уже восемьдесят шесть, и среди них есть уникальные.

О, это был настоящий собиратель! Он не поверил обещанию и на всякий случай ушёл провожать рассказчицу о верблюжьей справке. Он уважительно держал её под руку мёртвой хваткой и обольстительно скалился широкой эмалированной улыбкой.

Я в те годы много ездил по просторам советской империи в качестве инженера-наладчика. Уже писал статейки в научно-популярные журналы, всюду находились разные интересные люди, новые знакомые мне помогали их обнаруживать. И как-то в Красноярске (или в Кемерове? - я сейчас доподлинно не помню) посоветовали повидать известного в городе врача-коллекционера.

На нажатие кнопки откликнулся звонок где-то в глубине квартиры, послышались шаркающие шаги, подозрительное "кто там?", бдительный расспрос, и один за другим издали железный шорох четыре засова. Сухонький старик небольшого роста по

второму разу вызнал, кто меня прислал, и усадил за стол.

- Вас интересует моя коллекция книг по медицине? - снова обеспокоенно удостоверился он. Я подтвердил и показал ему свою журналистскую бумажку. Это было с очевидностью необходимо.

Четыре тысячи книг на восьми языках (сам он знал только один) и несколько тысяч газетно-журнальных вырезок. Но главная научная ценность коллекции, сказал он мне, затаённо и самодовольно улыбаясь, совсем не в книгах, а в листочках, вложенных в каждую из них. На листочке коротко написаны его мысли по поводу изложенного в книге медицинского материала. Я проглотил вопрос о том, как он читает книги на незнакомых языках, и присмотрелся к старику внимательней. Коллекцию уже много-кратно пытались у него украсть, сказал он (и вздрогнул), но главное, что очень часто он читает в разных журналах цитаты из написанного им на листках - без ссылки на него (и горестно вздохнул). Поэтому он с некоторых пор на всякий случай держит эти книги и вырезки в больших мешках в подвале, а ключи носит с собой, не расставаясь. Но цитирование продолжается.

В тот же день вечером я пил водку с его сотрудниками по больнице. Да, сказали они мне, они всё знают и понимают, но старик по-прежнему - отменный врач, удивительной проницательности диагност, и мания его носит чисто домашний характер. И от них же я тогда услышал, что такое следствие собирательства - давно описанная в специальной литературе печальность. Так, был известен коллекционер старинного венецианского стекла, который много лет стоял, отказываясь сесть, а спал лишь на боку, часто и тревожно просыпаясь. Он уверял, что та часть тела, на которой сидят, сделана у него из тончайшего и хрупкого стекла, и тщательно берёг этот ценнейший экспонат его коллекции.

Повсюду есть маньяки, одержимые этим высоким видом алчности. Довольно часто это пахнет патологией. Так один богатый американский врач совсем ещё недавно мотался по всему свету, коллекционируя фотографии смертных казней. На момент, когда о нём написали, у него уже было шесть тысяч снимков. Он уверял, что цель его - научна, и что некое исследование он ещё напишет. По сравнению с ним тридцать две тысячи пуговиц, собранные каким-то одержимым из Женевы - более пристойная коллекция. А двести тысяч оловянных солдатиков, собранных неким гусарским полковником в Вене? А шестнадцать тысяч спичечных коробков, как-то раз представленных в Стокгольме на выставке? А верёвки с висельников? - была и такая коллекция. Англичанин собиратель точно знал и скрупулёзно помечал свой

каждый экспонат: бунтовщики, злодеи, самоубийцы, политические преступники, даже собаки, которых некогда вешали рядом с хозяином для пущего поношения. Есть даже коллекция самых скучных в мире книг. Восемь тысяч шестьсот томов собрал один итальянец к тому дню, когда выяснилось, что в его коллекции есть книги, только что расхваленные критикой. Их автор вызвал коллекционера на дуэль. Но как-то все уладилось, однако собиратель перестал свою коллекцию показывать, и неизвестно потому, какое у него сейчас собрание экспонатов.

Читая о немыслимом разнообразии коллекционного безумия (зубы и клочки волос известных людей, засушенные цветы с их могил вкупе с билетами на последнее выступление, куски прижизненной одежды этих же несчастных), я наткнулся на парижского корректора, который тридцать лет собирал в рукописях орфографические ошибки знаменитых литераторов своей эпохи. И немедля вспомнил с радостью, что знал такого же - только на очень советский манер - ценителя чужих ошибок. Уже много лет прошло, и я не помню имени того скорее средних лет, чем пожилого, очень высохшего, словно был точим он язвой, человека с похотливой суетливостью в движениях. Не помню, как и почему к нему попал (по-моему, он дома торговал редкими книгами), но он ко мне расположился, и я увидел множество листков, исписанных мелким бисерным почерком и аккуратно нумерованных. А устный его текст я накрепко тогда запомнил, потому что года два спустя его воспроизвёл в книжке об изучении мозга.

- Вот, прошу, тут говорится о картине Сурикова "Покорение Сибири". Казаки на ней стреляют из кремнёвых ружей, а такие появились только на сто лет позднее! Тогда были только фитильные. Промашечку дал великий русский художник, ан уже не исправишь. Или возьмите вот: революционные матросики в восемнадцатом году поднимают в кинофильме флаг с серпом и молотом. Но тогда было просто красное полотнище! К регалиям и символам надо относиться внимательно!

Мне сначала очень понравились обильные знания этого высохшего полустаричка, но что-то неприятно настораживало в его ласково-жадной интонации. А он продолжал:

- В романе Толстого "Князь Серебряный" кидают пригоршни золота, а его тогда в ходу и обращении не было, были только серебряные копейки! Но это классики, до них с поправочкой не дотянешься. А вот заметили: в фильме "Секретарь райкома" девушка преследует врага и всё время стреляет в него из нагана? А ведь в нагане всего семь пуль, и его на бегу не перезарядишь! Что же подумает зритель о секретаре райкома, если в фильме

такая неурядица?

Я ушёл от него с чувством смутной тревоги, и мои опасения были подтверждены знающими людьми: не просто собиратель этот выуживал ошибки, но и доносил об этом по инстанции. По счастью, у него была устойчивая репутация свихнувшегося, так что о последствиях никто не слышал.

Я упомянул уже о книжке, в те года написанной, а в ней я застолби л (поскольку сам же сформулировал) три основных закона, по которым протекает эта высокая маниакальная болезнь. Закон первейший: главное в коллекции - её показывать и о ней упоминать. Конечно, мне немедленно напомнят о владельцах редкостных икон и картин, которые прячут свои сокровища в солидных банках и иных хранилищах, где сами их не видят тоже. Это никакие не коллекционеры, это собиратели денег и всего, что может быть на деньги переведено, мне о таких противно даже говорить, ибо они лишают человечество возможности видеть дивные произведения искусства, которым (что немаловажно) тоже вредно это рабство в темноте - уже давно выяснено, как портятся полотна без восхищённых и любовных взглядов. А настоящий коллекционер - навязывает всем ту чушь, которую он собирает, ибо без показа и подпитки своего хвастливого тщеславия ничего не соберёшь. Я это знаю по себе, и возражения напрасны.

Закон второй и тоже основной: единственная цель коллекции приумножение её, покуда теплится жизнь. А поскольку обозначена цель, она сама собой оправдывает средства - этот афоризм, как ясно теперь каждому, придумали не древние тираны, а тихие любвеобильные собиратели. Поэтому с такой опаской приглашают коллекционеров в те дома, где есть предметы их страсти.

И, наконец, третий - печальный, но существующий закон: чем интеллектуальней коллекция, тем реже хозяин пользуется ей. Не верите? Но посмотрите, как ежевечерне ласкает свои монеты нумизмат или поглаживает ракушки фанатик этих форм - а библиофила вы когда-нибудь заставали за чтением? Он бегает по букинистам или сидит у приятелей, выманивая редкую книжку. "Только на почитать, честное слово, верну завтра".

Алчную и неутолимую манию собирательства некогда точно и проницательно описал великий физиолог Павлов. Он ввёл понятие рефлекса цели - могучего инстинкта, от рождения присущего человеку. Рефлекс или инстинкт цели - это, по Павлову - "стремление к обладанию определённым раздражающим предметом, понимая и обладание, и предмет в широком смысле слова". Такое стремление к цели движет и математиком при решении сложной задачи, и геологом - при

обследовании новых мест, и историком - при объяснении белых пятен прошлого. Инстинкт цели - постоянный спутник жизни каждого человека, могучая побуждающая сила любого творчества и познания, любых дел и самого существования.

Павлов писал, что инстинкт цели во всех его проявлениях весьма сродни общему для всего живого пищевому инстинкту. Павлов называл его - "главным хватательным рефлексом". У коллекционной страсти тоже есть ярко выраженные хватательные проявления - именно поэтому музейные экспонаты охраняются стеклом, креплениями и бдительными старушками, которые спят, но помнят: коллекционер не дремлет.

О, какие были в моё время эти старушки! Я одну из Эрмитажа помню до сих пор. Я как-то к ней раза четыре с перерывом в полчаса подходил, чтобы спросить одно и то же: как пройти к импрессионистам? И она мне царственно отвечала: "Вам Францию? За Египтом налево!"

Павлов справедливо отметил совпадение периодичности коллекционного инстинкта с пищевым: после очередного получения или захвата (пищи или экспоната) наступает временное успокоение или равнодушие. А потом оба инстинкта властно побуждают к действию. Тогда - остерегитесь те, кто может помешать! В конце прошлого (уже позапрошлого) века в Париже был убит известный коллекционер экзотических марок. Врагов у него не было, богатства - тоже. Проницательный сыщик (сам тоже собиратель) обнаружил только исчезновение из коллекции одной чрезвычайно редкой марки Гавайских островов. И тут же убийца (коллекционер, тишайший и добрейший человек) был схвачен и изобличён. Он даже не особо отпирался - я без этой марки не мог жить, уныло сказал он, что мне оставалось делать?

Когда мы только начали говорить о нашем алчном и неукротимом хотении ("понимая и обладание, и предмет в широком смысле слова"), в каждом шевельнулись наверняка и всякие сексуальные ассоциации. Конечно! И хрестоматийная всплывает сразу в памяти фигура Дон Жуана. Но только вот что: есть у Чапека рассказ, как некий католический аббат был вызван в некую гостиницу, чтобы дать последнее отпущение грехов умирающему Дон Жуану. Аббат настолько был поражён и огорошен, что, выйдя из комнаты, нарушил тайну исповеди, рассказав услышанное им от знаменитого прелюбодея. Оказалось, что великий бабник был всю жизнь импотентом. К женщинам его влекло неудержимо, но, добившись близости, он вынужден был эту женщину покидать, ища другую, чтобы вновь исчезнуть.

Помню, как я с восхищением рассказывал этот сюжет одному приятелю, но он был циник, и мне холодно ответил, что сам

Чапек сочинил эту идею просто из банальной зависти. Я наскоро унял восторг, боясь быть заподозренным в том же низком чувстве. Только и до сих пор мне слегка подозрительно чисто спортивное азартное любвеобилие. Хотя и тут не осуждаю я ничуть неутолимую и неиссякаемую жажду.

Только что в немецком городе Карлсруэ видел я коллекцию из более чем трёх тысяч водочных бутылок. Её владелец, почтенный математик по профессии, узнавши, что в России Горбачёв устроил чуть ли не сухой закон, воскликнул, что он должен спасти от забвения русскую водку, и принялся приобретать бутылки. А потом увлёкся, начал собирать все водки вообще - и ныне его коллекция занесена в книгу рекордов Гиннеса, я лично видел диплом.

А в Барселоне - поразительный музей одной коллекции. Скульптор Фредерик Маркес был занят собирательством всю жизнь, и всё отдал родному городу. Его коллекция заняла весь огромный королевский дворец. Но если на первых двух этажах - собрание произведений искусства, то на третьем подлинный апофеоз описываемой нами страсти. Это так и называется - "Музео сентиментал", и не надо никакого перевода. Там собраны подвязки и заколки, украшения и гребни, веера и зонтики, пряжки от ремней и женских поясов, сами ремни и пояса, старые ручки и портсигары, трости и очки, бинокли, фотоаппараты, брелки для ключей и флакончики из-под косметики. Всего не перечислю я, это коллекция, в которой удивительно представлен быт нескольких эпох и поколений. Всё это бесценно - и не только потому, что ничего не стоит, а потому, что этому действительно нет цены - это кусок истории цивилизации.

Осколки старых чашек, пробки из-под выпитых в хорошей ситуации бутылок, разновидности горных, лесных и домовых эхо, записи различной тишины, стихи бездарностей, идиотические объявления, засвеченные негативы красивых видов, - только человек способен собирать такие коллекции. И он усердно собирает их. Но позвольте... Тогда это поразительно напоминает далее отрывок из книги старого российского психиатра Малиновского:

"...Взглянем на того ограниченно помешанного старика, который собрал груду камней, обломков и черепков; видите, он обдувает, чистит и сторожит их; если выходит из комнаты, то с величайшим беспокойством прячет их, озираясь во все стороны, чтобы никто не увидел; торопится возвратиться в комнату и, возвратившись, опять бежит к своей груде камней и черепков, пересчитывает их, руки его при этом занятии трясутся; когда гуляет он, то подбирает лоскутки и обрывки тряпок, клочки

бумаги, небольшие обломки фарфора и всё это приносит с собой и опять собирает новую груду камней и обломков и куски тряпок..."

Перечитав это прекрасное описание, я представил себе разъярённые лица сотен тысяч коллекционеров и испуганно зажмурился. Но не спешите, не спешите бросать в автора камни, автор - тоже коллекционер, тоже маньяк-собиратель, тоже простодушно уверен в познавательной ценности и жгучей интересности его собрания. И многократно из-за этого подмачивал свою и без того запятнанную репутацию.

Уже во многих городах различных стран туземные интеллигенты чуть отодвигались от меня, когда в ответ на их изысканный вопрос, какой музей или шедевр архитектуры предпочёл бы посетить я завтра, слышали в ответ лаконичное: "А блошиный рынок у вас есть?" Ибо на этих барахолках, где торгуют всяким мусором, я нахожу предметы моей страсти. Именно они живут у нас на разных полках, составляя странное собрание: пепельницы всех мастей, фигурки всякие из дерева, металла и керамики, колокольчики, кораблики, утратившая назначение мелкая утварь типа чайника или кадильницы, мне всё не перечислить. Я брожу по рынку не крутой охотничьей походкой, на устах моих - блаженная улыбка: сколько тут всего ненужного! И вдруг на мелочи какой-то ясно понимаю: я хочу с ней жить. И я её везу домой. И лишь жена моя, которая стирает со всего этого пыль, меня, похоже, понимает - я ни слова осуждения не слышу от неё, хотя не слышу и восторгов, распаковывая очередное счастье. А насколько делаюсь я скуп, если приходится случайно что-нибудь дарить - это представить себе трудно. Интересно, что при этом я испытываю стыд, но он нисколько не мешает мне мучиться от расставания с ненужной дребеденью. Как я злюсь и негодую, позже свой подарок видя в знакомом доме, как жалею я, что проявил неосмотрительность и расточительную, свихнутую щедрость! Только поздно, поздно, вся надежда теперь - на какую-нибудь предстоящую поездку. И смешны мне те, кто думает, что еду я за славой, за успехом, заработком или, прости Господи, за творческой возможностью повыть мои стишки публично. Я алчен и неистов в моей мусорной страсти и, возможно, это грех, зато какую бляху для ремня (модель старинного автомобиля грузового) я привёз последний раз с гастролей по Америке! И никому её не подарю.

А если алчность - в самом деле смертный грех, то и повинен в нём не я, а только Тот, кто ниспослал мне эту гибельную страсть - совместно, кстати, с остальными пагубными склонностями.

Остудись во гневе

Признаться честно, я никак не мог понять, почему такое естественное и чуть ли не ежедневное для нас состояние причислено к настолько пагубной и страшной категории как смертный грех. Надеялись церковные мыслители, быть может, Божьим страхом как-нибудь укоротить повсюдное рукоприкладство? Только это вряд ли помогало.

У гнева довольно много синонимов - таких, как возмущение, ярость, негодование, бешенство, раздражение и вообще всяческое серчание в особо крупных размерах. Всё это не проясняло картину. В словаре Даля я прочёл красивые формулировки - "страстная, порывистая досада" и "запальчивый порыв", и тут же содержалось ключевое слово - озлобление. Всё как бы стало на свои места и прояснилось: занесение гнева в смертные грехи диктовалось (по всей видимости) желанием ввести в какие-то берега и рамки вековечную человеческую злобу. Я до обсуждения крайних выплесков этого чувства ещё дойду, а пока что лучше нам поговорить о гневе общечеловеческого, как бы бытового свойства. Сам я столько раз бывал объектом гнева самых разных людей и целых коллективов (так я мягко назову блюстителей советской власти), что мне даже интересно это обсудить. Тем более, что я действительно бывал виновен, а модель моего провокативного поведения - была всегда одна и та же. Мне её нетрудно изложить на простенькой истории былой.

В компании у нас как-то завёлся один приятель, вздумавший построить себе дачу общественным способом: купил себе он дом в разобранном состоянии, а эти доски и брёвна складывал, по воскресеньям собираясь, наш весёлый коллектив. Как мы при этом выпивали, одновременно легко и трудно себе представить, ибо некая была запасена огромная канистра дивного армянского коньяка. Кроме того, на свежем воздухе, в пагубном и освежительном отрыве от семьи - ну, словом, были праздником эти трудовые воскресники. А собирались мы с утра на некой дачной платформе, где в ожидании электрички начинали выпивать по первой. Как-то раз на этой же платформе оказался очень симпатичного облика старичок с огромной удочкой - он ехал на рыбалку и был полон благодушия. Я с ним заговорил о видах на клёв и о различных способах привлечения рыбы на крючок. А так как я заведомо об этом ничего не знал, то вся компания сгрудилась вокруг, нетерпеливо ожидая выяснения, к чему завёл я этот разговор. А что его завёл я неспроста, все понимали, зная пакостность моей натуры. Старичок перечислял

различные наживки, я уважительно подбрёхивал ему, а, улучив момент, легко и вкрадчиво сказал, что рыба всё таки лучше всего ловится на жёваное гавно. Через секунду я уже бежал по платформе, петляя, как опытный заяц, а меня по спине и шее охаживала гибкая удочка рассвирепевшего старичка. Вот эта, в сущности, несложная модель навлечения на себя .гнева как отдельных, повторяю, людей, так и целых коллективов, сопровождала всю мою жизнь, загубленную невоздержанным ЯЗЫКОМ.

Гнев, как известно, удесятеряет силы. Механизмы этого явления уже изучены наукой биохимией (огромный выброс в кровь различных активизирующих веществ), и много раз описаны в литературе. Помните, у Чапека есть замечательный рассказ о полицейском вахмистре, который допрашивает нахулиганившего парня? Увидев, как на том аж берегу реки владелец сада бьет мальчишку, воровавшего черешню, парень ухватил огромный камень и метнул его, попавши в голову садовладельца, Оружие преступления валялось тут же, и вахмистр вдруг понял, бросок такого камня на такое расстояние был мировым рекордом по метанию. Тогда этот затейливый и любопытный полицейский дал парню камень того же веса и велел его кинуть, Камень вяло плюхнулся на середине реки.

- Что же ты? - вскричал раздосадованный вахмистр. И парень ответил ему фразой, чрезвычайно важной для нашей темы:

- Пусть он там станет, и я снова попаду, - сказал он.

Вот что делает с человеком приступ необузданного гнева, Нет числа подобным случаям. Из бедолаг, что эту силу проявили,убив или покалечив человека (чаще всего - близкого), и от-бывают срок в российских лагерях, сделали это в девяти случаях из десяти по пьяному делу. Или по такой дремучей душевной темноте, что это обсуждать не интересно. Хотя я знал такого одного и очень светлого парня.

Я когда в Сибири в ссылке прохлаждался, у нас в бригаде работал очень молодой Алёша - чуть за двадцать ему было, и уже он некий срок оттянул в лагере для несовершеннолетних преступников. А по сравнению с людьми, прошедшими эту "малолетку", хищные рыбы пираньи - просто мелкие караси. Но наш Алеша был парнем тишайшим и невероятного душевного доброжелательства. Я как-то не спрашивал, за что он тянет срок, это не очень принято в такой среде, ко мне же относился он с почтением и чуть ли не с любовью, непрерывно задавая всякие вопросы, ибо любопытен был, и явно теплились какие-то неясные способности. И как-то нас оставили вдвоём, чтоб охранять наше нехитрое рабочее имущество (кирки там были, топоры, лопаты и

ломы - мы ставили столбы электросети), мы немедленно засели с ним за шахматы. Игрок он был сильней меня намного (что нетрудно), и я то и дело брал ходы назад и перехаживал. Он милостиво соглашался всякий раз. И вот, держа уже в руках фигуру, чтобы изменить оплошно сделанный ход, я его спросил, по какой статье он чалится.

- А за убийство, Мироныч, - добродушно ответил он. - Сто вторая умышленная у меня статья. Я дружка своего замочил на глушняк.

- По пьяни что ли?- привычно спросил я.

- Нет, мы ни капельки не пили, - сказал Алёша. - Мы с ним в шахматы играли. На стене ружьё его отца висело, вот оно меня и подвело. А он ходы обратно всё берёт и берёт. Пойдёт сначала, как осёл, а потом перехаживает. Ну, я чего-то и не выдержал.

Фигура у меня в руке заметно потяжелела. Даже не косясь на кучу нашего острого рабочего инвентаря, я вдруг почувствовал его присутствие.

- Раздумал я, Алёша, - сказал я бодро и непринуждённо, - раз пошёл, так и пошёл. Твой ход.

И мы продолжили игру, куря и обсуждая нашу жизнь. Она была прекрасна, но удивительна. Алёша таял от восхищения, когда я в задумчивости повторял двустишие, которое, по всей видимости, было для него первой встречей с поэзией:

Люди женятся, ебутся,
а нам не во что обуться.

Я этот стишок мурлыкал, тщательно обдумывая позицию, а ходы назад больше не брал.

Гнев, застилающий глаза и разум белой пеленой, чудовищное раздражение, как это ни смешно, нас постигает часто в мирных поначалу спорах и является, научно говоря (прошу прощения за эрудицию), кипящим следствием недостатка информации, то есть того увесистого камня, который мы швырнули бы в несогласного с нами оппонента (экий остолоп, упрямый и слепой, а ещё профессор и мыслитель!), но никак не можем этот камень отыскать. И злоба нас охватывает жуткая - вполне возможно, что объявлен был когда-то гнев смертным грехом в эпоху ожесточённых философских дискуссий на религиозные и прочие душеспасительные темы. Спорщики могли тогда так воспаляться (аргументов нет и посейчас), что надо было их заведомо хоть как-то оградить от неминуемого в ярости смертоубийства. Или потасовки на худой конец, которая учёным людям не пристала. То же самое - в семейных несогласиях. Ведь самое счастливое

безоблачное самое супружество никак не обходится без раздражённых споров, и убеждены в своей полнейшей правоте обычно обе стороны. И обе - справедливо. Тут они и взрывы гнева. А Отелло с Дездемоной или Иван Грозный с бедным сыном - только случаи крайние и всем известные. А моя бабушка Люба так умела укрощать свой гнев (а видит Бог, по отношению ко мне всегда бывал он справедлив), что ежели она мне тихо оворила: "Гаринька, хороший мальчик, чтоб ты был здоров!", что я обычно понимал, какая буря клокотала в ней, и даже иногда задумывался. Правда, ненадолго.

А гневы коллектива, общества, толпы - исследуются уже много лет и социологами, и психологами, даже психиатрами, поскольку очень уж известны и значительны последствия такого коллективного умоисступления. Особенно, если его организуют.Часто гнев этот бывает праведным ("пусть ярость благородная вскипает, как волна, идёт война народная, священная война"), однако же бесчисленны примеры и науськанной, искусно взбудораженной ненависти. Она невероятно сплачивает коллектив, нужна теперь лишь искра. И тогда все дружно забывают о греховности порыва, а после - чувство странного как бы похмелья властно и гнетуще охватывает участников. Разумеется, не всех, а только тех, которые продвинулись чуть далее на том пути превращения в человека, что ещё проходит всё человечество.

Тут пора бы вспомнить и о гневе Божьем. Я в этих делах осведомлён довольно мало, и скептически, признаться, отношусь к уверенности большинства в заведомой и несомненной праведности гнева, проявляемого изредка Творцом. Покуда в мире было многобожие, то всяческие жители Олимпа чёрт те что выделывали и со смертными и даже друг с другом. Мы теперь об этом снисходительно читаем в разных древних мифах и легендах. А вот Бог единый - мог бы и посдержаннее быть. Я не про Содом с Гоморрой и не про всемирный потоп хочу сказать, тут дело давнее, не удержался, так бывает с каждым, а про всякое другое, ибо гнев Господень так обилен и глобален, что в его раскаты сплошь и рядом попадают люди неповинные ничуть, об этом Он не знать не может.

Гнев, который усмирён, который сдержан был и взнуздан, гнев, который не был вымещен - тот часто не уходит никуда и сладостно питает жажду мести. В пушкинской "Полтаве" замечательное есть об этом место. Ведь Мазепа изменил Петру совсем не из высоких государственных соображений, а как раз пылая затаённым гневом. На некой давней попойке Пётр в ответ на дерзкие какие-то слова схватил Мазепу за усы и потрепал,

учиня позор и назидание. Мазепа же - "смирясь в бессильном гневе" -затаился и смолчал, но не забыл. "Давно горю стеснённой злобой" - объясняет он свою измену. Столько всякого об этом и таком же в мировой литературе понаписано, что я бы останавливаться более не стал, не знай я некую благоуханную историю о долгожданной мести. Мне её, конечно, рассказала моя тёща.

Это было много-много лет тому назад. Девочке Лиде шёл тогда десятый год, и дивно грустные стихи она писала, и одно даже запомнила:

Тревога тайная на душу мне легла
тяжёлым бархатом былых воспоминаний.

А училась она в третьем классе. И однажды на ботанике её подружка закадычная Ритка Толмачёва подняла вдруг руку и предательски сказала:

- А у Лиды Толстой нет тетради по ботанике!

Тетрадки действительно не было, и учительница на изготовление её дала один лишь день. И до глубокой ночи мама Лиды ей отлаживала тетрадь по ботанике (тёща: не сама же я бы её делала!). И всё забылось, стёрлось, улеглось и обтесалось. Вы так думаете? Много лет спустя, уже они учились в институтах, было им по двадцать, и та Ритка Толмачёва привела на вечеринку Сашку Блюмфельда, за которого горела выйти замуж. На её беду подруга вспомнила тот случай - оказалось, что одиннадцать прошедших лет лишь усугубили пожар былого гнева. И Сашка Блюмфельд был уведен от невесты! Мне он на фиг был не нужен, я его свела за ту обиду, вспоминает тёща сладострастно и злорадно.

Вот я сижу, перечисляю, вспоминаю, а решить я так и не могу: греховен всё же гнев или естественен настолько, что и грех назвать его грехом. Опять же некая логическая связка тут сама собой напрашивается (прошу прощения за ненарошную мыслительность): во-первых, сказано давно, что если Бог решил кого-то наказать, то он лишает его разума. А во-вторых, ничто наш разум не помрачает, как внезапно вспыхивающий гнев. По-моему, такая связка силлогизмом называется. А то, что следует, опять неоднозначно. Следует из этого, что гнев - от Бога. Но зачем Он вводит нас в такое состояние? Чтоб наказать? Чтоб искусить соком выместить немедленно порыв душевный? Я не знаю, Только и учёные не знают. Часть из них считает, что порыв души немедля вымещать, а то различная невостребованная химия в дальнейшем организму повредит. Я где-то прочитал, что

мудрые японцы выставляют в неких специально отведенных местах резиновых огромных кукол, и на них написано начальник, полицейский, тёща и так далее. И кукол этих можно бить, щипать и вымещать тем самым накопившиеся чувства. Но, по-моему, только японцев это средство может утолить, у нас натуру много тяжелее обуздать, отсюда столько заявлений о побоях, на которые полиция в Израиле (милиция в России) смотрит с подобающей ухмылкой. А психологи иной научной школы полагают, что эмоции и можно, и необходимо прятать - это, дескать, и доступно человеку, и полезно обществу. Не знаю. Только не согласен я ни этими, ни с теми. На меня когда кричат во гневе - это, разумеется, неправильно (и даже грех), но я-то почему должен проглачивать обиду или раздражение, понять я не могу. А грех это или не грех - дело десятое, их у меня и без того довольно много. С возрастом легко склониться в пользу хоть какого воздержания. А в том числе - и воздержания от гнева. Так уже понижен уровень энергии и сил, что прямо хоть цитируй назидательно Плутарха: "Гневно нападая на гневливого, мы умножаем грех". Однако же, бывает гнев настолько праведный, что удержать его - грех несомненный, лишь бы сил хватило. Так я подошёл к истории, которую не устаю с восторгом и почтением рассказывать любому встречному.

Со Львом Эммануиловичем Разгоном, царствие ему небесное, я был знаком ещё с шестидесятых, мы в журнал "Знание - сила" вместе хаживали, в нём сотрудничая. Я к нему всегда с большой симпатией относился, но не более того. Он старше был меня на четверть века, и его всегдашняя весёлость мне казалась стариковской наигранностью. Кроме того, я знал, что за две ходки отсидел Разгон семнадцать лет, и по своей тогдашней наглой и зелёной категоричности уверен был, что он о лагерях писать обязан, а не постные и мирные статьи и книжки об учёных. После оказалось, что такую книгу он писал, об этом знали только близкие друзья, но даже эта потрясающая книга о былом и пережитом - тоже никого и ничего не обличала, а дышала ровной и спокойной величавостью зоркого и проницательного летописца. Этим поражая ещё круче - просто был такой характер у этого замечательного человека. Быстро стали мы сходиться, когда я уже вернулся из Сибири (он тогда меня и удостоил первого доверия - дал почитать куски из тайной ещё книги). А в тот день, когда я праздновал свои полсотни лет, обрадовал меня Разгон безмерно. Ему предоставили первое слово, и он сказал мне:

- Игорь, я тебе желаю главного - чтоб ты пережил это блядство!

Мы, по счастью, оба это пережили, с интересом обсуждая, когда виделись, иную форму наступившего в России блядства. Мы

уехали, когда Разгону было восемьдесят лет. И вышла его книга, общий вызвала восторг, он ездил в разные страны, выступал, был счастлив и всё так же весел не по возрасту. Мы выпивали то в России, то в Израиле, похоже было, что ангел смерти попросту забыл о нём. А в это время стали появляться всякие как бы научные статьи, в которых прошлое усердно и самозабвенно бичевали кто ни попадя - особенно из тех, что мышками и червяками ранее отсиживались тихо, а то и были ярыми поборниками режима. А теперь он рухнул, и с самозабвенностью вчерашнего раба топтали эти борзописцы всё подряд. Один из них (с учёной степенью историк) написал, что некогда Глеб Бокий (знаменитый чекист, убеждённый палач и убийца, как они все тогда) устраивал вечеринки, на которых угощал именитых гостей собственными дочерьми. А на одной из дочерей его (погибшей очень рано) был женат когда-то молодой журналист Разгон. И было это более полувека тому назад. Но ложь есть ложь. И пачкание имени умершей лишь потому, что был таков её отец, а нынче всё было дозволено, Разгон счёл подлостью. И праведное испытал негодование. А было ему в это время - девяносто лет! Будем точны - без четырёх месяцев. Подробности мне рассказал Борис Жутовский, которого по давней дружбе Лев Эммануилович попросил быть шофёром и секундантом. Они приехали в институт, где борзописец был научным сотрудником, и дождались в фойе его прихода. Лев Эммануилович спросил, откуда была взята эта ложь. Большой учёный, не сморгнув глазом, ответил, что читал это в деле Глеба Бокия. Вы лжёте, ответил Лев Разгон, я это дело тоже видел, там всего четыре страницы, и никаких подробностей о частной жизни. Значит, я это где-то прочитал в другом источнике, ответил большой учёный. И получил от девяностолетнего старика две оглушительных пощёчины. После чего, мелко петляя (выстрела он что ли ожидал?) этот здоровый зрелый мужчина кинулся бежать в глубь институтских коридоров. А Лев Эммануилович вернулся домой, и они распили с секундантом бутыль водки. Я убеждён, что если на Божий суд будет предъявлен список сотворённого Разгоном добра и зла, то этот смертный грех реализованного гнева будет первым среди добрых дел.

Ещё забавен дикий (ситуации не адекватный) гнев, который мы испытываем, стоя в любой очереди. Миша Туровский изумительный сочинил некогда афоризм: "Очередь подобна скорпиону - весь яд у неё в хвосте". Так вот, заметив некоего типа, который нагло - только собирается ещё втереться! - мы испытываем дикий выброс в кровь адреналина. Я, признаться, думал раньше, что советская это у нас черта - от общей

измочаленности организма в тех бесчисленных очередях, что довелось нам отстоять. Но нет! Такие вспышки острого и нескрываемого гнева выдают в подобной ситуации израильтяне, что бывалые советские пенсионеры переглядываются, сдержанно улыбаясь - чистые английские лорды. Присмотревшись, можно обнаружить, что большинство этих разгневанных мужчин (и женщин - просто фурии в такой момент или скорей эринии - богини мести) никуда особо не торопятся. Тогда откуда таковой накал гнева? Попранное чувство справедливости? (Точней - почти что попранное, ибо я ни разу не видал, чтобы попытка удалась). Не знаю, право. Мне это тем более загадочно, что я, заведомо не торопящийся ничуть и никуда, испытываю это пакостное раздражение в такой же мере. Внешне я ничуть его не выдаю, однако же вскипание в себе зловещих соков с интересом и постыдно ощущаю.

Гнев несогласия, гнев оскорблённости, гнев бессилия... Так велико разнообразие причин, рождающих в нас вулканическое извержение эмоций, что древнееврейский совет - "гневайся тихо" - содержит, может быть, увещевание сперва остыть и удержать вскипающую лаву, чтобы позже предоставить волю действиям, обдуманным холодно и здраво. Только это очень трудно и слегка попахивает (ничего я не могу поделать со своим душевным обонянием) злодейством. Словно тень шекспировского Яго возникает в поле умственного зрения. Но я давно уже вполне научную выдвинул гипотезу, что внутри каждого из нас есть некий наш двойник, диктующий слова и поступки, полярные тому прекрасному образу себя, что мы в себе лелеем и храним. А имя я ему придумал - Альтер Яго. И первым всплеском наших чувств обязаны мы часто не себе, а именно ему. Поэтому всегда разумно обождать и присмотреться, кто же именно в нас возбурлил. Но если поступать по разуму, сказал мне внутренний мой голос, то в гавне по шею насидишься, остывая. Ибо Альтер Яго тоже не дурак.

Я набалагурил эти, в сущности, пустые рассуждения, наверняка ни в чём и никого не убедив. Но так как это не являлось моей целью, то, вероятно, я её достиг. А раздражение, досада и негодование, которые почти что каждый день терзают нас по пустякам - они, конечно, грех, но неминуемый, а значит - не чрезмерный.

Одну великолепную историю про гнев праведный и утолённый я приберёг к концу. Её мне как-то изложил приятель, это всё случилось в сорок девятом году прошлого уже века. Тогда по всей империи отмечалось сто пятьдесят лет со дня рождения Пушкина, и все мероприятия носили обязательный характер. В

частности, большая делегация различных деятелей культуры ездила по Грузии. И разработанный для них маршрут проходил через некое село, находившееся возле шоссе. Деятелей сельсовета строго настрого предупредили, чтоб они придумали какую-нибудь приятную неожиданность, поскольку шашлыки, рога с вином и танцы были всюду. А в селе том жил немолодой и тихий человек, настолько внешностью напоминавший Пушкина, что дети, видевшие портрет поэта в учебниках, частенько бегали за этим человеком и кричали: "Пушкин! Пушкин!", отчего он жутко злился, принимая это за дразнилку. Для бедняги соорудили трёхметровый постамент из кирпича (повыше, чем у памятника Пушкину в Москве - знай наших!) и, на этом постаменте стоя, должен был он прочитать для делегации высокий стих поэта "Кавказ подо мною". Для этой цели выделено было коричневое пальто председателя и его же зелёная фетровая шляпа - чтоб её держать на отлёте, словно бронзовый Пушкин в Москве. Небольшая трудность состояла в том, что этот средних лет грузин почти не знал русского языка, а те слова и фразы, которые он знал откуда-то, не совпадали напрочь с пушкинским словарным запасом. Но к нему приставили учительницу, и за месяц (всё готовилось заранее) он выучил первые несколько строк. В назначенный день он по лестнице взобрался на постамент, а всё село толпилось около. Но делегация задерживалась, по телефону сообщили, что в каком-то городке по соседству никак не могут остановить народные танцы. Пушкин попросился по малой нужде (поскольку прыгать было слишком высоко), ему снова при-несли лестницу, он слез, сходил за угол, но неразумно ополоснул лицо в бочке с водой, отчего потекли сделанные жжённой пробкой бакенбарды. Губы у него шевелились - он усердно повторял осточертевшие ему слова. Вдали на шоссе показались чёрные начальственные машины. Тут и обнаружилась трагедия: они не собирались останавливаться, а лишь чуть сбавили скорость, чтоб не раздавить толпившихся на шоссе сельчан. У всех на лицах выразилась жгучая обида. И в это время с высоченного постамента, словно горный орёл, легко слетел Пушкин, чуть оскользнулся, не упав, и, не выпуская из руки зелёную фетровую шляпу, побежал за набирающими ход машинами.

- Кавказ подо мною, суки позорные! - кричал он. - Один в вышине, козлы вонючие! - кричал он, путая свой и пушкинский словарь. - Стою одиноко у края стремнины, я вашу маму ебал! И рухнул на шоссе, безнадёжно пачкая праздничное пальто председателя. Однако, я уверен, что на его запачканном жжённой пробкой лице блуждала улыбка сладостно утолённого гнева. О каком же смертном грехе может идти речь в таком кристально

чистом случае?

О лени, матери пороков

С душой, заранее стеснённой от неправедности всех моих суждений, всё-таки хочу я сразу заявить, что написать собрался похвалу и панегирик лени. Сам я - очень крупный специалист по этой части, я магистр и гроссмейстер лени, эксперт и мастак, сачок и лодырь высшей пробы (а точнее - уже пробу ставить некуда). Если бы за лень давали премии или призы, я жил бы среди грамот, кубков и медалей.

В этой книге я пишу о себе всё, что сам о себе думаю и знаю, и поэтому все те, кто думает обо мне хорошо, - ужасно огорчатся. Но и те, кто думает обо мне плохо, - огорчатся тоже, потому что плох я - вовсе не по ихней мерке.

Будучи бездельником обдуманно и с малолетства, я баклуши бью сознательно и с удовольствием. Я - праздный человек, но если вы услышали созвучие со словом праздник, то тем легче мне напомнить, насколько коротка наша жизнь, и как душевно важно это время праздновать, а не скорбеть или усердствовать и надрываться. С холодным и спокойным уважением я отношусь к тем людям, что спешат и напрягаются, хотят успеть, достичь, взойти, заполучить, досрочно сделать и в большом количестве. Они того хотят, и дай им Господи. А мне это и даром ни к чему.

И все российские пословицы меня как - будто лично осуждают, хотя многие вполне легко оспорить. Например, однажды и навеки сказано народом: "Не сиди сложа руки, не будет и скуки". Но у меня и так её нет. Или ещё: "Скучен день до вечера, коли делать нечего". Да ничего подобного, ничуть не скучен день, который отдан праздности и лени. Кому скучен - занимайтесь на здоровье чем угодно. Я, будучи отпетой стрекозой, ничуть не осуждаю муравья, даже совсем наоборот: я восхищён им, я его благословляю (лучше, кстати, я замёрзну и помру, чем обращусь к нему за помощью), но и себя совсем не склонен осуждать. Из глубины веков донёсся до меня сочувственный привет великого Монтеня. Мыслитель этот, врач и мэр города Бордо - он написал: "До крайности ленивый, до крайности любящий свободу, я лучше по капле отдам свою кровь, чем лишний раз ударю пальцем о палец".

Спасибо, мэтр, в Вашей фразе есть одно слово, ключевое и краеугольное для всех моих душевных устремлений, и к понятию свободы я ещё не раз вернусь. Но защитительную речь построю лучше по порядку.

Посмотрите: всё, что делал человек в процессе своего развития, он делал для того, чтобы трудиться меньше и легче.

Изобретая рычаг и колесо, паровую машину и двигатель внутреннего сгорания, конвейер и хитроумную автоматику всех мастей и видов, человек активно и целеустремлённо увиливал от физического труда. И ясно всем, что изобрёл стиральную машину тот мужик, которому пришлось по случаю стирать бельё вручную. Но забавны и пути такого творческого озарения. Вот, например.

Какой-то незапамятный тиран из древнегреческого города Сиракузы заподозрил ювелира своего в утаивании золота, которое мошенник заменил избыточным количеством серебра. И Архимеду поручил тиран исчислить, есть ли кража. Всё дальнейшее достаточно известно человечеству: мудрец додумался, как разрешить задачу, и выскочил из ванны с криком "Эврика!". А вот зачем полез он в ванну, когда было ему поручено неотложное дело? Я отвечу: лень и связанный с ней кайф - отец и мать любого творческого размышления.

А Джеймс Уатт, который изобрёл регулировку паровой машины, был когда-то при такой машине мальчиком, который регулировал её вручную. И от чистого порыва улизнуть и увильнуть он изобрёл себе надёжную замену. Ибо пусть работает машина - она железная. Эта позднее высказанная кем-то мысль - девиз и символ нашего изобретательства.

А Исаак Ньютон? Что делал он под яблоней в рабочие часы?

Но если б он сидел в лаборатории, то фиг бы на него упало яблоко. И мы остались бы без знания о притяжении Земли, а то и вовсе без закона о всемирном тяготении.

Нарезав себе маленькие картонные квадратики, на каждом из которых был написан химический элемент, великий Менделеев как ни тасовал эти картонки, а система их расположения никак не получалась. Плюнул Менделеев, чертыхнулся и улёгся спать. И тут ему система элементов заявилась выстроенной, как солдаты на параде. Известно всем, насколько это двинуло вперед наше познание божественного химического хаоса.

Примерам этим нет числа. Итог подбил (не чувствуя, что притчу произносит) физик Резерфорд, когда однажды поздно вечером он заглянул в лабораторию и обнаружил там сотрудника, который с гордостью сказал ему, что допоздна работает. И Резерфорд ему в ответ на это задал гениальный свой вопрос: а когда же вы думаете?

Трижды благословен и почитаем труд, но праздность и расслабленность единственный источник его надежды на облегчение.

При слове "лень" мы неизменно вспоминаем светлой памяти Илью Обломова. Хрестоматийный и великий образ абсолютного лентяя. Много лет назад мне довелось услышать очень

интересную идею: что Обломов - это русский Гамлет. На знаменитый гамлетовский вопрос - "быть или не быть?", Обломов решительно и бесповоротно ответил - "не быть", но так как жизнь сама по себе была ему приятна, он и выбрал свой, ныне классический путь неучастия. А если ближе присмотреться к тем знакомым и приятелям, которые вокруг его дивана укоризненно шуршат, что надо жить активно, упираясь и стремясь, легко увидеть, насколько прав Обломов, что ничуть не разделяет их пустого и бессмысленного усердия. Мне-то лично симпатичен даже лодырь Захар, не стирающий пыль, поскольку всё равно она опять насядет. Ведь и впрямь опять она насядет!

А про лукавого и находчивого лентяя, бравого солдата Швейка я недавно вспомнил, по случайности прочтя в газете некие воспоминания о службе в армии какого-то мне неизвестного, явно способного молодого человека. Он очень быстро обнаружил, что главный принцип устроения солдатской службы (в мирное, разумеется, время) - это постоянная и непрерывная занятость. Никто не должен был шататься без дела - именно за этим зорко и внимательно прислеживало младшее и старшее начальство. Но лень изобретательна и хитроумна, как это ясно видно по всем достижениям человечества, и наш герой нашёл свой путь. Он обзавёлся большой доской, которую время от времени носил по территории военной базы. Изредка он её ставил около дверей столовой - когда было время отобедать, или у дверей офицерского клуба, где пил кофе. Не выпуская доску из рук, спускался он потом в подвал этого клуба, где замечательно крепко спал среди бела дня, а после снова шёл, неся свою шершавую подругу, в дальний какой-нибудь угол, чтобы покурить неторопливо и подумать всласть о тяготах армейской жизни. У него она и ночью находилась под койкой, и приятно было засыпать, помня, что с утра он снова будет занят. И его уже на базе знали все: это тот солдат, что носит доски, и другой работы не поручали. Это счастье длилось две недели. Как-то днём, поспав в подвале, он вышел, сонно щурясь от солнечного света и держа на плече свою верную ношу - и увидел, что все его соратники по службе, собранные срочно по тревоге, каменно стоят в строю -их базу посетил какой-то генерал. Разоблачив, его немедля наказали: был он под конвоем отведен в сортир, где должен был от сих до сих драить пол зубной щёткой. Но как только работа была выполнена, офицер ему сказал без гнева, даже с уважением:

- Ты, парень, не по годам сметлив. Тебе в нашей общевойсковой части с такой сметкой делать нечего, мы переводим тебя в артиллерию, там все такие же сметливые.

И переведен был находчивый солдат - в артиллерийский

полк. Для нашей темы интересно, что в полку этом уже служил некий легендарный в армии лентяй Шмулик. Был он какой-то гениальный математик, и благодаря его расчётам этот полк выигрывал на всех армейских соревнованиях по стрельбе. Он сначала тоже был простым солдатом, но однажды выпало ему ночное дежурство по охране базы. Проверяющий офицер, не найдя солдата Шмулика на посту при въезде, обнаружил его в центре базы, где он под фонарём читал какую-то книжку. Автомат валялся в стороне, офицер его беспрепятственно поднял, направил на часового и спросил, что он читает. Часовой, не поднимая головы, ответил:

- Всё равно ты, остолоп, не поймёшь, это по математике.

- А почему именно здесь? - спросил офицер. Часовой Шмулик, не отрывая глаз от книги, надменно буркнул:

- Потому что здесь светлее.

После отбытия наказания он был переведен в артиллерию, где показывал чудеса стрелковой наводки, ибо то, что ему было интересно, делал этот лентяй отменно и безукоризненно.

В некие смутные уже века цивилизации, когда работа означала выживание, неосмотрительно сболтнул какой-то латиноязычный учитель жизни ставшее крылатым выражение: "Праздность - мать всех пороков". Нам сегодня очевидно, что не просто это не совсем так, но более того - это совсем не так, а вовсе наоборот. Как может быть лентяй завистлив, если ему надо лишь одно - чтобы его оставили в покое? А прелюбодей - лентяй, как вы себе это представляете? Ленивый человек никак не может впасть в испепеляющий греховный гнев - это требует слишком больших затрат энергии и сил. А как бездельник может быть одновременно алчным стяжателем? Но если ко всем смертным грехам и вытекающим из них порокам - равнодушен лодырь, то выходит всё наоборот, и праздность - мать всех добродетелей, поскольку, как учат нас отцы любой церкви: добродетель - это отсутствие греховных даже помыслов и побуждений.

Вступив на узкую и скользкую тропу теологических изысканий, нельзя не вспомнить, что Господь однажды в гневе на Адама и Еву обрёк всё человечество на труд. Потом Господь забыл об этой жуткой каре, амнистию не объявил - проклятие трудом так и висит над нами. Но в таком случае бездельники и лодыри - весьма отважные и решительные личности, поскольку их отлынивание от труда - прямой и дерзкий вызов Богу, отказ от подчинения жестокой Божьей воле, наплевательство на затянувшееся Божье наказание.

Присмотритесь со вниманием: лентяи - это, в сущности, чрезвычайно благородные люди, ибо они сознательно идут на

сужение всех своих жизненных потребностей и отважно пребывают на обочине жизни, спокойно и неосудительно следя за тем, как жизнь потребительского общества кипит всеобщим вожделением, как вокруг них и рядом все бурлят и устремляются, не ослабляя ни на миг железной хватки.

А немыслимая смелость быть наедине с самим собой? Лентяй не растворяется в коллективе, ибо коллектив един в могучем трудовом порыве, а бездельник, лодырь, уклонист - никак не может быть со всеми, он себя осознанно лишает благостного чувства слиянности, сплочённости и причастности к толпе славных современников. Он одинок, и удочка - его подруга.

А если всё-таки лентяй однажды вынужден бывает потрудиться, то никто лучше его не сделает необходимую работу. Ибо, делая что-нибудь, лентяй буквально обливается потом - и не столько от усердия, но более от ужаса, что надо будет переделывать эту работу, и поэтому он безупречен в исполнении.

А как несправедлива и облыжна русская народная пословица - "трутни горазды на плутни"! Никогда лентяй не даст себе труда подсиживать кого-нибудь и затевать интриги. Если же он хитроумен и сметлив, то все усилия его ума направлены лишь на одно - отлынить, увильнуть и закосить. А это разве плутни? Это как раз то направление, коего во все века старательно держалось человечество: избегнуть тяжкого труда, переложить его на механизм или послушное могучее животное.

Забавно, что великая утопия - коммунистическое будущее человечества потому, быть может, и владела с такой силой душами и умами миллионов трудящихся, что в мифе этом содержалось обещание для всех лентяев: "от каждого - по способности, каждому - по потребности". И, таким образом, каждый лодырь, который просто неспособен к регулярному труду, оказывался равен всем при дележе. Довольно низкие это сулило перспективы человечеству, и подлинно высокие духом лентяи это поняли раньше многих трудящихся, в силу чего отлынивали от построения коммунизма с выдумкой и страстью.

И тут пора мне перейти к одному синониму лени, который до поры я вполне сознательно замалчивал. Я говорю о тунеядстве. Советская империя и в этом была страной уникальной: здесь за тунеядство присуждали лагерный срок. Пусть небольшой - всего два года, только эти годы рабства в лагерях принудительного труда на всю оставшуюся жизнь прививали человеку стойкое и злобное отвращение к труду. И это сплошь и рядом были вовсе не опустившиеся алкоголики, довольно часто это были люди, просто потерявшие иллюзии, прозревшие намного раньше остальных. В народе, что печально, к этому унижению божественного

человеческого права распоряжаться собой - скорее относились с одобрением, чем с осуждением. Тут сказывалась подсознательная зависть покорных и трудящихся к тому, кто "эва, что себе позволяет, в то время как другие...". А как в империи отлынивали от работы, числясь на ней - отменно помнят миллионы энтузиастов.

Ибо все люди ленивы - но настолько, насколько могут и смеют себе это позволить. И сегодня на обочинах дороги, по которой, яростно хрипя, несётся всяческий прогресс, живёт несметное количество людей, из общего одушевления ушедших. Многие из них вызывают моё искреннее уважение.

А лично я - уже неисправим, о чём нисколько не жалею. И главу-то эту я писал бы лёжа, но компьютер требует сидения. Это моя единственная уступка. И пусть кинет в меня камень осуждения каждый, кому не лень. Однако же уверен я - никто не кинет. Ибо, как наверняка сказал бы (дай он себе труд подумать) видный классик марксизма-ленинизма Фридрих Энгельс: "Лень - это способ существования белковых тел".

Иного я не мыслю разговора (Этюды любострастия)

Школу я заканчивал в пятьдесят третьем году, последнем году раздельного обучения. Это была вполне обычная для того времени школа. На ней даже было написано - "Средняя школа" - средняя, а не что-нибудь особенное. И я много лет ходил в эту школу, готовясь для самообразования. Но уже повеяло в воздухе какими-то смутными переменами, и поэтому наша мужская школа принялась дружить с женской из нашего же района. Выразилось это в еженедельном устройстве общих комсомольских собраний наших двух десятых классов. Тут я мог бы сильно преуспеть, ибо довольно часто программа этих уродливых и неловких сборищ состояла из двух пунктов: первый - обсуждение дисциплины Губермана, и второй - танцы. До начала каждого такого собрания я успевал добежать до дома и повязать на свою заношенную рубашку отцовский галстук - дивно он, должно быть, смотрелся под лыжным костюмом из какой-то забытой миром толстой фланели, ничего иного у меня не было. Мог бы (мне даже завидовали), но не преуспел, так как болтать напропалую и участвовать во всех затеях было мне естественно и просто, но, завидев рядом существо с косичками (а причёски им ещё тогда не дозволялись), я немел и тушевался напрочь. Кроме того, нас как-то распределили по парам, которые якобы соревновались в учёбе - очевидно, подразумевалось, что мы будем прогуливаться, обмениваясь мыслями о занятиях по различным предметам. Нескольким нашим однокашникам сильно повезло, о чём они и принялись вскоре тихо повествовать друг другу в сортире, где тайком курили и где сам собой возник мужской клуб. А мне досталось тихое и такое же прыщавое, как я в ту пору, существо безо всяких привлекательных примет своего пола. Я ему был столь же чужд и странен, как оно мне, и обоюдная неловкость от взаимного отталкивания-притяжения могла бы нас даже сблизить, но не случилось. Вот таким уродом я и вырос. Если к этому ещё добавить, что в крохотной уборной нашей коммунальной квартиры (потолки высокие, тусклая лампочка под самым потолком) я к той поре уже прочитал несколько томиков запрещённого мне мамой Мопассана (а не запретила бы - не стал бы), то легко себе представить, что за сны мне снились, и какие обуревали меня помыслы и фантазии. Нет, я не уподоблю эту ситуацию монашескому искусу, ибо у монахов были вера и молитва (хочется думать), а у меня - лишь безнадёжное

вожделение. Мерзкие и тяжкие сохранились у меня воспоминания об этом времени, и прекрасная (по общему заблуждению) пора возмужания крепко у меня подпорчена и даже изгажена той ненормальностью, что выдумало время. Как выразился один лектор той поры: "Вы ведь, ребята, об одном мечтаете - как завести комсомолку в тёмный парк и поступить с ней легкомысленно".

Остро вспомнил я то время полвека спустя, оказавшись на прямо противоположном полюсе этой сферы человеческой жизни - в Амстердаме, в районе красных фонарей, на эротическом шоу "Живая любовь". Программу не могу не изложить, ибо она уж очень-очень отличалась от совместных комсомольских собраний в нашей школе.

В полутёмном уютном зале сидело человек двести. Начиная с семи часов, действо это шло нон-стоп, человек приходил на час и уходил, когда обнаруживал повтор, так что любители могли сидеть сколь угодно. Мы пришли к некоему началу, по всей видимости, ибо девица чудных форм, проворно раздевшись в такт нехитрой музыке, танцевала, сладострастно обвивая собой некий фаллический светящийся столб. Всего их было два, они были явно символами мужского начала, внутри них струился световой поток, и девица поровну разделила между ними свою сценическую страсть. Вторая плясунья раздевалась на вертящемся кругу и принялась изображать любовную гимнастику в одиночку. Что-то время от времени поблескивало в её черноволосом треугольнике, а что фокус состоял именно в этом, выяснилось, когда она медленно и плавно вытянула у себя из влагалища метровую - не менее того цепочку (вроде мусульманских чёток) из зелёных шариков размером с грецкий орех.

Тут я просто не могу не сделать некое филологическое отступление, посетовав на бедность русского языка по части называния самых интимных частей нашего тела. Я не люблю слово "влагалище", но иного, к сожалению (не считая неформальной лексики) просто нет. В романах Миллера, свихнувших воображение уже доброго десятка русских писателей, то и дело употребляется слово "вагина" - оно мне нравится не больше. Кроме того, Миллер пользуется им так часто, что невольно возникает некий чисто трамвайный образ вагиновожатого, что действует нехорошо на уважение к писателю. Увы, иного слова нет, и да простят меня все гинекологи, что мне употреблять и далее придётся слово из их рабочего словаря.

Итак, прелестная плясунья вытащила эту жуткую зелёную гирлянду и победно помахала ей, показывая публике, после чего стремительно упрятала во рту. Всё это совершалось плавно и под

музыку.

Я время от времени чуть оборачивался в задние ряды, чтобы хоть мельком посмотреть на лица зрителей - они были недвижны и бесстрастны. Разве что у японцев (или китайцев?) блестели на лице капельки пота. Увлечённость наших мужчин (там было с половину нашей туристской группы) выдавала только снисходительная улыбка. В конце каждого номера, впрочем, зал дружно и нестройно аплодировал. А лично я изо всех сил бил в ладоши, чем шокировал, по-моему, своих спутниц, но мне и вправду было очень интересно, а я зритель, не лишённый чувства благодарности.

Номер, что пошёл затем, достоин был бы цирка - при условии, конечно, что туда бы не ходили дети. Медленно разоблачившись, тонкая и гибкая танцовщица вежливо уселась лицом к залу, аккуратно вставила себе свечу в это же заветное место, зажгла её, нашарив сбоку спички, после чего принялась исполнять на круге виртуозные акробатические пируэты. Свеча не выпадала и не гасла. Почему-то этот гибкий живой подсвечник произвёл на меня самое сильное впечатление - я извертелся по сторонам, ища сочувствия своему восторгу. Все, однако, были так невозмутимы, словно наблюдали это каждый день или умели делать сами. В стоимость билета, кстати, входили два бокала (вино или коньяк на донышке), а у меня (я опытный турист) было с собой во фляжке, что эстетической чувствительности всегда способствует.

Когда назавтра я с упоением пересказывал виденное другу Саше (он не пошёл, поскольку видел это некогда и вообще пижон), то он в ответ мне снисходительно сообщил, насколько это детские игры по сравнению с Тайванем (или Индонезией), где танцовщица заправляет себе шарик от пинг-понга, после чего выстреливает шариком в мишень - и попадает. Ему это рассказывала дочка.

И пошла живая любовь. Три пары поочерёдно делали под музыку на вертящемся кругу то, что веками люди делали интимно и сокрыто от постороннего глаза. Слегка потанцевав, они раздевались, трогательно имитируя вожделение, после чего партнёрша ртом помогала мужику придти в рабочее состояние (у одного это никак не получалось, и она помучилась с ним довольно долго, а он ёрзал виновато, но не прекращал подтанцовывать), и он в неё медлительно вставлялся. Они изображали страсть в различных позах большей частью обиходных и общепринятых, поскольку изощрённость Кама-Сутры не входила, очевидно, в планы режиссёра. Актёрские изыски мимики, которые так любим мы в кино, в обязанность им тоже не

вменялись, поэтому совокуплялись они с лицами бесстрастными и отчуждёнными - как манекены. Только одна из них пригласила, видимо, в зал своих приятелей или соседей они ютились где-то на галёрке - и она, когда партнёр поставил её на четыре точки, время от времени вскидывала голову, проверяя, видят ли знакомые её сценический успех. Я мысленно прикинул, что за ночь каждая пара делает это раз десять-одиннадцать (поскольку каждый час), и так же мысленно вздохнул о тяжести актёрского труда моих коллег.

Потом пошёл повтор, опять смотреть, как трахается бедная женщина со светящимся фаллическим столбом, было уже грустно, и мы все потянулись на улицу. Несколько туристов из нашей группы, смотревшие шоу с особенно снисходительными и скучающими лицами, остались на второй сеанс. Мы обсуждали виденное вяло, каждый думал о своём, а пожилая наша спутница сказала то как раз, о чём размышлял и я: увидь я это в молодости, медленно сказала она, я прожила бы свою жизнь во многом по-иному. А жена моя любимая Тата была полна такого омерзения, что я старался не смотреть в её сторону (она заведомо отказывалась идти, мы её просто уговорили), а когда мы пришли уже в гостиницу, и она высказала мне всё, что ощущала, я не выдержал и робко её спросил:

- Ты со мной теперь никогда уже не будешь?

- Думаю, что нет, - грустно ответила жена.

Вот между этими двумя полюсами (Москва пятьдесят третьего и Амстердам двухтысячного) укладывается всё, что слышал я от разных приятелей, переживал сам и с кем-то обсуждал. Мозаика историй про любовь (точней - о странностях любви) всплывает в моей памяти отрывисто и хаотично.

Был я некогда возмутительно молод и срывал, где ни попадя, цветы удовольствия. Только-только мне исполнилось двадцать пять, работал я инженером-электриком и был послан в Ленинград в командировку. Кинул чемодан я в однокомнатной квартире своего друга (о гостинице в те светлые годы мечтать было нечего), а вечером пошёл к одной приятельнице, помня о бесчисленном количестве её знакомых и надеясь, что судьба в её лице пошлёт ночлег. Попал я на прощальную пьянку. Уезжала она в отпуск, её шумно провожали, я стремительно включился в общий трёп, забыв почти о цели своего прихода, а спустя примерно час она меня позвала в коридор и нечто дивное мне сообщила жарким шепотом:

- Ты чистый Казанова, - сообщила мне она, - тихоней прикидываешься, а колешь девичьи сердца, как блюдечки.

Она была филологом, а от занятий каждый день

техническими переводами лечилась вычурностью устной речи, так что я пока не удивился.

- Ты на ту блондинку, что сидит тебя наискосок, почти ни разу и не глянул, а она на тебя глаз положила. Я в двенадцать уезжаю, можете здесь оба оставаться. Ну, ты счастлив?

Я хотел изобразить лицо бывалого мужчины, но оно меня не слушалось. Мы вернулись в комнату, блондинка в мою сторону даже не глянула, и я к ней тоже не подсел, но когда все ушли, она осталась. Была она знакомой знакомых моей приятельницы, а сюда приехала (врач-рентгенолог) на какие-то курсы повышения квалификации. Тут я прыснул и сказал, что попала она точно по адресу - она зарделась, но не удержалась от смеха, и ледок от необычной ситуации растаял на глазах. Мы прожили дня три или четыре в огромной и насквозь пустой коммунальной питерской квартире (все куда-то расползлись на лето), и нам было очень хорошо. А ночью мы, не одеваясь, ходили на кухню и варили себе кофе в огромной оловянной кружке - из таких пили солдаты в кинофильмах моей юности. Я в те годы был заядлый кофейник - знал сорта, сам молол зёрна, потому-то и запало в память необычное название купленного на ближайшем углу кофе - Плантейшен. Я в Москве не знал такого. Но о том как раз и речь.

Расстались мы, как и сошлись, - спокойно и взаимно благодарно, даже адресами, как мне помнится, не обменялись. Образ двух весенних птичек, слетевшихся на общей ветке, как нельзя точнее передал бы ту ситуацию. И большее, пожалуй, удивление, чем от доставшихся трёх ночей случайной близости, осталось у меня от вкуса кофе, который я в Москве не видел ни разу, хоть ходил специально в тот известный некогда кофейно-чайный магазин на Кировской (теперь Мясницкой, как известно). Я спрашивал его в том магазине, продавцы недоумённо пожимали плечами, вскоре я нём забыл - в такие годы жизнь мелькает очень быстро. А спустя лет пять (не менее) попал я снова в Питер, шёл - почти бежал - на киностудию (опаздывал к редактору) и остановлен был густым кофейным запахом из магазина на углу возле Московского вокзала. На витрине прилавка я среди других обнаружил кофе Плантейшен. Я его, по-моему, килограмм сразу купил, а горстку попросил мне помолоть. И позвонил редактору - он жил недалеко от студии и из дому ещё не выходил.

- Старик, - сказал я ему, - давай свидимся у тебя дома. Мы сейчас будем пить кофе, лучше которого ты не пил в жизни. И я тоже не пил лучшего, поверь старому кофейнику.

- Голос у тебя скорей похож на старого чайника, - ответил многоопытный редактор. - Что-нибудь случилось? Я тебя жду.

И я приехал. Мы немедленно сварили кофе. И мне стало

жутко грустно, ибо кофе был обычен, как обшарпанные стены кухни, где мы сидели. Я рассказал хозяину свою историю, и он, бывалый сукин сын, со снисходительной усмешкой выслушал меня. Потом он подошёл к телефону, позвонил кому-то, я насторожился, чтоб обидеться, но он звонил какому-то знакомому гурману. А вернувшись, объяснил мне, что обычный кофе самого распространённого сорта Арабика - у них в Питере наименован почему-то как Плантейшен, и моя восторженная память связана отнюдь не с кофе, что ничуть не умаляет моих вкусовых свойств. А я сидел, печалясь и размышляя, думал я о странностях любви, и редактору довольно быстро стало ясно, что за бутылкой следует бежать ему. Что он и сделал.

История вторая - о другом. В одном немецком городке я встречен был местным устроителем концерта, мы пошли пить пиво и довольно быстро ощутили нашу общность в этой жизни, ощутили те взаимные приязнь и интерес друг к другу, что зовутся почему-то химией на сегодняшнем интеллигентном жаргоне. На предложение моё поговорить о странностях любви он реагировал с восторгом и пересказал недавний разговор свой со старинной приятельницей, встреченной случайно в его городе. Они зашли куда-то выпить, и она сказала:

- Ты, наверно, ходишь трахаться в бордель, у вас их тут полным-полно, все мужики рассказывают, как вернутся.

- Нет, - ответил он задумчиво, - ты знаешь, я за деньги не могу. И не потому, что денег нету или жалко, просто не могу и всё тут.

- Ой, тогда приезжай к нам в Россию, - воскликнула она, - у нас ещё по-прежнему бесплатно сколько хочешь.

- Нет, - ответил он печально - я уже и так, как в молодости, не могу, как кошки - сошлись и разбежались.

- А как же ты да можешь? - спросила она недоумённо.

- Знаешь, - сказал он честно, - я уже могу только по любви.

- Бедный! - искренне выдохнула она, - Значит, ты уже совсем не трахаешься!

А монолог одного вьетнамца в памяти моей хранится много лет - он некогда учился с моим другом в одном институте. Поначалу он учился где-то в Италии, потом во Франции, а после у родителей иссякли деньги, и приехал он учиться в государство, обучавшее бесплатно, то есть в щедрую советскую империю. А говорил он, отвечая на расспросы, с дивной лаконичностью:

- Очень хорошая женщина - молодая итальянская женщина. Очень много страсти надо молодая итальянская женщина. Очень тоже хорошая женщина молодая французская женщина. Очень много денег надо молодая французская женщина. Самая хорошая

женщина - молодая русская женщина. Ничего не надо молодая русская женщина!

Мало достоверную историю о космонавте Армстронге излагали мне с поминутной клятвой, что подлинная. Он ведь, как известно, первым побывал на Луне, там же произнёс перед камерой свои знаменитые слова, что маленький его шаг по Луне есть на самом деле огромный шаг всего человечества, и это всё, что я о нём знаю. А оказывается, чуть отвернувшись в сторону и улыбнувшись, произнёс он ещё слова загадочные - будто бы сказал он: "Гуд лак, мистер Хатсон". То есть, пожелал удачи некоему неизвестному лицу (фамилию могу я путать, суть не в ней). И будто бы с тех пор, как ни терзали его журналисты и другие любопытные, Армстронг молчал, как советский партизан на допросе. Но прошло время, он решил, что уже можно, и рассказал. Его соседом (у них были рядом дома) некогда был человек с упомянутой выше фамилией. Они, как водится у американцев, совершенно не общались друг с другом, лишь раскланивались, изредка встречаясь, только как-то утром вывели машины из гаражей одновременно и вместо формального всегдашнего "Как дела?" - сошлись и незаметно разговорились. Так открыто и настолько хорошо разговорились, что сосед - абсолютно вопреки американской традиции замкнутости дел семейных - вдруг посетовал Армстронгу на некую неполноту своей семейной жизни. То есть, как бы всё там обстояло хорошо, однако же его жена давно уже и наотрез отказывала ему в оральном сексе. И будет от меня тебе оральный секс, в запале говорила она ему в ответ на упрёки, не раньше, чем нога человека ступит на Луну. А через какое-то время космонавт Армстронг ступил на Луну. Каково же было самообладание этого человека, если он и там внезапно вспомнил о соседе-бедолаге!

С этой историей содержательно рифмуется случай моего восхищенного изумления перед человеческим талантом. У нас тут в Иерусалиме жил симпатичный мужик Саша Елин. Я говорю это в прошедшем времени, поскольку он теперь в Россию возвратился. Многих уехавших евреев туда тянет, как известно, не слабее, чем козла - в огород, а преступника - на место преступления. Саша когда-то сочинил великолепное одностишие -"скажи отцу, чтоб впредь предохранялся". Многие теперь приписывают его себе, но я-то знаю подлинного автора. И вот мы как-то ехали в машине, и я Саше этому сказал:

- Старина, я знаю, что вы пишете стихи, и вы настолько благородны, что ни разу мне об этом не сказали. А давайте-ка проверим вашу рифмовательную жилу. У меня две строчки есть, а ещё две я к ним никак не сочиню. Попробуйте?

И я прочёл ему две никчемных строчки, развивать которые довольно было тяжко, ибо в них ни мысли, ни завязки темы не было:

На седьмом десятке лет
деду сделали минет.

Но Саша вызов принял. Он минут, наверно, двадцать помолчал, раздумчиво сопя, а после гениально продолжил:

Дай вам Господи, отцы,
как тот дед, отдать концы.

А теперь меня сквозь время и пространство переносит память в Башкирию, где после института я работал машинистом электровоза. В оборотном пункте (это место, где кончается маршрут бригады, и где мы, немного отдохнув, принимали встречный состав, чтобы вести его обратно) - в городке Абдулино был так называемый бригадный дом, где можно было душ принять, поесть и отоспаться. Там работала буфетчицей огромная расплывшаяся баба с мятым и давно уже непривлекательным лицом (ещё немало безобразили это лицо следы от оспы), с визгливым истеричным голосом и мерзейшими повадками советской продавщицы со стажем. К этой бабе наши машинисты в очередь стояли, чтобы переспать, не раз и мне с восторгом говоря, что это нечто умопомрачительное, и дурак я полный, что так морщусь. Я тогда стал исподволь поодиночке их расспрашивать, и только из третьего или четвёртого рассказа смутно высунулась истина и подоплёка общего восторга и влечения. Вернее, я её не сразу опознал. И в ужас я тогда пришёл по молодости лет. Оказалось, что таинственной изюминкой в этой кошмарной с виду и немолодой женщине была некая особенность её постельного поведения: дурным и громким голосом во время траханья она безостановочно кричала одно слово. "Зарежу!" - кричала она каждому мужику. И они получали от этого аккомпанемента странное и сильное удовольствие. Это было, по всей видимости, нечто вроде острой приправы к их обыденно усталой семейной жизни, где давно уже секс превратился в забаву бытовую и рутинную, вроде будничной гигиены тела.

Надо бы вспомнить что-либо высокое, а потому здесь будет кстати некая история о мужском благородстве. Я человека этого уже не застал, он дружил с Сашей Окунем - от Саши и история. Шломо Вебер был еврей из Литвы, совсем юношей ушёл на фронт,

а в Вильнюс свой когда вернулся - обнаружил, что всех его родных и девочку, в которую он был влюблён, - перебили литовцы ещё до вступления немцев в город. Больше он там жить не мог. Он переехал при первой же возможности в Израиль, стал работать в Иерусалиме на радио, а всё свободное время проводил в путешествиях - спал он с женщинами во многом множестве стран. Это увлечение занимало его целиком, больше он ничем в жизни не интересовался и ни о чём ином не разговаривал.

- И какая же у тебя была самая лучшая? - естественно, спросил однажды Сашка.

- О, самая лучшая была у меня в Эфиопии! - с уверенностью ответствовал Шломо.

- Чёрная? - плотоядно изумился Сашка.

- Что вдруг? - сказал Шломо, - Секретарша директора нашей авиакомпании.

И вспомнил, кстати, что была у него однажды и девица из России.

- Судьба как-то занесла меня в Индию, - повестнул он. - Там были соревнования волейболисток со всего мира. И я с одной девчушкой из России там случайно познакомился. Большая, с изумительной фигурой, дивное лицо, глаза лучистые, коса до попы, ей она играть мешала, но она не стриглась полное счастье. Мы с ней полностью нашли общий язык, по городу бродили, где-то выпивали в забегаловках, хотя они и числились как рестораны, обсуждали всё на свете...

- А постель, постель-то? - нетерпеливо спросил Саша. - Как она была в постели?

И сказал Шломо в ответ редкостного благородства фразу:

- А постели не было, я её и пальцем не тронул. Она вся такая юная была, а я смотри, какой уже потрёпанный - я боялся уронить честь своего народа.

Но пора мне вспомнить о сибирской ссылке, я себя однажды там таким почувствовал фраером и лохом, что приятно рассказать об этой даме. Не могу пожаловаться, что мне там не хватало общения - мы и с женой каждый вечер выпивали, обсуждая всё на свете, на работе сплошь и рядом попадались уголовники, от которых я не мог отлипнуть, любопытствуя, и местные порой рассказывали за бутылкой всякое про раскулаченных родителей, когда-то чудом выживших в этих краях, а летом навещали нас друзья и родственники. Но всё-таки раскидистого трёпа за всю масть и всю культуру - как бывало на полночной кухне у меня или друзей - мне, очевидно, не хватало. Потому что, когда в нашей каморке для дежурных электриков появилась некая малярша-штукатурша, с ходу меня спросив то ли

про Камю, то ли про Сартра, я взорлил, как полковая лошадь от военной музыки. Каторжной работой этой штукатурить необъятные поверхности большого здания, а после красить их занимались исключительно женщины. Расплывшиеся от целодневной физической нагрузки, наглухо одетые (холодная сырость и неотвратимые брызги раствора) в ватники, заляпанные краской и цементом, такие же брюки (в ещё более кошмарном виде) и косынки до бровей - на женщин походили они мало. Ругань их была тяжёлой, неуёмной, походила более на вздох угнетённой твари (как писал Карл Маркс о назначении религии), короче - равноправие женщины достигло тут, как и многое другое в империи, предельного и дикого воплощения. И та, что заглянула, чтобы поболтать со мной о ком-нибудь из жизни не отсюда, от коллег своих ничуть не отличалась. Некогда закончив театральное училище в Ташкенте, вышла она замуж за какого-то местного человека, а когда поняла, что он законченный и безнадёжный наркоман, уже родились двое. Подалась она в Сибирь на заработки, выживая вот такой ценой, чтобы поднять детей. Ей было меньше тридцати, и голос молодой, а на лице уже обосновалась тень той жизни, что досталась ей в богатой заработками Сибири. Что ни день, она заглядывала к нам, и Станиславский был бы счастлив, слыша, как мы говорили о его системе (до сих пор я ничего о ней не знаю, но разговор поддерживал легко). А от Лопе де Вега до Набокова гуляли мы привольно, как вор на отдыхе - по вокзальному буфету (феня у всех этих штукатурш была отменная - годами они работали бок о бок со шпаной, пришедшей из тюрьмы). Она ждала моих дежурств и приходила ближе к обеду, чтобы лишних было четверть часа. Как только она входила, мои напарники вставали и растворялись где-то в здании. Я их тактичность искренне воспринимал как нежелание участвовать в чужой и невнятной разумению беседе. Так недели две прошло, и как-то посреди её горячечно-любовных слов о Бунине в дверь осторожно заглянул мой приятель, полчаса назад ушедший с её появлением, а тут возникший. Надо было срочно менять воздуходувки, которые сушили стены. Собеседница моя немедленно ушла, жарко договаривая что-то о Бунине, а мой приятель на меня смотрел как-то глумливо, чуть ли не презрительно, и я его, естественно, спросил, в чём дело.

- Ты чудак на букву "м", Мироныч, - пояснил мне приятель. - Ты сидишь, курлычешь и курлычешь, а ведь ей не Бунин нужен, а ебунин. Мы зазря что ли уходим? За тебя обидно. Ведь не глупый с виду человек.

До сих пор не в силах объяснить я - даже сам себе, отчего залился краской стыда и грусти. И забавно, что подслушав словно

этот разговор, ко мне она уже не приходила. Здоровалась, не отводя глаза, порою улыбалась, но закончились, как их отрезало, высокие беседы о культуре. Если честно говорить, мне ещё долго была обидна очевидная правота моего приятеля. Я клекотал, как образованный осёл, истосковавшийся по интеллигентскому трёпу, а меня клеили на предмет вульгарного употребления.

Глава эта была бы не полна без краткого упоминания о том кошмаре, что когда-то пережил мой приятель. Бывалый многоопытный ходок, однажды познакомился он с юной дамой, занимавшейся балетом и всяческими изощрёнными танцами. Довольно быстро сговорив её на тайное свидание, привёл куда-то, куда всех, налил по рюмке - раздеваться они начали одновременно. Всё было привычно и легко. Она уселась на него с завидным проворством, он тоже любил эту позу, им обоим оказалось сразу очень хорошо. И тут - рассказывая это (слышал раза три), приятель мой зажмуривал глаза, переживая заново - она запела. Оперную арию. Во весь голос. Продолжая совершать все нужные движения, но ещё и чуть раскачивая головой в гармонии с вокалом. Ужас, обуявший моего приятеля (а видывал он всякое и разное), словами был явно непередаваем - он возводил глаза к небу, взмахивал руками и пошевеливал пальцами, словно музицировал на пианино или лихорадочно пытался нащупать что-то в полной темноте. А мысли - он рассказывал о них - очень забавные текли и очень поучительные: если не стану импотентом, думал он, то больше никогда не буду изменять жене.

Конечно же, о странностях любви писать серьёзно - глупо и неосмотрительно, ибо веками тысячи различнейших людей описывали это дивное состояние со всеми присущими ему нюансами И тонкостями изъявлений. А впрямь со всеми ли? И ярая надежда что-то высказать отъявленно своё, вновь и вновь ведёт перо моих коллег. И часть из них (счастливые люди) уверена в успехе. Я бы в назидание нам всем печатал всюду вечную, по-моему, нетленную историю о том поэте-идиоте (он уже покойник, так что имя ни к чему), который как-то запоздал к обеду в доме творчества, а на вопрос, чем он был занят, ответил лаконично и величественно:

- Писал сонет о любви.

И, помолчав, добавил:

- Закрыл тему.

Хоть помню я пример этого счастливого человека, удержаться не могу. И наплевать мне, если то, что я хочу сказать, уже десятки или сотни раз написано в нечитанных мной книгах. Нечто есть, так остро пережившееся лично мной (да и поныне мне знакомое),

что нестерпимо хочется сказать всерьёз и вслух. Ибо одна из ярких странностей нашего чувства состоит в том, что любовь - это постоянный и неизбывный страх. Нет, нет, не потерять любимую, об этом знают все, я говорю о страхе обидеть. Нечаянной шуткой, неловким словом или даже взглядом, я уж не говорю о поступках. И забавно мне, что этот страх тянется не годами, а десятилетиями. Страх этот часто раздражает, но такой он непременный спутник всякой близости и преданности, что любовь в этом смысле - самая изнурительная из благодатей, нам дарованных природой.

Ну, а коль упомянули мы боязнь потери, то ещё одну историю я не могу не вспомнить. В шестьдесят каком-то плыл я по Енисею из Красноярска в Дудинку, был я журналист, и капитану мелкого пароходика было со мной пить столь же лестно, как и мне с ним. А когда мы проходили (день на третий с отплытия) пару маленьких поросших лесом островков - я их названия помню и посейчас - Кораблик и Барочка, то повестнул мне капитан, что года три назад он увозил отсюда на судебно-медицинскую (точней - психиатрическую) экспертизу местного бакенщика.

- Понимаешь, - говорил мне капитан, - этот мужик в гражданскую войну пристал к какому-то отряду, уж не знаю - белых или красных, только драпали они в тайгу и заблудились там, и стали подголадывать - охота, видно, их не выручала или стрелять боялись, чтоб не обнаружиться. Короче говоря, кого-то они съели из своих. И стали как бы людоедами, А скольких они съели, я не знаю, но мужик этот, он вкус человечины запомнил на всю жизнь, рассказывали мне, что так бывает. После он сюда в деревню возвратился, оженил его родитель, порыбачил он немного и на эти островки определился. Бакенщиком он работал много лет, и не упомнит уже никто, сколько именно. И баба его там же с ним. Потом и дочка завелась.

История текла неторопливо, суть её мне проще вкратце изложить, поскольку капитан ударился в психологические изыски. Бакенщик, как оказалось, всё никак не мог забыть вкус человечины. И принялся он изводить самые передовые советские кадры: отловил геолога заезжего, а после картографа из Красноярска. Их искали, но такая версия, как бакенщик убийца, никому и в голову не забредала. А делился ли с женой он неизвестно, потому что вскоре наступил с передовыми кадрами перебой, и бакенщик зарезал и жену, и дочь. А может быть, они что-то обнаружили, и он поэтому их ликвидировал. Жену он засолил.

И в этом месте капитан, человек тонкий и политесный, глянул мне усмешливо в тарелку и потом в глаза посмотрел.

Закусывали мы толстыми ломтями жареной свинины. Я напрягся, и кусок у меня в горле не застрял. Мы чокнулись и вкусно выпили.

На лодке сплавал бакенщик в деревню, заявил в милицию о пропаже, по реке спасатели их поискали сетью и баграми - бесполезно. А немного погодя нагрянули на остров с обыском, и всё так явно обнаружилось, что бакенщик не стал отпираться, дал чистосердечные показания и был отправлен на психиатрическую экспертизу. Больше капитан ничего не знал, в деревне тоже все поговорили и забыли.

Для чего и почему я вспомнил тут эту кошмарную историю? Чтоб изложить вам капитанские слова в её конце. Он закурил и подмигнул мне:

- Ты смекаешь, как его разоблачили и почему заподозрили? И тут я спохватился, что и правда не смекаю.

- А что бабу он свою искать поехал, - объяснил мне капитан. - Кто ж это станет искать пропавшую бабу? Нет её, и слава тебе, Господи. А он поехал. Ты теперь смекаешь?

- Вроде да, - ответил я смущённо. Был я молод, романтичен и не из этих, слава Богу, краёв.

Эта история из памяти моей ушла бы навсегда, но двадцать лет спустя всплыла отчётливо и ярко. Снова я в Сибири был, но в качестве уже не журналиста, а ссыльного вчерашнего зэка. И такие были все мои коллеги. А историю про бакенщика вспомнил я в Сибири по вполне аналогичному поводу. Приятель мой Семёныч, тихий немолодой человек с отчётливой интеллигентинкой в повадках, досиживал свой срок за убийство жены. Его статью я знал доподлинно, ибо Семёныч этого не только не та- ил, но более того - был у него некий номер, который он разыгрывал с любым зашедшим в нашу бытовку свежим слушателем. Мы чифирили или выпивали, а когда закуривали все и блаженно посапывали, доставал Семёныч как бы ненароком фотографию своей жены покойной и рассказывал, не торопясь, какая она была ладная и умная, его любила и фигуристой была, как хорошо она готовила и дом в порядке содержала. Слушатель плавно вёлся на этой удочке и, в конце концов, не мог не спросить - а что же, мол, Семёныч, ты её тогда пришил на глушняк? И наступал момент истины, Семёныч только этого вопроса и ждал, и мы его все ждали, замирая. Ибо тоном, какой ни одному великому артисту в самых дивных снах не снился, отвечал Семёныч медленно и лаконично:

- Надоела!

Давно уже пылится в моей записной книжке замечательный факт о нашей эмиграции: заполняя в Америке какую-то въездную

анкету, многие спотыкались на графе, какого они пола. Английское слово, означающее пол, читается вполне понятно для русского разумения, как бы даже не нуждаясь в переводе: секс. И, сразу суть ухватывая, многие из наших отвечали: два раза в неделю. Или три. Или один, тут важно единомыслие ответов. Записал я это, посмеялся и забыл, однако же история спустя год получила дивное продолжение.

Одна американская чиновница, подучив русский язык, вознамерилась попробовать его на одном из приезжих - высоком молодом красавце откуда-то из-под Баку.

- Вы графу "пол" заполнили неправильно, - сказала чиновница, волнуясь. - Тут надо писать не сколько раз в неделю, а мужчина или женщина.

- Это для меня безразлично, - ответил молодой красавец. Много раз задумывался я, нельзя ли как-нибудь измерить накал любовного влечения. Даже расспрашивал учёных, но поскольку они были мои сверстники, то принимались пакостно улыбаться и несли такое, что я чувствовал себя святым отшельником, по нечаянности зашедшим в бордель. Но смутно чувствовал, что есть какая-то незримая, но субъективно ощутимая мера душевных что ли затрат, которая порой мешает, например, кинуться в самую прельстительную любовную авантюру. И однажды как-то убедился, что такая мера существует. У меня приятель есть, давно уже освоивший эстраду и большой имеющий успех у слабого и впечатлительного пола. На одной из пьянок после концерта явно была склонна облагодетельствовать его одна юная девица: издали она кокетничала с ним и всё пыталась пересесть поближе. А когда ей это удалось, то деловито наклонилась она к уху приятеля и пылким шепотом его оповестила, что попозже чуть она придёт к нему в гостиничный номер. То ли у приятеля какие-то другие были планы, то ли этот яркий пламень страсти не хотел он разделить, но только ум его лихорадочно заметался в поисках необидного отказа. С ним такое было редко, но формулировку он сыскал блестящую и быстро.

- Девонька, - сказал он ласково и тихо, - я был бы счастлив, но есть одна загвоздка. Понимаешь, я уже немолод, и пошаливает сердце... Словом, если я умру, ты сможешь меня быстренько одеть?

Пылкая девица тихо ойкнула, её как ветром сдуло. Больше она даже не смотрела в его сторону.

Так убедился я в своей догадке давней, что у любострастия есть некие предельные границы. Это в смысле потолка. А в смысле расширения количества? Тут, по-моему, их нет. И я не о царе там Соломоне говорю с его якобы восьмьюстами

наложницами, и не о султанах всяких с их гаремами - тут дело давнее, а значит - тёмное, мне интересней современники мои. Я как-то в Питере сидел у своего приятеля - весьма известного поэта и отчаянного, забубённого ходока. Сидели мы в его большой, хоть и двухкомнатной всего квартире, где высоченные старинные потолки создавали ощущение простора и пространства. Стены снизу доверху были увешаны картинами и гравюрами, нам было хорошо и пьяно.

- Слушай, - я спросил у него тихо, ибо жена его за чем-то вышла на кухню. - Если все эти картины снять и вместо них от потолка до пола вывесить фотографии твоих баб - они поместятся?

Поэт с сомнением, как бы впервые, огляделся вокруг и неуверенно сказал:

- Ну, если паспортные.

Ещё к неисчерпаемой теме нашего любострастия надо отнести слова, однажды сказанные некой женщиной - она живёт в Германии. С пылкой настырностью она умоляла чиновников, ведающих визами, ускорить приезд её любимого, который задержался временно в России. И сердца у всех так были тронуты её нетерпеливой страстью, что они ей, как сумели, помогли. А спустя месяца три одна из чиновниц встретила эту молодую женщину и спросила, как её дела. И женщина ответила словами, составляющими, я уверен, самый лаконичный в мире любовный роман:

- Он прилетел, я залетела, он улетел.

Сегодня уже странно было бы и глупо обсуждать любострастие в давнем списке смертных грехов. Сексуальная революция ведь и вправду произошла в двадцатом веке - только не благодаря всяким шумным молодёжным эскападам или расширению всяческих свобод, она - лишь следствие того, что тихо и естественно явились в середине века противозачаточные таблетки. Вместе с ними почему-то начисто исчез и Божий страх. Насколько в этом смысле мы продвинулись, легко продемонстрировать на простейшем умозрительном эксперименте: представьте себе пожилого английского пуританина каких-нибудь сороковых годов уже двадцатого века, соединившегося вдруг по телефону с платной сексуальной линией "Со мной ты кончишь дважды". Человечество стремительно покатилось по пути сексуального раскрепощения. Его пределы невозбранно расширяются, хотя Творец и сделал робкую (похоже, что напрасную) попытку испугать нас жуткой новоявленной болезнью. Чуть напугал, но от испуга наша удаль только возросла. Куда ж мы, интересно, катимся? Предсказывать

я не возьмусь, уже мне это не увидеть, но мне кажется, что наше светлое будущее - в нашем дико удалённом прошлом. И уже не человечество имею я в виду, а наших предков - обезьян. Отнюдь не всех подряд, а некое загадочное и прекрасное племя, близких родственников шимпанзе.

Обезьян банобо обнаружили в Африке сравнительно недавно, лет семьдесят тому назад, и жизнь их с той поры описывают неустанно. Все свои конфликты эти обезьяны разрешают исключительно соитием. Секс у них - тот социальный клей, который прочно всех объединяет. Ни ссор, ни драк, ни гневных схваток у банобо просто не бывает - ими сыскан способ очень быстрого и наилучшего вида примирения. Любые виды секса им известны - как обычный типовой, так и оральный с анальным. Самки так же просто ладят с самками, как и самцы - с самцами. А различные почёсывания и поглаживания - это будничная норма отношений. Даже, ежели капризничают дети. Я увлёкся, может быть, и преступил научные границы подлинного описания их жизни, только общество, где все размолвки прекращаются мгновенно и легко, мне очень симпатично. И, разумеется, ни о каком труде они не помышляют (очевидно, опасаясь, что это может превратить их в человека), а живут и наслаждаются по мере сил. И в этом смысле человечество - это банобо в стадии деградации. Тем более доподлинно научный факт: девяносто восемь процентов их генов - те же, что у человека. Нет, я отнюдь не утверждаю, что грядущее у человечества - такое же, я сладким грёзам предаваться не намерен, но всегда приятно хоть бы мельком и о светлых намекнуть перспективах, ибо уж очень надоели чёрные правдоподобные пророчества.

А главу эту закончить я хочу одним сном моего друга Володи Файвишевского. Он заявился в гости к Льву Толстому, и ему там очень интересно. Очевидно, Софья Андреевна в отъезде или нездорова, потому что престарелый граф хлопочет сам, усердно накрывая стол для гостя. А ещё сидят в той комнате человек двенадцать других приглашённых - у них донельзя серьёзные, даже насупленные лица, твёрдый неподвижный взгляд у каждого, они полны глубокой значимости своего существования. Володя замечает с ужасом, что у многих чуть окровавлены штаны, а из ширинок торчат куски бинтов. И, как это сплошь и рядом постигает нас во снах, он ясно понимает, что всех этих людей недавно оскопили. Улучив момент, он тихо спрашивает у Льва Николаевича, кто эти люди. О, говорит ему Толстой, это известные борцы за истину и справедливость, неуклонные ревнители высоких всяческих идей, фанатики нравственного улучшения человечества.

- А почему же и зачем их оскопили? - удивляется Володя Файвишевский.

- Чтоб не отвлекались, - жизнерадостно ответил Лев Толстой.

Часть III. В ОГОРОДЕ СЕЛЬДЕРЕЙ

О евреях и других аномалиях

Честно сказать, мне связываться с этой темой вовсе не хотелось. Всё, что я думаю о нас, я изложил (и продолжаю, слава Богу) в своих стишках. К тому же мы обидчиво чутки к любой попытке нас затронуть даже словом - это более всего похоже на чувствительность дворовых кошек: чуть напрягшись, они следят за вашим малейшим жестом, но с места не уходят. Да ещё столько понаписано про нас - и за, и против, и негодующее против против, только ситуация по-прежнему та же, что была многие века до нас. Цивилизация то сглаживает её, то дикий смерч опять вздымается до неба, явно Бога не тревожа, ибо Он давно уже пустил наши дела на самотёк. Ну, словом, не хотел.

Но как-то раз попались мне заметки (пышно именованные "эссе") одного российского прозаика. Что он еврей, я догадался бы легко, даже его не зная: только еврей может копаться так самозабвенно в тёмной русской истории отошедших веков. А в заметках (прошу прощения - в эссе) затронул автор забавную для него (не более того) тему своего еврейства. Простодушно написав, что в нём шевелится какая-то смутная нежность, когда, идя случайно мимо синагоги (из Исторической, он подчеркнул, библиотеки, где сподниза копал историю России), видит он замшелых стариков при бородах и часто даже пейсах. Это лёгкое чувство, овевающее вдруг его светлую душу, совершенно сродни той нежности, сообщил нам автор, что ощущает он к соболелыцикам своей любимой футбольной команды. Тут я что-то разозлился, хоть, конечно, был не прав, ибо любой человек имеет право на любое чувство, честь и хвала прозаику, который их описывает честно и открыто. Хотя есть ещё прекрасная возможность промолчать, но мы ей пользуемся редко. Я даже вспыхнул, чтобы написать ему что-нибудь язвительное, но быстро передумал. С какой бы стати мне ему писать? Он - известный русский прозаик, а я простой еврейский никто. Его Россия полностью впитала и переварила (ассимилировала - мечта множества евреев), а меня исторгла, как кит - Иону, и правильно сделала, поскольку переваривался я довольно плохо (хотя, видит Бог - хотел по молодости лет). Я всё это чуть позже вспомнил, когда в Москве поехал навестить родителей на еврейское кладбище в Востряковe. Хрестоматийно русские берёзы и осины тихо шелестели листьями на ветру, и евреи, привозимые сюда, достигли уже полной ассимиляции, словно некие подберёзовики и подосиновики. Именно здесь я вдруг отчётливо сообразил, что двигали моей воздержанностью не лень и не гордыня

застенчивости, а памятное мне событие (употреблённое мной слово - не преувеличение), та некая давнишняя история, к которой я сейчас перейду.

Не написал я свой заведомо бессмысленный укор, поскольку много лет назад оказался в числе первых слушателей того известного письма, что написал некогда историк Натан Эйдельман известному русскому прозаику Виктору Астафьеву. Я к Тонику Эйдельману всегда испытывал невероятное (и редкостное для меня) почтение, что дружеским отношениям изрядно мешало, но ничего с собой поделать я не мог. А тут - решительно, хотя несвязно и неубедительно - стал возражать. Многие помнят, наверно, что письмо это упрекало Астафьева в некорректности К национальным чувствам грузин - да ещё тех, чьим гостеприимством Астафьев пользовался, будучи в их краях. Я сказал Тонику, что письмо это (ещё покуда не отправленное в Красноярск) неловко выглядит - как некое послание провинциального учителя-зануды большому столичному лицу со смиренной просьбой быть повежливее в выражении своих мыслей. Я говорил и чувствовал, что говорю что-то не то, и был я справедливо не услышан. А через короткое время (уже и свой ответ Астафьев написал, уже известны стали эти письма и повсюду обсуждались) ехал я из города Пярну, возвращаясь домой в Москву. А так как приютивший меня в Пярну (прописавший у себя, чем жизненно помог) Давид Самойлов собирался в Таллинн, то и я с ним увязался на автобус. Поэта Самойлова радостно и любовно встречали местные журналисты, мы очень быстро оказались на какой-то кухне, где был уже накрыт стол для утреннего чаепития. Но Давид Самойлович сказал свои коронные слова, что счастлив чаю, ибо не пил его со школьного времени, и на столе появились разные напитки. Хозяев очень волновала упомянутая переписка, они сразу же о ней спросили, я было встрял с рассказом (Давид Самойлович был сильно пьян, в тот день мы начали очень рано), но старик царственно осадил меня, заявив, что он всё передаст идеально кратко. И сказал:

- В этом письме Тоник просил Астафьева, чтоб тот под видом оскорбления грузин не обижал евреев.

И я сомлел от восхищённого согласия. Именно это я пытался сказать Тонику тогда, но всё никак не мог сообразить, что именно хотел я высказать.

Ответ на то письмо тогда последовал отменный, до сих пор со смутным удовольствием я перечитываю послание Астафьева, когда оно мне попадается порой. Это была высокая наотмашь отповедь коренного россиянина - случайному и лишнему в этой стране еврею. И самый размах обильно выплеснувшейся

державно-почвенной злобы, и детали - всё в нём было замечательно. А строки, напоённые сарказмом, непременно приведу, их надо нам читать и перечитывать:

"Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам "эсперанто", тонко названном "литературным языком". В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, - собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже приберём к рукам, и, о ужас! О, кошмар! Сами прокомментируем "Дневники" Достоевского".

Поёживаюсь и сейчас, перепечатывая это. Кто мешает ущемлённым местным людям писать свои песни? А разве, чтобы стать пушкиноведом, нужно что-нибудь ещё, кроме способностей и готовности к нищенской зарплате где-нибудь в музее? Раздражает бедного прозаика сам факт еврейского участия в перечисленном. И что-то это мне напоминало. Спохватился, осознав, что это я читаю перепев того письма, что на заре века, за восемьдесят лет до Астафьева, написал прозаик Куприн своему другу Батюшкову. Он тоже гневно сетовал на вторжение евреев в область языка и литературы. Комментируя активность этого вторжения, Куприн цитирует самого себя: "ибо, как сказал один очень недурной беллетрист, Куприн, каждый еврей родится на свет с предначертанной миссией быть русским писателем". Далее - подробный состав преступления:

"Ведь никто, как они, внесли в прелестный русский язык сотни немецких, французских, торгово-условных, телеграфно сокращённых, нелепых и противных слов... Они внесли припадочную истеричность и пристрастность в критику и рецензию..."

Как одинакова мелодия, заметили? И столь же ярко выдохнул Куприн свою заветную мечту:

"Эх! Писали бы вы, паразиты, на своём говённом жаргоне и читали бы сами себе вслух свои вопли. И оставили бы совсем-совсем русскую литературу".

Больше не могу цитировать, до слёз становится мне жалко двух замечательных писателей, обрамивших начало и конец века своими справедливыми печалями. И сокрушённо бьётся моё сердце, влага виноватости готова застелить глаза, но я ничем помочь им не могу. А как за время между этими двумя посланиями-близнецами вторглись наглые евреи в, например, поэзию российскую! Втесались и втемяшились настолько, что

стали гордостью и чуть не символами её величия. Ничего я не могу поделать ни для светлой тени Куприна, ни для Астафьева - дай Бог ему здоровья. Я как бы чуть помог, ведь лично я уехал, только продолжаю компрометировать великий и могучий своим участием. И тут, подобно Блоку, некогда исторгшему из тонкой своей лиры зверский рык ("Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы, с раскосыми и жадными очами!"), я хочу сказать, ничуть не виноватясь, как бы о стихии говоря - о талантливости народа моего в письменности любого коренного населения. А что, кстати, по делать с фактом, что и упомянутый великий Блок - еврей по папе? А куда мы Фета денем?

Жалко литераторов, которые мечтают об отделе кадров. Тем более, что мечтают попусту и зря, поскольку всё равно ведь продолжается и длится обсуждаемая горькая беда. Евреи сочиняют песни, и они становятся народными, высказывают проницательные и тонкие суждения о Пушкине и Достоевском, пишут для театра, и в театрах совершаются аншлаги, над статьями в энциклопедиях корпят - и чувствуют себя при этом совершенно русскими людьми. Как некогда в Испании, Германии - везде было одно и то же. И смотреть на это - мерзко и противно лучшим представителям народа коренного. Ибо ясно им, что не будь этих пронырливых инородцев, сами стали бы писаться песни,составляться словари, исследоваться Лермонтов и они сами. Как же я их бедных понимаю! С подлой целью растворились эти пакостные юркие приспособленцы в русском народе - делать некую работу, почему-то никому не нужную, пока они не взялись за неё. И как им хорошо, заразам, несмотря на нищенскую плату! Всё ради того, чтоб слиться с благородным местным населением. И ничего тут больше не добавишь - от душевного бессилия и лёгкой тошноты. И лучше поплетусь я снова по наклонному пути моей национальной наглости.

Забавно, что жажда раствориться и слиться с коренным населением тесно и как ни в чём не бывало соседствует с тайно-сладким ощущением своей причастности к иному великому народу. Более того, две эти полярные страсти взаимно разжигают друг друга. Был некогда такой писатель - Александр Поповский. То, что я о нём думаю, вслух я никогда не скажу, ибо судить - не моё право, судит время, и полная мгновенная забытость - лучший суд. Однако пояснить - необходимо. Этот писатель посвятил свою жизнь русской науке - не было, пожалуй, в ней за весь советский период ни одного крупного прохиндея, о котором Александр Поповский не написал бы восторженного романа. Так что в этом смысле он высоким был державным патриотом современной ему земли русской. Слава Богу, такие люди обычно бездарны -

кажется порой, что некто сверху всё-таки следит за справедливостью. И, разумеется, он процветал настолько, что даже оставалось у него свободное время для просто чтения. Ибо где-то в конце пятидесятых, встретив в писательском посёлке знакомую пару, он им не без удивления сказал (уже за шестьдесят ему было крепко):

- Слушайте, на днях прочёл я, наконец, "Войну и мир" - и вправду хорошо писал Толстой!

А я как-то к нему зашёл по поручению кого-то и ушёл, восторженное изумление переживая. Старик, оказывается, много лет собирал фотографии знаменитых евреев - густо усеивали они стены его дома. Их рассматривая, неожиданные узнавал я лица, слыша от хозяина авторитетные подтверждения, ибо наводил он справки, не жалея времени и сил. Впервые я узнал, что мной читавшийся тогда взахлёб великий итальянский психиатр Чезаре Ломброзо еврей, и что еврей - король шпионов англичанин Сидней Рейли. Оживившись от восторга моего, старик мне рассказал историю, которая теперь всю жизнь со мной, как некий праздник поучительного лаконизма. Когда канадский физиолог Ганс Селье (который ввёл понятие о стрессе - нынче этим словом не пользуются только немые младенцы) получил за свои работы Нобелевскую премию, то первое письмо, пришедшее к нему, было из Советского Союза. Некий заведомо ему неизвестный Александр Поповский посылал запрос. Цитирую дословно, ибо помню и буду помнить всегда:

"Глубокоуважаемый господин Ганс Селье! До меня дошли сведения, что вы - еврей из Венгрии по материнской линии. В случае, если это так, прошу прислать мне вашу фотографию размером девять на двенадцать и биографию в пол тетрадочного листа. В случае, если это не так, сердечно поздравляю вас с получением высокой награды".

Ах, чтоб я так писал, давно уже подумал я. И снова, как тогда впервые, так я помягчел сейчас душой от этого неприхотливого письма, что вот уже мне стыдно стало: что я привязался, старый идиот, к этому известному прозаику русскому, к замечательному русскому писателю Астафьеву, к несчастному Поповскому, прекрасно прожившему свою несчастную жизнь (поскольку знал неправедность её, но в те поры подобное писали все или почти), зачем я вообще заочно нарядился в прокурора. На этом - точка. Я вычёркивать не буду, пусть мне будет стыдно и досадно.

Ощущение причастности к своему народу возникает часто вдруг и неожиданно для дремлющей души. Порою принимая формы поразительные, и в одном подобном случае я оказался участником. Мне позвонила давняя приятельница и, чуть

запинаясь, попросила, чтобы я помог ей захоронить прах отца, недавно умершего в Питере. А разговор наш - в Иерусалиме. Я потому и попросила именно тебя, сказала дочь, - ты не будешь смеяться, узнав, в чём дело. Ибо речь шла не о захоронении, а о распылении праха в Иудейской пустыне - такова была предсмертная просьба. И была всего лишь половина праха - вторую он просил оставить в Питере, в котором прожил свою жизнь и обожал который. А был он физиком, талантлив был необычайно, много сделал для науки и империи, а кто он - осознал на старости, отсюда и такое ярое желание присоединиться к своему народу хотя бы частью праха. Было нечто символическое в нашем необычном действе, и сидели мы в машине молча, пока искали место, чтобы виден был оттуда Иерусалим - входило это тоже в просьбу к дочери. На склоне возле могилы пророка Самуила такое место отыскалось. Дочь вынула из сумочки старый школьный пенал, мы вытрясли из него горсть серого праха, ветер аккуратно унёс его, развеивая по пустыне. Мы курили и молчали. Так советский физик разделил себя посмертно, чтобы обозначить поровну свою любовь и причастность.

Об этой поразительной раздвоенности нашей некогда рассказывал Зиновии Ефимович Гердт. У них в театре был секретарь партийной организации некто Левин (за точность фамилии я нарочито не ручаюсь) - тихий, но активный человечек, оголтелый, но незлобивый коммунист, усердный сеятель правоверного партийного мировоззрения. Но раз они поехали на гастроли в Лондон, и бедный Левин прямо на глазах сошёл с ума. Во всех прохожих он видел евреев, и не просто опознавал их, а радостно сообщал окружающим. Он вообще сильно загрустил от впервые им увиденной западной жизни, и легко себе представить, что творилось в его преданном и недалёком сознании. А на какой-то улице сидел на стуле краснокожий индеец в головном уборе с перьями и столь же экзотически одетый, а при нём ещё была какая-то нездешняя птица из породы попугаев - она тащила клювом из ящичка билеты с предсказаниями счастья. Это еврей, закричал Левин, бесцеремонно тыча пальцем в направлении индейца. Тут его, естественно, подняли на смех, он обиженно замолчал и только долго оглядывался, когда они уходили. Это еврей, грустно и убеждённо шепнул он Гердту. А в конце дня их всех - по просьбе того же Левина повели обедать в известный еврейский ресторан, где Левин от обилия легко опознаваемых лиц совсем увял и только сладостно водил глазами. А в конце обеда в ресторан лёгкой походкой вошёл тот краснокожий индеец, с панибратством завсегдатая громко сказал - "Шалом,

хевра" (то есть "привет компании") и принялся со вкусом есть немедленно ему принесенную фаршированную рыбу. Легко себе представить восхищенную гордость Левина и посрамление не веривших ему. Но это - лишь начало той истории, что записал я, убежав как бы в сортир. После исхода Шестидневной войны у Левина возникло чисто клиническое раздвоение личности. Он обожал рассказывать об этой войне и начинал, прекрасно помня, что является секретарём партийной организации.

- Легко понять этих трудящихся арабов, - говорил он для начала, - они себе обрабатывают свои поля и посевы, и вдруг евреи начинают по ним стрелять из винтовок...

Он возбуждался прямо на глазах.

- И тогда они берут автоматы и тоже начинают стрелять. И тогда эти...

- Кто эти? - спрашивал подвернувшийся Гердт.

- Евреи, - воспалённо отвечал Левин, - начинают стрелять из пулемётов! И тогда эти...

- Кто эти? - непонятливо спрашивал Гердт.

- Арабы! - огрызался Левин. - Они подкатывают артиллерию! И тогда эти...

- Кто эти? - невозмутимо спрашивал Гердт.

- Евреи! Тогда евреи садятся в танки и начинают наступать, и тогда они...

- Кто эти они? - спрашивал Гердт.

- Эти чёртовы арабы, - Левин уже терял сознательность, -они стреляют из противотанковых ракет! И тогда эти...

- Эти кто? - переспрашивал Зиновий Ефимович.

- Наши евреи! - кричал Левин с торжеством. - Они садятся в самолёты и расхерачивают всё это к ебене матери!

После чего он остывал, приходил в себя, посматривал сконфуженно и вопросительно - с опаской, что сболтнул лишнего, пока опять не подворачивался слушатель с вопросом о течении войны. Гердт неизменно оказывался рядом.

Теперь, насколько я сумею - о чувстве избранности, то бишь о пресловутой национальной гордыне.

Вообще говоря, чувство избранности (даже отчётливого превосходства) свойственно множеству народов. Более того, чем хуже у народа настоящее, тем светлее и величественней мифы и легенды о высоком прошлом и больших путях в истории. Мне как-то довелось об этом говорить с татарским националистом. Когда лопнул пузырь дружбы народов, ярким пламенем вспыхнули национальные амбиции почти везде, а так как всем жилось одинаково плохо и неприкаянно, то гордыня расцвела повсюду несусветная. А я в Казани приглашён был выступить перед

почтенными людьми большого бизнеса. И приплелись, конечно же, евреи. Впрочем, многие из них были женаты на татарках. Я работал вместе с певцом и оркестром, так что, минут десять почитав стишки, я уступил им место, сел за столик, но не пил, а лишь прихлёбывал, ожидая своей новой очереди лицедейства. Но оркестр всё играл и играл, певец всё пел и пел, уже пошли танцы, а я сидел, трезвый, как дурак на свадьбе, и недоумевал, когда же меня свистнут снова. А после ухватил я за штанину пробегавшего мимо устроителя, и он сказал мне внятно и доверительно:

- Ради Бога, извини меня, забыл предупредить, ты можешь пить спокойно, им надо всего-навсего завтра сказать в своих конторах, что слышали Губермана, а стихи им на хуй не нужны, послушали и всё, на гонораре это никак не отразится. Гуляй, старик, с тобой закончено.

И начал я навёрстывать упущенное. Ко мне подсел немолодой интеллигентный татарин (ох, немного их там было!) и беседу начал с полуслова - будто мы её прервали только что. Он сообщил мне, что по его глубокому убеждению, татары - великий народ, чисто случайно не вошедший в исторический канал, по которому пошли другие великие народы. Я не возражал, я наливал и опрокидывал. А главная тому причина, грустно и увлечённо повествовал непьющий собеседник - она в том, что век за веком татары отдавали россиянам своих самых выдающихся людей. Они утекали в империю, печально и красиво сказал он. Историк Карамзин, поэт Державин, композитор Рахманинов, полководец Кутузов, актер Каратыгин, писатели Аксаков и Тургенев - самые поверхностные, хоть и яркие примеры. Я сочувственно кивал. Тут на меня посыпались какие-то знатные фамилии, о большинстве которых я и слыхом не слыхивал, потом он помянул, что татары на первом или втором месте по числу Героев Советского Союза (это в пропорции с количеством народа, то есть весьма значимо), но тут не удержался я и буркнул, что евреи - на третьем. Мельком я успел подумать, что надо следить за собой, ибо выпивка уже делала своё благое дело, а разговор со мной затеяли всерьёз. Но было уже поздно. И когда меня спросили, бывал ли я в музее Льва Толстого, и кивнул я головою, пьяный враль, и собеседник торжествующе спросил, а видел ли я слева в самом основании генеалогического дерева фамилию Баскакова - а он татарин, я спросил вместо ответа, почему не посмотреть было направо, где еврей Шафиров обозначен. И собеседник мой исчез куда-то. Я без огорчения подумал, что Шафиров, кажется, - на дереве Толстого Алексея, а не Льва, но сам себе сказал: какая разница - и принял ещё пару рюмок. Но тут он появился, весь сияя - подкопил, наверно, аргументы - жалко, я по пьяни всё испортил сразу. Он

ещё и сесть не успел, как я ему сказал приветливо:

- Я тут подумал, знаете, и если всё, что вы мне излагали - достоверно, то татары - просто-напросто одно из наших утерянных колен.

Он повернулся, мне ни слова не сказав, и не услышал я вследствие этого множества новых фактов. Но зато запомнил главное: ещё один избранный Богом народ свято помнит о своём великом прошлом.

Множество таких же точно аргументов каждый, кто желает, с лёгкостью отыщет на страницах всех сегодняшних республиканских газет всех республик бывшего нерушимого Союза. Тут же рядом будет находиться такое поношение бывших братьев и соседей по империи, что душа будет болеть и одновременно играть от виртуозности раскрепостившихся мыслителей. А с каждой оскорблённой стороны течёт такое, что словарь дружбы народов уже время составлять. И я уверен, что вот-вот появится еврей, который это сделает. От одного шедевра я не в силах удержаться - вот, как говорят чеченцы, например (задолго до войны, что важно):

"Чечены и русские - братья, а осетины - дикие собаки, ещё хуже русских".

Но вернусь к своим. Гордыня - это прежде всего чуткость к ущемлению. Чувствительность к обиде по национальной принадлежности, ещё фантомной и предполагаемой обиде, и к выдуманной в том числе - присуща нам вне всякой зависимости от характера и интеллекта. Как-то раз моя приятельница Фира ездила в Америку погостевать у друзей. Но быть в Нью-Йорке и на Брайтон не сходить - впустую съездить, и вот уже сидит Фира на Брайтоне возле моря, а рядом - скопище жовиальных евреек советского разлива, снисходительно ругающих Америку за сухость душ и полное отсутствие культуры. Сама их речь - высокое свидетельство незаурядного культурного развития всех этих далеко не молодых, отменно корпулентных (если я правильно толкую это слово) дам. В прошлой жизни занимались они всяким - в том числе и торговали культтоварами или распространяли билеты в приехавшие на гастроли театры, так что им и карты в руки, я их вовсе не хочу обидеть. Я их много видел и беседовал не раз, я каждый раз, на Брайтоне бывая, что-нибудь хожу послушать, и обычно смех мой горек. Только я отвлёкся. Услыхав, что Фира из Израиля ("откуда сами будете, дама?"), стали все ей задавать вопросы, на которые немедленно сами же и отвечали, Фира только поражалась их категорической осведомлённости. Образовалась крохотная пауза, и Фира вставила в неё известные слова, что там, где два еврея - три

несхожих мнения.

- Кто это сказал? - грозно вопросила одна из женщин.

- Черчилль, - пояснила Фира. - Уинстон Черчилль.

- Черчилль? - с невыразимой гадливостью повторила собеседница. - И что вы ответили этому антисемиту?

Жаль, что пока что не сыскался Бабель, могущий описать это уходящее поколение еврейских пришельцев - но, быть может, он уже растёт и уже впитывает этот дух и эти речи? Хочется мне думать, что они не пропадут. Я как-то там (в плохом был очень настроении, хотел развеяться) услышал возле продовольственного магазина (как там солят, маринуют и коптят!) слова одной такой дамы в разговоре с подругой - слова, от коих испытал я чистое высокое счастье:

- И ты себе представляешь, - пылко говорила она подруге, - он сказал мне: идите на хуй! А я ему тогда сказала: молодой человек, а я была там больше, чем вы - на свежем воздухе!

Теперь начну я как бы снова и как бы по порядку. С интереса нашего, сугубого и острого, ко всему, что относится к евреям, где бы и когда они ни жили. С интереса, который начисто пренебрегает неким общепринятым, разумным и естественным (ха! - на все эти три слова) порядком изложения любых сведений. Это ярче всего видно на примере старой (десятые годы прошлого века) Еврейской энциклопедии. Очень любил я некогда в застолье излагать цитаты из неё - не надо было никаких собственных шуток. Помню наизусть о Лондоне, к примеру: "Лондон - столица Англии. Основан в 1066 году, когда Вильгельм Завое-ватель привёз туда несколько десятков еврейских семей". И так про всё на свете. Меня и всех приятелей моих весьма это смешило. Прошли года, уже в Израиле я жил, затеялся какой-то чахлый семинар, куда меня позвали по ошибке, и на коллективном завтраке в столовой я вдруг вспомнил эту и подобные ей фразы. Засмеялись, помню, все, только один спокойно и серьёзно сказал мне, что ему нисколько не смешно. Уже давно, сказал он так же ровно и неторопливо, всё на свете он воспринимает с точки зрения причастности к еврейскому народу. Я смолчал, поскольку сильно ошарашен был внезапным ощущением, что я ведь тоже с некоторых пор воспринимаю многое в таком же искажённом ракурсе. А осознав, уже я этому и удивляться перестал. Всё как бы сохранилось прежним, только сильно сфокусировался взгляд. Что вряд ли хорошо, но это есть. Сквозь эту призму по-иному я на многое смотрю, и пакость, совершённая евреями (а сколько же её!) мерзее и больней мне, чем пакость, сделанная кем-то, кто вне этого сильно суженного взгляда.

Дина Рубина записала слова, однажды сказанные ей немолодым и невеликого образования человеком (уже здесь, в Израиле):

- Помни, деточка, - сказал он ей, - что самое хорошее и самое плохое на свете делается евреями.

Я не согласен с полнотой такого обобщения, но под словами о причастности нашей ко всему на свете, и к полярному по качеству притом - я подписался бы обеими руками. Это мания величия и миф об избранном народе? Нет, я думаю, что это - отражение реальности. И потому так правы старики, перечисляющие со смешной гордыней фамилии знаменитых соплеменников, и потому мне так понятны люди, ненавидящие нас. И вновь я сбился, старый графоман, на ту высокую тональность, что никак мне не по чину, а важней, что не по нраву.

Искажена моя картина мира - всюду вижу я талантливых (пускай способных), с бешеной активностью евреев. Может быть, пойти в сотрудники в журнал "Наш современник"? Сколько бы я мог им рассказать!

Я в Лондоне гулял дней пять с женой, а после был с туристской группой столько же. И не запомнил ничего, кроме отменной фразы гида как-то утром. Он сказал:

- Вниманию женщин! Следующий туалет будет только в доме, где родился Шекспир!

А моему приятелю завидно повезло. Он где-то на проспекте на огромный магазин набрёл, где на витрине краской масляной было написано по-немецки "говорим на немецком", по-испански - "говорим на испанском", по-французски - "говорим на французском". А на иврите там было написано - "для евреев скидка". Кому это понравится, узнавши?

О взаимовыручке еврейской сколько ни написано - всё правда. Далеко неполная притом. Поскольку множество веков евреи скидывались специально в помощь соплеменникам, которые нуждались в ней, и это продолжается посейчас. И ничего величественней этого я как-то не упомню. В лагере в Сибири с завистью и уважением смотрел я, как быстро сплачиваются люди с Кавказа. Сбившаяся стайка их немедленно и радушно принимала своего новичка - а что творили с новичками и друг с другом люди коренной национальности! Вернусь к своим, поскольку миф о нашей выручке взаимной - справедлив почти вполне. Почти, поскольку в памяти стираются мгновенно грустные истории вчерашней жизни - как евреи старались не брать на работу других евреев, опасаясь, чтобы их не заподозрили в национальном потакательстве и вообще чего дурного не подумали. Таких испугов множество бывало - это характерно

именно для растворенцев (не найду иного слова) - тех, кто жаждал слиться и прильнуть. Я ещё слыхал о тайно жидовствующих растворенцах - те, согласно мифам и легендам, резали безжалостно евреев на различнейших экзаменах, свою повадку мотивируя идеей, что еврей обязан знать предмет не на пятёрку, а на шесть как минимум. Но это обсуждать мне неохота, я брезглив и забывчив. Но чтобы с темой выручки и помощи расстаться, я её хочу усугубить (разумеется, из лучших побуждений) той историей, что донеслась до меня через вторые руки от писателя Эфраима Севелы. В войну Судного дня (в семьдесят третьем) ездил он по Америке, собирая деньги для Израиля. Давали много и советовали, кто бы дал ещё. И вспомнили миллионера, который на такие сборища не являлся стоило, однако, попытаться. И ему Севела позвонил. И секретарь соединил. И голос босса сообщил писателю, что он читал о нём в газетах и готов его принять - на три минуты ровно. Прямо завтра. И пришёл Севела, как было назначено, провёл его охранник (или секретарь) в большой кабинет, где сидел за письменным столом старый еврей наружности не просто малосимпатичной, более того - прямое олицетворение лучших образцов геббельсовской и советской карикатуры. Приветливости не было в помине. Делать нечего, однако, и писатель начал монолог. Он говорил о земле предков, на которой погибают сейчас люди, чтобы отстоять свою страну, о еврейских детях и вдовах, которым надо помочь, о долге каждого еврея, у которого жива душа. И чем-то он сумел задеть финансового паука: у старика сильнее обозначились мешки под мутными глазками, ещё горестнее обвис лиловый нос, обмякли вялые веки и чуть как бы задрожали дряблые губы. Озарённый призраком успеха, памятуя об истекающих трёх минутах, проситель повысил накал изложения. Паук молча нажал кнопку на своём столе, мигом появился секретарь, и старик жалобно сказал:

- Уведите его, он меня расстроил.

Тут пора мне сделать отступление. С некоторых пор есть у меня заочный собеседник, в глазах которого хотел бы я выглядеть по крайней мере хорошо. А как он появился в моей жизни - целая история, к этой главе никак не относящаяся. Ибо она - о торжестве той внутренней интеллигентности, которая порой бывает вознаграждена. То есть к моей сугубо назидательной книжке прямое отношение имеет. Я как-то выступать приехал в некий большой город (я все детали утаю, поскольку ни к чему они). И целый день я был свободен. Гулять по этому промышленному центру, доведенному годами советской власти до безликости из фантастических романов, не хотелось мне

никак, и я проездил целый день в автомобиле своих местных импресарио, которые по разным поводам мотались по городу. По дороге я немножко выпивал, мне было хорошо и безразлично. А где-то на закате тормознули они возле двухэтажного складского вида помещения, пристроенного к жилому дому, и пошли туда, оставив меня в машине. Я выкурил, их ожидая, сигареты две, и оглядел окрестности, поскольку писать очень захотел. По-маленькому было тут легко сходить, не вылезая из машины, пешеходов не было почти, а рядом были даже кустики. Но я (по пьянке, видимо, поскольку раньше и потом я писал всюду и везде) подумал вдруг возвышенно и страстно, что я ведь не животное какое нет, я человек, и я звучу гордо, и ничто человеческое мне не чуждо, и не буду писать я в кустах, как кошка, мама не тому меня учила. И я побрёл на этот склад, я полон был высокого сознания своей высокой правоты.

А дверь толкнув, я оказался в неожиданно большом и светлом зале, где по стенам аккуратнейше на стеллажах стояли книги в диком множестве, в уютных выгородках сидели люди за компьютерами - такая была смесь отменно сделанного магазина и издательства. Я закурил - никто не стал мне делать замечание, и потому я сигарету тут же потушил, и тут увидел, что сидевшие меня узнали: двое зашушукались, на меня глядя и улыбаясь, к ним подошёл третий, а с лестницы, ведущей на второй этаж, спускался торопливо человек, явно направлявшийся ко мне. А я - непроницаемо и вдохновенно смотрел на книги. И лучше я пописал бы в кустах, печально думал я.

- Вы Губерман? - спросил меня подошедший человек.

- Да, это я, - ответил я с достоинством, - а где у вас тут туалет?

Потом наш диалог мы обсуждали столько раз, что выходило - я спросил про туалет, когда он только подходил, то есть повёл себя, как Державин с Дельвигом при посещении Лицея, эта версия так льстит моему тайному тщеславию, что я согласен с ней, хоть видит Бог - я был взаимно вежлив.

- На втором этаже, - ответил человек, ничуть не удивившись. - А потом зайдите ко мне в кабинет.

И я зашёл, и протрезвел довольно быстро. Человек этот оказался владельцем замечательного издательства, и через полчаса я выходил оттуда с договором на трёхтомник, а всего там вышло уже шесть моих книг. Мы подружились (смею я надеяться) чуть позже, когда выпили в Москве, а после в его городе, где я на кустики возле издательства ещё раз специально глянул, чтобы лишний раз подумать всуе о судьбе. Издатель этот - Саша оказался человеком поразительной (прозрачной, редкостной)

душевной чистоты. Забавно, что в Москве в один и тот же день я кратко перекинулся словами, проверяя впечатление своё - с женой и Гришей Гориным. Жена моя, сторожко относящаяся к людям, и Гриша (был он скептик и мудрец) - со мной единодушно согласились. Потому я так серьёзно и воспринял Сашины слова, когда мы виделись в последний раз недавно - вам, сказал он, Игорь Миронович, свойственна странная гордыня, я уже несколько раз слыхал от вас различные слова об избранности вашего народа - вы всерьёз так полагаете? По-моему, народы все равны.

Не стал бы я ни с кем вступать в бессмысленные споры, только тут почувствовал я настоятельную необходимость объясниться - что и сделаю сейчас, поскольку времени тогда не отыскалось.

Да, конечно, Саша, несомненно, правда, что народы все равны, однако есть неодинаковость, которую никак не утаить. И в этом смысле - полон я гордыни, Саша, ибо явно некими чертами так отмечен, что похоже - избран мой народ. И в том высоком, что давно и всем известно, и в том низком, что присутствует с такой же яркостью. Ведь любому глазу очевидно, что у человечества есть яркие носители полярных качеств - на обоих полюсах отчётливо заметен мой народ. А избран - отношением к нему других, историей своей кошмарной, так что не льготы эта избранность означила, а тягости и смерти. А вернуться если к полярности человеческих качеств, то и на том, и на другом полюсе умножены душевные черты на нашу дикую активность и энергию, уж не берусь я обсуждать её происхождение.

Хотя философ Макс Нордау предложил когда-то очень убедительный вариант: "Евреи добиваются превосходства лишь потому, что им отказано в равенстве".

Опять в патетику я впал, а я ее панически боюсь. Я более того - боюсь за каждого, кто вслух о чем-нибудь высоком говорит и вечном. А вдруг он в это время пукнет? И перед высоким неудобно, и вся речь пойдет насмарку. Так что пора мне что-нибудь снижающее пафос повестнуть. Вот о гордыне личной, например, - весьма одной запиской я горжусь, не помню точно, в каком городе я получил её:

"Игорь Миронович! Я пять лет прожила с евреем. Потом расстались, и я с той поры уверена была, что я с евреем на одном поле даже срать не сяду. А на вас посмотрела и подумала: сяду!"

Когда заведомое отношение есть к какому-то народу, то оно такие тонкие ходы в мышлении внезапно роет, что даёшься только диву, сколько творческого скрыто в человеке. Тут для коллекции большой соблазн, и я его, конечно, не избегну.

Тому назад двенадцать лет всё было, как сейчас, - кидали камни, жгли машины, взрывали автобусы с людьми, а винил тогда весь мир, конечно, нас самих. И вот один французский журналист, расспрашивая пожилого араба о бесчинствах оккупантов, сладострастно всё записывал: и как гоняются еврейские солдаты за невинными подростками, кидающими камни, и как жестоко разрушаются дома тех террористов, что и без того уже сидят в тюрьме за убийства, и всё прочее из обиходного набора той поры. Но был французом журналист, и потому спросил, естественно, - а не насилуют ли эти злобные еврейские захватчики арабских женщин. И ответил без раздумий собеседник, что кошмаров много, но вот этого ни разу не было - нет, не насилуют. И с омерзением, презрительно сказал тогда француз:

- Какая ж это армия!

История вторая - из Баку недавних лет. На синагоге появилась за ночь надпись на стене - русскими буквами:

"Евреи, не уезжайте, вы наши братья! А будете ехать - перережем вас, как бешеных собак".

В главу о странностях любви хотел я эту надпись поместить, но здесь она на месте тоже.

На международной конференции советологов (или славистов) это было. Двое россиян в беседе кулуарной поливали евреев, на чём свет стоит, а их безмолвно слушал советолог (или славист) из Германии. Слушал-слушал этот немец двух коллег согласный диалог, потом не выдержало сердце, и сказал как выдохнул, так страстно:

- Как я вам завидую, друзья, что вы имеете возможность говорить всё это вслух!

Всплыла история, которую люблю на выступлениях рассказывать - она как раз об отношении других народов. Мои приятели в Казани - много уже лет назад - оркестр уличных музыкантов сколотили (по содержанию того, что исполняют). И стал он одним из лучших в республике, мотаются они всё время по гастролям. Оказались как-то в небольшом городке, сыграли утреннюю репетицию в местном театрике - и вдруг сообразили, что до вечернего концерта запросто успеют выпить и отоспаться. Быстро покидали они свои нехитрые инструменты прямо в скверике возле театра, закупили выпивку и загуляли с полным удовольствием. И тут из воздуха образовался некий местный гражданин.

- Ребята, - спросил он, - это вы у нас сегодня выступаете в театре?

- Мы, - признались музыканты и певец.

- А я смотрю, вы что-то все евреи, - поинтересовался гражданин.

- У нас оркестр еврейский, - пояснили оркестранты.

- А я евреев уважаю, - оживился гражданин. - Как ни возьми хороших музыкантов - все евреи. А учёные - там математики, к примеру, химики и физики - опять евреи. Как хорошие учителя - опять евреи...

А уже вовсю разливалась по стаканам водка.

- Хотите? - предложили гражданину.

Разумеется, кивнул он головой. Взял полстакана водки и продолжил наскоро:

- А как хорошие врачи - опять евреи.

Выпил свою водку, заел ломтем колбасы, вздохнул и заключил свой монолог:

- Но хитрые, падлы!

Благодаря вековечно похожему отношению к нам других народов и еврейские праздники обрели постепенно некое общее звучание. Сын одного моего приятеля нашёл точную общую формулу проведения всех еврейских праздников. Она проста. Ведущий говорит:

- В таком-то и таком-то веке такой-то и такой-то деятель решил извести еврейский народ до единого человека. У него ничего не вышло. А теперь давайте покушаем.

О том, как раздражает даже в мелочах наша активность, расскажу короткий эпизод с актёром Леонидом Каневским (помните "Следствие ведут знатоки"? - это был пик его известности в Союзе). Он и сейчас ещё подвижен и экспансивен - в молодости он был подвижен, как ртуть, говорил громко, да ещё жестикулировал. И в киевском автобусе он как-то разговаривал с друзьями. Очевидно, ему было хорошо и увлекательно, сыпались слова и двигались, им помогая, руки. И не выдержал шофёр автобуса. Он выключил галдящее радио и замечательные в микрофон сказал короткие слова:

- Развязно себя ведёте, Соломон!

Порою удаётся уловить совсем случайно те штрихи, нюансы, отблески, что сопутствуют образу еврея в так называемом коллективном сознании. Как-то в Берлине моего приятеля попросили поговорить с некой женщиной, настырно утверждавшей, что она еврейка, и поэтому община ей должна помочь. Он согласился с ней поговорить и, прежде всего, спросил, естественно, почему она уверена, что мать её была еврейка. Потому что мать моя на пасху всегда пекла мацу, ответила женщина.

- И как же она её пекла? - спросил приятель.

- По закону, как все, - ответила женщина, - замешивала тесто, клала дрожжи...

Мой приятель чуть подёрнулся неосторожно, и женщина с готовностью сказала:

- Добавляла чуточку крови...

Я из романа своего "Штрихи к портрету" вытащу сюда одну историю, рассказанную мне старым зэком. Было это в лагере на Северном Урале где-то в начале пятидесятых годов. В бараке вечером однажды завязался спор, какой национальности людей больше всего сидит по лагерям. Кто-то немедленно сказал, что русских, но его остановили, пояснив, что следует считать в пропорции к количеству этой нации во всей империи. Тогда кто-то сказал, что грузин - ибо кавказцев было много в лагере, но разные они собой народы представляли. Опытные зэки быстро согласились, что в пропорции если считать, то более всего сидит евреев. Пожилой украинец, молча лежавший до сих пор на нарах, услыхав это согласное мнение, с омерзением сказал:

- Какая нация: всюду пролезет и своих протащит!

Эти дивные слова мне ключевыми кажутся и для споров об активности в революции, и при обсуждении количества Героев Советского Союза в войну, и для многого, многого прочего. Забавно прочитать мне было как-то (в "Нашем современнике", естественно) о периоде борьбы с космополитами и дела врачей. Немыслимые выпали евреям унижения тогда: кто испугался, кто поверил, кто воспользовался. Вся та боль, нанесенная целому народу, рассосалась и растаяла вместе со временем. И вот уже мыслитель из почтенного публицистичного дома пишет, об эпохе той вспоминая, что даже в те года, какой из списков ни возьми с лауреатами Сталинских премий - чуть не треть из них окажутся евреями - кто явный, кто не сразу угадаешь. Конечно! А куда же было деться от кошмарной этой нации, весь разум свой, все силы и усердие отдавшей этой дьявольской империи. Есть у меня одна угрюмая и еретическая убеждённость: если б Гитлер свою ненависть к евреям придержал до некоей поры, то неисчислимое количество евреев так же озаренно и старательно работали бы на Третий Рейх.

Веский довод в пользу этой мрачной убеждённости моей: нам свойственна беззаветная слиянность с духом той эпохи и того народа, где застало нас рождение и зрелость. Не случайно все века Арабского халифата, где евреи жили полноправно и спокойно, лучшие еврейские поэты и философы писали на отменном арабском языке; в Германии они такими стали немцами - достаточно назвать хотя бы Гейне, а в России так они восприняли дух разрушения во имя справедливости и счастья

сразу всех, что страшно вспомнить их кошмарную активность. А понимал ли кто-нибудь из них, что обречён? Навряд ли. Так же, как они навряд ли это понимали бы, трудись они на Третий Рейх.

Отец писателя Григория Кановича, портной по профессии, с осудительным сожалением сказал о соплеменниках пронзительные слова: "Мы слишком раскаляем утюг, гладя чужие брюки". И лучше об усердии еврейском не сказал, по-моему, никто.

А что касается нашей пресловутой житейской сметки (видеть наперёд - её естественное свойство) - я только напомню, как в тридцать девятом году Жаботинский распинался в голос, объясняя польским евреям, что из Германии идёт к ним смерть, и надо уезжать куда угодно Был освистан, даже назван был фашистом сгоряча, сегодня вспоминать об этом дико и необходимо.

А теперь поговорим о нашей мрази - я бы с мелкой начал. В первые же дни приезда нашего в Израиль позвонил мне полузнакомый (виделись единожды) осведомлённый доброжелатель и спросил, а были ли у меня за время литераторской жизни в России - книги, почему-либо зарезанные.

- Ого-го, - сказал я радостно и горделиво. - Целых три, а если и статьи прибавить, то с лихвой четыре наберется.

- А за что их зарезали? - задал мне доброжелатель странный для меня вопрос.

- Как это за что? - спросил я ошарашено. - Я ж тогда все умственные силы клал, чтобы сказать о советской власти всё, что я о ней думаю. За навязчивые ассоциации, они тогда аллюзиями назывались, так что, в сущности, за попытку оклеветать наш дивный строй, они меня по делу резали, понять их можно.

- Вы забудьте это, - мягко посоветовал доброжелатель. - Напишите, что вас резали как еврея, что вы жертва государственного антисемитизма, это очень вам поможет в получении различных льгот.

- Вы что, с ума сошли? - спросил я грубо. - Для чего же мне так низко лгать?

- Я вам добра желаю, - сказал доброжелатель с лёгкой обидой. - Я от всей души.

Ещё потом он жаловался общим друзьям на мою хамскую неблагодарность. И был прав, конечно.

А мотив этот я вспомнил уже лет пять спустя в одном российском городе. Ко мне явился за кулисы местного театра некий средних лет еврей, знакомый моих знакомых, так что сразу доверительно просил о помощи. Чем могу, ответил я с готовностью. Был у него посажен сын - по чистой уголовке - за

растрату и за воровство, на коем схвачен был с поличным - и ничем тут с очевидностью помочь было нельзя.

- Так чем же я могу быть вам полезен? - спросил я недоумённо.

- Вы сейчас такой заметный человек, - терпеливо объяснил мне горестный отец, - что вас может принять посол Израиля.

- И что? - не понял я.

- И можно возбудить скандал, что садят еврея, - человек даже понизил голос от уважения к идее.

Я уже всё понял, но спросил на всякий случай с тупостью, простительной эстраднику:

- Но посадили ведь его за воровство, а не за еврейство?

Уже готов я был сказать различные слова, но человек на меня глянул и ушёл. А привкус у меня от той беседы ещё долго сохранялся.

Густ поток подобных спекуляций, и подробней говорить об этом тошновато. Думаю, что меня уже поняли.

А что касается людей с размахом мерзости повыше, то у каждого народа есть своя такая мразь, и тут гордиться нашей избранностью мне никак не выйдет. Нет, я вру, и с радостью хватаю себя за руку. А про потоп сегодняшнего криминала что же ты забыл? И это правда. Я как бы должен осуждать неслыханный поток бандитов и ворья, весь мир сегодня захлестнувший, выльясь с необъятных просторов первой в истории страны социализма - что ж, если кто-нибудь настаивает, я их осуждаю. Хотя глупо осуждать естественные, как землетрясение, почти природные процессы. Снова среди этого потока - невероятное количество нашего брата, и я, о них читая, с неправедной гордыней думаю порой: какие ж вы талантливые, падлы!

Я вообще хочу сказать, хотя греховность этой мысли сознаю, но я уверен, что обилие жулья с размахом - это веский признак живости народа в целом.

Нет, повторю я снова, мне ничуть не стыдно за слепых и воспалённых комиссаров тех далёких лет, не стыдно за людей, насквозь пропитанных тем гибельным высоким духом разрушения, что поразил тогда насквозь Россию целиком. Но неужели из сегодняшних никто не вызывает во мне чувство омерзения, а следовательно - и стыда за соплеменность? Нет, есть один. О нём я расскажу немедленно.

Он, несомненно, умный человек, поскольку таковым не будучи, никак нельзя играть того шута и агрессивного придурка, какого он давно уже играет, с бесцеремонной оживлённостью суясь во все дискуссии, проблемы и отверстия. Сейчас, по счастью, спала и затихла его бурная известность, а было время - в

каждом зале города любого шли записки (штук по пять, по шесть) с одним вопросом - как я отношусь к Жириновскому и что я думаю о нём.

Казалось бы, всё очень просто: отношусь я к нему крайне плохо, а думаю и того хуже, потому что этот фюрер для бедных - натворить такого может, что Россия, ужаснувшись и опомнившись, немедля вспомнит о его еврействе. Но я, однако, иностранец, никаких советов я давать не в праве, а предупреждать и пророчествовать- вовсе глупо и бессмысленно. Я отделывался неким давним стишком, который по счастливой случайности подходил Жириновскому с полной определённостью:

Среди болотных пузырей,
надутых газами гниения,
всегда находится еврей
венец болотного творения.

И зал смеялся неизменно, а я тоскливо думал всякий раз: откуда же берутся миллионы, что голосуют за этого опасного шута?

Так повторялось много раз, и тут судьба решила поиграть со мной подсунула мне встречу с Жириновским. Будучи в Моск-ве однажды, пришёл я в Дом литератора на обсуждение последней книги одной замечательной негромкой писательницы. Забавно, что и книжка та была - о фашизме. Говорилось и о его перспективах в России. Будучи курильщиком отъявленным и злостным, больше часа я не утерпел и вышел покурить в фойе. Купил себе десяток книг в ларьке у двери (это существенная для дальнейшего деталь), положил их на стоявший там же столик и блаженно закурил, наблюдая краем глаза за книгами, дабы коллеги их не спёрли. Кто-то подошёл поговорить, и я услышал, что в соседнем (большом) зале происходит встреча российских писателей с Жириновским. Я, разумеется, остался его ждать, и сигареты через две он появился. Три телохранителя в комиссарских кожанках плотно окружали его. А он - с его лицом и в местечковом картузе - смотрелся среди них, как пожи-лой еврей, арестованный за скрытие ценностей. Я подошёл к нему и вежливо представился. Сказал, что я живу в Израиле, что литератор, и мне жаль, но нету с собой книжки, чтобы подарить ему (а про себя подумал: и была бы - я бы тебе хер её подарил), и что хотел бы увезти с собой его автограф. Эту речь я вовсе не готовил, мне хотелось только поглазеть, и для чего я вдруг к нему попёрся - сам не понимал я и с немалым удивлением слушал, что мелю. И для чего автограф?

Жириновский наклонился к невысокому плотному человеку средних лет - по виду явно литератору и устроителю всей встречи, и тот быстро и жарко нашептал ему на ухо что-то хвалебное в мой адрес. Ибо с обаятельной улыбкой мне Владимир Вульфович сказал:

- Конечно. Давайте мне любую книгу, я вам с удовольствием распишусь.

Таким он выглядел приветливым, наивным, кротким и простым, что я, за книжкою метнувшись, ощутить успел свое коварство, вероломство и творимую подлянку. Ибо я через секунду возвратился с только что вышедшей тогда в Москве книжкой - "Дневники Геббельса". Я даже распахнуть её успел: на Жириновского смотрел пустой белый лист, на котором как раз и ставят автографы. Глаза мои лучились чистотой и интересом к государственному мужу.

Но Жириновский посмотрел, какую книгу я принёс, мне протянул её обратно и сказал слова, от которых душа моя облилась блаженством, ибо я мгновенно себе представил, как сегодня же на пьянке буду их рассказывать друзьям, а мне не будут верить. Он сказал:

- Вы знаете, я тут никак вам не могу поставить подпись, меня и так о нём всё время спрашивают.

Я молча метнулся за другой книгой, это оказался Розанов, и Жириновский, повертев её в руках и сомневаясь, поставил подпись. Книгу я привёз домой. А вся история стала цветком в букете моих эстрадных баек. Ибо я рассказываю только правду, а она - намного ярче вымысла.

Да, милый Саша, мы такой народ - даже способное отребье крупной масти мы поставляем яркое и энергичное.

В Израиле заметно снижен наш накал. Дух левантийской беззаботности, беспечности и всякого такого - сильно овевает нас, и кажется порой, что всё-таки еврею жизненно необходимо явное и тайное сопротивление среды. Нет, оно есть и тут, но тут оно совсем иное. Я довольно скоро по приезде эту ситуацию почувствовал, но сформулировать боялся, опасаясь, что незнание языка толкает меня к неверным обобщениям, на которые я права не имею. Но однажды натолкнулся на статью раввина Адина Штайнзальца, одного из мудрейших людей нашего времени, и там я просто прочитал слова, которые не смел произнести даже во время дружеского трёпа. Я сейчас большую выпишу цитату, лучше всё равно я не скажу. И то, что выше я писал, тут будет лаконично и весомо.

Сперва Адин Штайнзальц отмечает нашу сложившуюся за века "поразительную способность видоизменяться,

приспосабливаться, становиться похожими на тех людей, среди которых мы живём". Но, пишет он далее - "Наша адаптация - это внутреннее преображение... Мы не просто обезьянничаем, а становимся частью этого народа... Это вызывает обиду и возмущение. У других народов складывается ощущение, что евреи... изощрённо похищают у них душу и таким образом становятся их национальными поэтами, драматургами, художниками, а через некоторое время - устами и мозгом их народа. Мы становимся большими англичанами, чем сами англичане, большими немцами, чем сами немцы, большими русскими, чем сами русские..."

О, как я это знаю по собственным ощущениям! А в том числе - и по любви к России, которая незыблемо во мне живёт и болями сегодняшней России мучает. Теперь я очень далеко и лишь поэтому могу себе позволить письменно в своей любви признаться, там позволяли себе вслух об этом говорить (в корыстных целях - и кричать) только рептилии различного пошиба. Но продолжу.

Зафиксировав это уже общее место, пишет далее раввин Штайнзальц: "Основатели Израиля мечтали создать здесь новый тип человека... Этот человек, унаследовав духовное величие прошлого, должен был приобрести черты, которых, по мнению евреев, ему прежде всего не хватало - физическую силу, прямоту, умение сражаться и сражаться хорошо, способность жить оседлой жизнью в своей стране... И они преуспели. По правде говоря, даже чересчур преуспели... Появилось поколение, у которого есть масса превосходных качеств. Но до чего же оно странное! Черты, которые считались типично еврейскими - гибкость ума, утончённость, обширные знания, самокритичность, - качества, которые были частью нашей сути, исчезли".

Я разрывал пространный текст, чтоб обнажилась ярче горькая, пронзительная мысль статьи: израильский еврей - нечто иное, нежели тот образ, что сложился в нас за годы жизни в России. Удивительно ёмко и лаконично обо всём этом сказала дочь одной моей знакомой. Дочь сюда приехала пятнадцати лет, закончила тут школу, вольно и свободно чирикала и писала на иврите, полностью влилась в местную жизнь. И вдруг через шесть лет решительно собралась возвращаться в Питер. И на все разумные резоны матери отвечала полным с ней согласием.

- Но в чём же тогда дело? - обескуражено спросила мать. И дочь, слегка подумав, ей ответила:

- Но, мама, где же я себе найду здесь князя Мышкина?

На мой взгляд, это сказано так точно, что любые комментарии только опошлили бы веский довод.

Из-за этого нам часто трудно здесь и часто ощутимо чужеродно. Даже несмотря на чувство дома, замечательно интимное чувство. Столь же мной владеющее до сих пор, когда я попадаю в Россию. Мне крепко повезло: душа моя, ничуть не разрываясь, привязана к обеим родинам. Правда, российские квасные патриоты утверждают с давних пор, что евреи продали Россию, но так как я своей доли денег пока не получил, я числю эту родину своей.

А как изменится в Израиле наш облик дальше - не берусь гадать или предсказывать. Сегодня всюду множество пророков и провидцев - им и карты в руки. Я же лучше приведу слова одного своего знакомого, который держит в Иерусалиме магазин со всякой вкусной пищей, и внутри там на стене висит плакат с отменным текстом:

"Евреи были, евреи есть, евреи будут есть!"

Уже идёт к концу эта глава, и вспомнился мне бедный Лев Толстой. Всю силу гения своего отдал он нравственному улучшению - всеобщему и своему в том числе. И в процессе заведомо обречённых стараний этих будто бы (за достоверность не ручаюсь, лень было искать) он записал однажды где-то в дневнике слова печальные и твёрдые (я прослезился, их услыша, от умиления и сострадания к душе его великой): "Трудно любить еврея, но надо!"

Это, конечно, трогательно очень, только совершенно и категорически излишне. Лично вот меня любить не надо - я не доллар и не юная девица. Имею я огромное количество различных недостатков. Среди которых (не последний) непомерная гордыня, что принадлежу к незаурядному и ярко одарённому народу.

Поэтому время от времени я закрываю глаза и с наслаждением слушаю безостановочное шуршание плавно текущего по свету всемирного еврейского заговора.

Что нам в нас не нравится

Кто бы там и что ни говорил, а самая поразительная еврейская черта это, конечно, неприязнь к евреям. Ни один в мире народ не сочинил сам о себе такое количество анекдотов, шуток и издевательских историй. Из них, на мой взгляд, лучшая - как Моисея некогда спросили, почему он, выведя евреев из Египта, после этого сорок лет водил их по пустыне. И немедля якобы ответил Моисей:

- А с этими людьми мне было стыдно ходить по центральным улицам!

Любое возражение, что, может быть, такие шутки сочиняют некие отъявленные юдофобы - не проходит, ибо я и лично знаю множество подобных сочинителей, и сам давно уже принадлежу к их числу, чего нисколько не стыжусь. И более того, мне кажется, что смелость смеяться над собой - такая ценная особенность, что надо ей гордиться, ибо есть в ней верный признак и душевного здоровья нации, и жизнеспособности её. Однако же -одно дело смеяться, а другое - воспалённо осуждать. А мы и в этом сильно преуспели. Где-то я прочёл идею, что возникла в нас эта способность (или склонность) ввиду как раз необычай-нейшей пластичности нашего народа: мы, дескать, веками живя в разных странах, живо перенимали и впитывали все психологические особенности коренного населения, а в том числе - и взгляд на нас, пришельцев. Как бы выучились мы смотреть на себя отчуждённо сторонними глазами, а уж тут - чего хорошего увидишь. И отсюда будто в нас такое ревностное самоосуждение. Возможно, спорить не берусь. Я вообще не спорю никогда с высоколобыми глубокими суждениями о чём бы то ни было. Они обычно сами выдыхаются со временем. Но не берусь я предложить и никакую собственную гипотезу, поскольку сам с собой обычно не согласен. Просто мне охота поболтать на эту щекотливую и занимательную тему.

Среди такого рода книг стоит особняком и сильно выделяется некогда знаменитая книга Отто Вейнингера - "Пол и характер". Жизнь этого философа, короткая и странная, длилась всего двадцать три года. В самом конце девятнадцатого века принялся он обучаться в Венском университете, кроме философии попутно изучая биологию, физику, математику и психологию. Ещё студентом будучи, он стал писать свою книгу, а издав её, с собой покончил. Было это в 1903 году. Мучила его депрессия, и с нею он не справился. А для самоубийства выбрал он известную венскую гостиницу, тот номер, где за несколько десятков лет до

этого скончался Бетховен.

Вся книга Отто Вейнингера - о различии мужчин и женщин. И мужчины все - носители добра, а женщины - наоборот. И до такой, представьте себе, степени, что "наиболее высоко стоящая женщина всё же стоит бесконечно ниже самого низкого из мужчин". Признаться честно, у меня такое убеждение клубилось некогда (мне изменила одна чудная подружка), только оно длилось около недели, потому что я другую встретил - совершенство, и моя по женской части мизантропия исчезла без следа. Я боюсь, что молодого Отто сходная постигла ситуация, но он глубокий был философ, и из краткого отчаяния выбраться не смог. И книга о женщине как воплощении всемирной пустоты и зла - осталась человечеству в наследство.

О евреях там большая интересная глава. Честно признавшись, что он сам из этого народа, Отто Вейнингер, не обинуясь, заявил, что всё еврейство в целом - это некий бездуховный и аморальный элемент, проявляющий женское начало в его худшем виде. Ибо евреи тяготеют к коммунизму, материализму, анархизму и атеизму. Перечень отменный, правда же? И что-то в этом есть. Чтоб избежать соблазна комментариев (а хочется -кошмарно!), я в дальнейшем только самые мои любимые цитаты приведу.

"Евреи, как и женщины, охотно торчат друг возле друга, но они не знают общения друг с другом ... под знаменем сверхиндивидуальной идеи".

"У истинного еврея нет того внутреннего благородства, которое ведёт к чувству собственного достоинства и к уважению чужого "Я".

"Евреи и женщины лишены юмора, но склонны к издевательству".

"Он (еврей - И. Г.) подобен паразиту, который в каждом новом теле становится другим... тогда как он остаётся тем же".

"Евреи семейственны (они хорошие семьянины), потому что семья - это "женское материнское образование, которое ничего общего не имеет с государством, с возникновением общества".

А так как Отто Вейнингер ещё очень не любил англичан, то в этом месте написал он, что англичане - "в известной степени родственны евреям". Бедные англичане, подумал я с сочувствием, так не вовремя попались под руку.

Но, невзирая на семейственность, - "нет ни одного народа в мире, где было бы так мало браков по любви, как у евреев: ещё одно доказательство отсутствия души у настоящего еврея".

Еврей - "не особенно добр, не особенно зол, в основе же своей он ... прежде всего - низок".

"Еврей, подобно женщине, нуждается в чужой власти, которая

господствовала бы над ним".

"Еврей - это бесформенная материя, существо без души, без индивидуальности. Ничто, нуль. Нравственный хаос. Еврей не верит ни в самого себя, ни в закон и порядок".

"Еврей - это разрушитель границ". Я тут не удержусь от комментария, поскольку на мой взгляд и вкус последнее утверждение - высокая и важная хвала. Но в юном мыслителе возобладал австрийский дух.

"Еврей не испытывает страха перед тайнами, так как он их нигде не чувствует. Представить мир возможно более плоским и обыкновенным - вот центральный пункт всех научных устремлений еврея".

"Этот недостаток глубины объяснит нам, почему евреи не могут выделить из своей среды истинно великих людей, почему им ... отказано в высшей гениальности".

Ну что, евреи, огорчились? То-то же!

И ещё одна, последняя цитата. Боже мой, как неохота мне её сюда писать, я вижу проницательные и насмешливые взгляды, устремляемые прямо на меня, и я поёживаюсь зябко, только внутренняя честность не даёт мне выкинуть слова из этой дивной песни:

"Еврей никогда серьёзно не считает что-либо истинным и нерушимым, священным и неприкосновенным. Поэтому у него всегда фривольный тон, поэтому он всегда надо всем острит".

Я не собираюсь вступать в дискуссию с бедным покойным философом, гораздо интереснее мне в этом перечне какое-то смутное звучание правды например, о нарушении границ.

Я абсолютно убеждён (а если довелось бы спорить, то готов поставить любую свою ногу против кочана капусты), что и мерзкую идею о делении народа на евреев и жидов - сочинили наши соплеменники. В ней ярко светит подлое и жалкое желание любой ценою отделить себя от вековечной участи народа, заранее обезопаситься и упастись таким психологическим предательством. У моей уверенности об авторстве этой идеи есть очень личное, глубинно статистическое подтверждение: десятками встречал я человеческую гнусь, которая эту идею прокламировала, и ни разу мне такое не сказал достойный человек. Это весьма удобная психологическая щель для неудачников, для прохиндеев, для завистников и всех, кто ищет крайнего в невзгодах своего существования.

Однако, вовсе и совсем не только для таких. Ибо весьма способные, даже талантливые, успешливые и по жизни состоявшиеся люди - своего еврейского происхождения чурались, от него пытаясь откреститься. Последнее слово - не каламбур, а

некая реальность, ибо не только предпочитали эти достойные люди умалчивать своё еврейство, но и крестились, дабы христианством его как бы зачеркнуть. В 1930 году некий немецкий философ Теодор Лессинг выпустил книгу под названием, исчерпывающе точно обозначившим эту психологическую загадку: "Еврейская самоненависть". Он описывал этот феномен на примерах известных деятелей немецкой культуры, то есть людей отнюдь не тёмных и способных осознать своё стремление порвать с еврейскими корнями одновременно с глубинным ощущением своего неискоренимого еврейства. С той поры, как мне рассказывали сведущие люди, появлялись разные и книги, и статьи о том же самом, но, увы, - мне эта вся литература напрочь недоступна. Поскольку я не шпрехен, я не спик и не парле, а на русском языке такое появиться не могло. И мне из-за невежества и темноты моей до множества вещей приходится доходить своим умом, который тоже ведь - увы не безразмерные колготки. Однако же домыслить, как проистекают и клубятся душевные метания такого рода - можно и воображению доступно.

Только сразу откажусь я от идеи, выдвинутой неким Барухом Курцвайлем, автором книги "Ненависть к самим себе в еврейской литературе". Нет, я этой книги тоже не читал, поэтому я уподоблюсь тому ныне знаменитому слесарю, который поносил книгу Пастернака, честно и неосмотрительно признавшись, что в глаза её не видел. Но у меня есть некая ключевая цитата из этой книги, так что я вполне могу понять, о чём там речь: "Для еврея, утратившего веру в своё духовное призвание, становится сомнительным и отвратным его физическое бытиё". Теперь доступен он любому поруганию и (почему-то) склонен разделить мнение окружающих о своём народе. Нет, я это не намерен обсуждать, поскольку убеждён, что вера в богоизбранность свою и своего народа, искреннее соблюдение обрядов - это текст из оперы совсем иной, хотя спасительной для самоуважения, но к нашей теме мало относящейся.

Однако вторит этому угрюмый голос мрачного писателя Йосефа Бреннера (начало прошлого века): "Можем ли сами мы не принять приговора тех, кто нас презирает? Поистине мы достойны этого презрения... Можно ли не ненавидеть такой народ? Не презирать его?.. Можно ли, видя его перед своими глазами, не поверить любым, самым гнусным наветам, которые возводились на него издревле?"

Таких тоскливых откровений - многое множество у самых разных авторов-евреев. Сколько мы такого же слышим на бытовом уровне - знает и слышал каждый. Что ж это такое и откуда?

С той поры, как психолог Адлер ввёл понятие о комплексе неполноценности, этот удобный для употребления ярлык принялись клеить куда ни попадя, но к нашей теме он действительно имеет прямое отношение. С ранних лет и в большинстве стран света ощущает юный еврей свою чужеродность окружающим сверстникам. Ему о ней напоминают, именно о ней талдычат ему родители: есть у тебя изъян (или особенность), ты должен быть усердным и старательным гораздо более, чем остальные. Люди маленького роста, с косоглазием и хромотой, заиканием или иными недостатками - классические обладатели комплекса неполноценности. Им свойственна злость на себя, придирчивый стыд за свои истинные (или мнимые) изъяны, и они всю жизнь их как-то компенсируют. Добиваясь утешающего их успеха в самых разных областях. Я в это не буду углубляться, я только напомню о Демосфене, который боролся со своим врождённым косноязычием так усердно, что сделался знаменитым оратором. И забыл начисто о своём когдатошнем недостатке, как забыл о своём маленьком росте тот артиллерийский офицер, который стал Наполеоном. Но с евреем вечно остаётся его происхождение, а вокруг и рядом - вечно остаётся шустрый и нелюбимый никем народ, к которому он от рождения принадлежит. И принадлежность эта - начинает его больно тяготить. И его ход мыслей (а точнее - ощущений) мы легко (хотя и очень приблизительно) можем себе представить. Попытаемся?

Я довольно многого добился и достиг в этой нелёгкой жизни. Мои способности, моё усердие, моё желание не быть последним, чем бы я ни занимался - принесли свои плоды. Я - нужный и уважаемый член этого общества, что бы я о нём ни думал. Разумеется, в стране, устроенной разумно, я достиг бы много большего и меньшими усилиями, но я родился тут и здесь живу. Всё хорошо и правильно за исключением того, что я все время помню: я - еврей. А я ведь настоящий русский (немец, англичанин, француз, испанец). Я владею языком намного лучше большинства коренного населения этой страны, я в точности такой же по одежде, по привычкам, поведению и отношениям с людьми. Литература и история этой страны - родные мне, они запечатлелись у меня в душе и памяти. Я нужен здесь и уважаем всеми, с кем общаюсь. И одновременно я чужой. Неуловимо я другой, чем те, с которыми хочу быть настоящим земляком. Они это знают, чувствуют и часто, слишком часто дают почувствовать и мне. Поскольку я еврей. И самое обидное, что я себя евреем ощущаю. И друзья мои ближайшие - евреи. С ними мне легко и интересно. Только это дополнительную воздвигает стену между

моей дневной, распахнутой и вечерней, чуть укромной жизнью. Почему мы так и не сумели раствориться? Почему на нас на всех так явственно клеймо (иного не найду я слова) принадлежности к той нации, которую никто нигде не любит? И вполне заслуженно, если поближе присмотреться. Эти юркие, пронырливые, цепкие, настырные, бесцеремонные до наглости, всюду проникающие люди - неужели я такой же только потому, что я из этой же породы? Самоуверенность, апломб, неловко скрытое высокомерие - с непостижимой лёгкостью сменяются у них пугливостью, униженным смирением, готовностью терпеть обиды и сносить насмешки. Втираются они всюду, куда только удаётся втереться. Корыстолюбие, угодливость, услужливость - и тут же назойливая тяга к равенству, хотя своим они готовы помогать в ущерб всему. А нескрываемая их симпатия друг к другу и стремление кучковаться среди своих? По самой своей сути торгаши, они готовы заниматься чем угодно во имя процветания и прибыли. За евреев-проходимцев мне так стыдно, словно это моя близкая родня. За что же мне такое наказание? И в том, что их не любят все и всюду - что-то есть, дыма без огня не бывает, невозможно, чтобы ошибались сразу все, везде и все века подряд. Нет, нет, ассимиляция и растворение - единственное, что способно выручить мой низкий и самоуверенный народ. Пусть станет он таким, как я, и я тогда смогу не стыдиться своей к нему принадлежности.

Обо всём этом с разной степенью сдержанности говорили и писали люди разные - а для примера назову я столь несхожие имена, как Карл Маркс и Борис Пастернак.

Такое вот стремление и невозможность слиться с окружением - терзают, как мне кажется, довольно многих. Сам я это в молодости кратко пережил, потом ушло - и невозвратно, к счастью. Никаких осознанных усилий я к тому не приложил, мне просто повезло.

Когда же это с нами началось? И почему именно с нами так случилось?

Отвечу я сперва вопросом на вопрос: когда, читатель, по твоему просвещённому мнению, прозвучало в первый раз зловещее предупреждение о том, что евреи потихоньку завоёвывают мир?

Не напрягайся, друг-читатель, и не торопись, ты всё равно не угадаешь, ежели не знал заранее. Этот вопрос я задавал весьма осведомлённым людям. Называли мне в ответ века, довольно близко отстоящие от нашего времени. Теперь цитата (честное слово, подлинная):

"Еврейское племя уже сумело проникнуть во все государства,

и нелегко найти такое место во всей вселенной, которое это племя не заняло бы и не подчинило своей власти".

Эти слова написал историк и географ Страбон в первом веке до новой эры! Вот ещё когда всё стало ясно умным людям! Так что мифы христианства только усугубили замеченное много раньше.

Очень, очень рано принялись бежать евреи с того клочка земли, где я сейчас сижу, беспечно разглагольствуя о превратностях национальной судьбы. Этот клочок земли непрестанно топтали орды завоевателей, и в поисках покоя и благополучия отсюда люди уходили. Надо ли говорить, что на такое отваживались люди сильные, активные, готовые трудиться и отстаивать своё существование. Очень часто - с острой авантюрной замашкой. Это были не беженцы (когда бегут, то все подряд и без разбора личных качеств), это были переселенцы-эмигранты, изначально готовые к нелёгкой участи пришельцев. Было их довольно много. Ещё до Вавилонского пленения в Вавилонии жило такое же приблизительно количество переселившихся евреев, как в самой Иудее. Скапливались они и в других окрестных государствах. Всюду в те века было изрядно много пришлых людей, и к ним терпимо относились, но евреи почти сразу оказались исключением. Они упрямо соблюдали свои странные обряды (обрезание, субботу), поддерживали своих и проявляли раздражавшую других сплочённость. Самое же главное - преуспевали, процветали, а отдельные из них достигали разных административных высот, что уж вовсе непристойно для инородцев. То есть, говоря короче, было всё, как и сейчас - а это ли не повод для неприязни? Славились они в те времена как отменно храбрые и верные солдаты - им, бывало, поручали самые опасные - пограничные гарнизоны. Тут непременно приведу я некое забавное свидетельство: писатель того давнего времени Аполлоний Молон не любил евреев так страстно, что пытался опровергнуть общее мнение об их воинской храбрости. Это не храбрость, написал он презрительно, это "безумная и дерзкая отвага". Такая репутация была у наших предков. Не чураясь никакой возможности выжить, занимали они те щели и лакуны, в коих западло было работать коренному населению - к примеру, охотно служили в таможнях и жандармерии на речных торговых путях (это уже в Греции). И торговали, разумеется, повсюду обвинение в коммерческой недобросовестности возникло почти немедленно. Конечно, не были они святыми в этом смысле, только с греками им было не тягаться, замечает автор книги, из которой я сейчас обильно дёргаю удобные мне факты.

Историк античности Соломон Лурье написал свою книгу

"Антисемитизм в древнем мире" ещё в начале двадцатых годов. Много лет назад она ко мне случайно попала, и я был просто потрясён тем, насколько ничего не изменилось. Автор цитировал и анализировал сохранившиеся древние тексты и бесчисленные книги своих коллег, настроенных и за, и против. На каких-то страницах этого сухого академического текста я заливался смехом: например, одно из самых распространённых обвинений того времени было еврейское нахальство. Под этим словом подразумевалась та бесцеремонная активность, коей и по сю пору славен мой народ. Но более всего пугало древних единение евреев. Вот как пишет об этом сам Лурье: "Это еврейское государство без территории, эта сплочённость, солидарность и тесная кооперация вызывали сильнейшее недоверие и страх в античном обществе".

Словом, я там вычитал довольно много и советую другим. Но я пока что непростительно отвлёкся от той темы, которую затеял. А забрёл я в эту историческую даль только затем, чтобы сказать пустые и банальные слова: всегда так было, и неприязнь (до ненависти доходящая) других народов многие столетия обжигала, отравляла и подтачивала наши души. А мифы христианские - они только добавились к тому, что уже было многие столетия до них. И безнадёжные желание и жажда быть, как все - одно имели утоление и выход: согласиться, что евреи -в самом деле пакостный и вредный человечеству народ. И начинали мы смотреть глазами наших осудителей. И смотрим до сих пор, если признаться честно. А такого рода взглядом можно многое увидеть, ибо мы и впрямь весьма разнообразны и полярны в наших качествах (выражаясь мягко и осмотрительно). К тому же очень ярки мы и интенсивны как в высоких, так и в низких проявлениях. Наблюдая взглядом пристальным, к тому же заведомо неприязненным (в силу вышеназванных мотивов), каждому легко и просто углядеть лишь низменную часть. Отсюда - и такое редкостно огромное количество хулы в свой адрес.

Тут читатель памятливый с лёгкостью схватит меня за руку: так ты ведь изложил как раз ту точку зрения, что ты упоминал в самом начале - дескать, от большой психологической пластичности мы просто смотрим на себя глазами окружающих. Нет, отвечу я, разница есть. То пристальное и зоркое (сплошь и рядом - осудительное) отношение к собственному народу, которое я описал только что - проистекает из желания видеть лично себя в лучшем свете, как бы отделиться и обособиться от мало симпатичной общей массы, кажущейся слитной неприязненному взгляду. Я не такой, как эти, я хороший, хоть я и еврей. Такое отношение к восточно-европейскому еврейству

открыто культивировали, например, немецкие евреи, полагавшие себя такими культурными и высокоразвитыми, такими немцами, что вовсе были им не соплеменники те тёмные замшелые евреи, что, к примеру, жили в Польше и на Украине. Что судьба их оказалась одинаковой, не стоит и напоминать. Короче, я о том, что наше осудительство своих - оно от острого желания возрадоваться собственному иллюзорному слиянию со всем человечеством. Когда б на это человечество мы посмотрели столь же проницательно, у нас это желание весьма ослабло бы. Но мы ко всем подслеповато снисходительны. И мы веками жарко жаждем слиться с большинством. Увы, но так устроен человек, не мне его за это порицать.

В Израиле нас ожидало болезненное сокрушение мифа о вековечном единении еврейства. Наша пресловутая пластичность сыграла с нами забавную и горестную шутку: сюда приехали евреи самых разных национальностей. Нет, я нисколько не оговорился: приехали яркие представители тех народов, среди которых они жили. И трещины разлада и непонимания тут пролегают по линиям совершенно неожиданным. Евреи светские и евреи религиозные, евреи восточные и западные. Ибо евреи из Марокко и Узбекистана, из России и Йемена, из Эфиопии и Грузии - так похожи на народы тех стран, откуда вышли, что порой с трудом находят общий язык, и лёгкий оттенок снисходительного презрения витает в наших разговорах друг о друге. Те слова, что говорят порой о соплеменниках российского разлива разные высокие раввины (люди с очевидностью глубокой веры, только очень уж кавалерийского ума) - составили бы счастье для любой черносотенной печати. Но невидимые миру трещины проходят и между евреями религиозными, ибо сильно разветвились за века их религиозно-партийные пристрастия. Запрет на осуждение друг друга соблюдают они тщательно и прочно, только нет-нет, а проскользнёт их подлинное отношение к позорно заблуждающимся единоверцам. А порою этот чисто идеологический разлад всплывает вдруг отчётливо и ярко. И тогда такое можно прочитать, что хочется составить том по типу тех, что называются "Евреи шутят", и назвать эту заведомо толстую и удивительную миру книгу - "Свод еврейской глупости". Я поясню это простым примером.

В городе Харькове живёт некий почтенный еврей Эдуард Ходос. Он человек почтенный в полном смысле слова, ибо возглавляет городской Еврейский Совет. Человек видный и состоятельный, он часто даёт интервью и даже написал две книги (у одной из них - знакомое название: "Моя борьба"). У него есть лишь одна, чисто человеческая слабость: он не любит хасидов. Но

не всех, а именно хасидов Любавического Ребе (сокращённо это религиозное движение именуется Хабад). Так вот в одном из интервью он объяснил читателям, что Монику Левински натравил на ширинку президента Клинтона именно Хабад, поскольку это был один из способов скинуть Клинтона и подвинуть ближе к власти государственного секретаря, который втайне сам - хабадник (бедный секретарь и знать, естественно, не знает о своём скрытом религиозном пристрастии). А из книжки этого мыслителя я вычитал историю (и кровь похолодела в моих жилах) о происхождении денег у приверженцев Любавического Ребе. Эдуарду Ходосу идея эта в голову пришла (он так и пишет), когда он случайно как-то вечером посмотрел по телевизору передачу о послевоенной тайной жизни в Америке того самого знаменитого фашиста Мюллера (из "Семнадцати мгновений весны", добавлю я для демонстрации своей осведомлённости). И осенило Ходоса пронзительное озарение (вслушайтесь в логику): если столько лет был ещё жив Мюллер, то значит - жив был и Борман, а значит - пресловутые огромные деньги нацистской партии были им не спрятаны, а переданы кому-то! А кому именно - ты уже догадался, читатель? Вот отсюда и возникли у Хабада его средства для распространения по миру. Самому отпетому антисемиту - в голову такое бы не пришло, а если бы пришло, то он бы промолчал, чтоб не осмеяли даже единомышленники.

А признаться честно - мне было чуть грустно, когда лопнул в моей картине мира этот красивый черносотенный миф о нашем единстве.

Забавно, что роль некоего обобщённого еврея исполняет в наше время Израиль. Я не говорю о том, что постоянно он оказывается в фокусе внимания других народов - нет, я о самих евреях говорю. Чем дальше от Израиля живёт еврей, тем больше он его любит, и тем больше он имеет всяческих советов и претензий. Евреи всего мира не сводят с Израиля глаз (и я их понимаю), ободряя или осуждая его как некоего близкого, но недалёкого родственника, довольно симпатичного Изю, за которого попеременно чередуются то стыд, то гордость. Чаще всего Изю осуждают: что это он столько лет никак не сыщет общий язык со своими соседями! То он заносчив и задирист не по чину, то ещё хуже - позорно мягок. С обвинением последним я довольно часто сталкиваюсь, будучи в Америке. Ко мне почти что в каждом городе приходят за кулисы или ловят меня в антракте старики, с которыми проистекает практически один и тот же разговор:

- Вы, кажется, живёте в Иерусалиме? - утвердительно спрашивает собеседник. Я киваю головой.

- И вы туда вернётесь? Я опять киваю головой.

- А когда? Я отвечаю.

- Пожалуйста, когда вернётесь, сразу передайте вашему правительству: ни шагу назад!

И собеседник отпускает меня с чувством замечательно исполненного национального долга. А тот факт, что где я, а где правительство - его не просто не волнует, он уверен, что мы все тут - воедино. Ах, когда бы это было так!

Есть один еврейский писатель (автор интересной русской прозы), у которого, когда он пишет публицистику, есть два всего врага: оставшиеся в России евреи и Израиль как таковой (хотя Израиль - враг любимый, ибо родственник). Российских евреев он клеймит не всех подряд, а только своих коллег по перу. Зато клеймит за подлинное злодеяние: когда он жил ещё в России, то они его не допускали разрабатывать ленинскую тему, а он развить бы образ Ленина мог более талантливо и глубоко. Ну, после этого о нём, казалось бы, уже не стоит говорить серьёзно, только он всё время пишет нечто пылкое, ругая упомянутого Изю и обучая его жить. А главный тезис тот же: никакой позорной мягкости, вперёд и до победного конца! А слова и оскорбления, которые при этом он употребляет, не могу здесь привести даже я, любитель вольной лексики. Естественно, этот учитель жизни проживает в Германии, так что ему и карты в руки в смысле понимания ничтожных Изиных проблем.

Есть ещё одна забавная идея о причинах нашей самонеприязни. Мы, дескать, такую подсознательную чувствуем семейственность в отношениях друг к другу, что не можем мы не быть пристрастны, а уж как мы осудительны по отношению к любой родне - известно каждому. Я бы не скидывал эту идею со счетов, хотя она мне кажется чуть смешноватой. Но тут, в Израиле - я к ней вернулся уже с меньшим недоверием. Мы все тут чувствуем себя, как дома, а к домашним всех мастей - известно требовательное и безжалостное отношение. Как и в целом - требовательность и придирчивость к естественному (и родному) месту обитания.

О, как неистовствуем мы, живя в Израиле! За что мы его только не поносим! Как-то неохота и перечислять. Одну только историю я непременно расскажу - о дьявольской бездушности страны, где мы так обречёно прозябаем. Жил некий средних лет еврей в России где-то. Заболели почки. Сразу обе. И врачи сказали сразу: делать операцию бессмысленно, вы безнадёжны, жить осталось месяц или два. И от отчаяния (только от него) еврей этот приехал умирать в Израиль. Многие к нам приезжают, заболев. Израиль в этом смысле превратился в некий госпиталь,

куда берут безоговорочно и невозбранно и немедля лечат. Многие после того и уезжают. На здоровье, можно лишь гордиться пропускной способностью и сумасшедшим гуманизмом этой клиники, имеющей полным-полно других забот. Но я отвлёкся. Осмотрели человека местные врачи, и покачали головами, и назначили, конечно, пенсию, поскольку - полный инвалид, ни о каком труде не может быть и речи. Получал он пенсию, пока что вовсе не собирался умирать, а вскоре лёг на операцию - врачи решили, что в таком безвыходном и очевидном случае имеет смысл рискнуть. И полностью вернули человека к жизни. Полностью буквально, встал из-под ножа совершенно здоровый человек. И в связи с этим через год, когда настало время подтвердить инвалидность, её не подтвердили, и его лишили пенсии. Какой тут шум поднялся и какие жалобы на медицинскую бездушность! Я, эту историю услышав, решил провести собственный психологический эксперимент. Я принялся везде её рассказывать. Почти до самого конца меня выслушивали нехотя, вполуха, ибо разговорное пространство сильно тут насыщено рассказами о том, как жизнь вернули, но едва только текли слова, что пенсии лишили, одинаково у большинства реакция звучала:

- Какие сволочи!

Однако же, с чего я так раскукарекался? Ведь никого ни в чём ни убедить я не хочу, и порицать я никого не собираюсь - так, беседую. Но у меня в блокноте давнем некий эпизод записан, тут он будет кстати. У меня помечено, что дело было в Харькове когда-то (Ходосу - мой пламенный привет). Ехала в автобусе большая группа старших школьников, а с ними почти столь же юный их руководитель. Явное, как говорилось так недавно, лицо еврейской национальности. Школьники галдели, спорили, вопили, их вожатый тихо их пытался урезонить, но напрасно. Вдруг он громко выговорил:

- Слушайте!

От неожиданности наступила тишина, и, в эту звуковую щель просунувшись, вожатый им сказал:

- Вы себя ведёте, как болтливые попугаи и упрямые ослы! Молчание ещё слегка продлилось, а вожатый улыбнулся и сказал:

- Я дал намёк!

Неизбежность странных сюжетов

Везде полным-полно людей, самозабвенно и наивно полагающих, что им понятно, как устроен этот мир с его причинно-следственными связями. Наука изо всех сил помогает им удерживать эту спасительную для душевного спокойствия иллюзию. Однако же, есть области такого полного незнания нашего, что когда оттуда доносятся какие-то слабо достоверные вести, мы предпочитаем снисходительно пожать плечами, буркнуть что-либо пренебрежительное и продолжать наше спокойное существование. Хотел бы я относиться к числу этого счастливого большинства, но что-то мне мешает, постоянно о себе напоминая. Это странное недомогание присуще было мне, по всей видимости, с раннего возраста - во всяком случае, подростком будучи, я почему-то доверял не сразу неопровержимым, например, законам физики. Так помню до сих пор, как в шестом классе просто засмеялся, когда нам преподали первый закон Ньютона - об инерции, как помнят все. Детали я уже забыл, но мой приятель так меня тогда подначил, что я решил проверить существование этого закона и на спор прыгнул из трамвая на ходу против движения. По счастью, это было недалеко уже от остановки, и трамвай замедлил ход. А может быть, я просто трусил спрыгнуть раньше - не суть важно. Только с дикой силой понесло меня по воздуху и врезало сперва в огромную тётку, а потом в кого-то рядом. Это и спасло меня от покалеченья, но от милиции нисколько не спасло. Туда были немедленно вызваны родители, и так диковинно выглядело это хулиганство, что меня отдали им даже без штрафа. Этот эпизод запомнился мне на всю последующую жизнь, потому что в тот вечер отец жестоко высек меня. Задним числом я понимаю, что он бил меня, избывая собственный скорее страх, чем в целях воспитания - на дворе стоял пятидесятый год, и евреям не рекомендовалось в эту пору даже и высовываться из трамвая, а тут нате. Много позже (уже начал я писать научно-популярные статьи и книги) я накинулся со страстью и вожделением на любые сведения о телепатии, телекинезе и всём прочем, что прокалывало тонкий шатёр определённости и понимания мира. Очень было трудно что-нибудь прочесть об этих чудесах, сегодня молодым распахнута любая информация о мире, в том числе - и та, которая настолько противоречила марксистско-ленинской философии, что была просто изъята из обращения. Потом я к этому остыл, но ощущение, что прямо рядом с нами существует нечто непостижное, притом со всякими своими связями, законами и

отношениями - чувство это так и не оставило меня. И я бываю счастлив, когда щекочущее ощущение загадочности мира постигает мою будничную жизнь. Бывает это, к сожалению, нечасто, не всегда со мной, но вспоминать такие случаи - душевная отрада в чистом виде. Я говорю о сбывающихся предсказаниях.

В начале шестидесятых это было. Я уже недели три торчал в командировке в Красноярске, когда вдруг узнал случайно, что через три дня отплывает вдоль по Енисею теплоход, на котором состоится конференция биологов и физиков из разных городов страны. Я кинулся звонить в журнал "Знание сила", мне прислали бумажку, что я - их автор, и в институте биофизики меня охотно занесли в состав участников, поскольку больше журналистов не было. И оставалось только как-то всё уладить с командировкой от моей наладочной конторы - надо было оправдание того, что я на десять дней исчезну. По совету и наводке местного приятеля поплёлся я к его знакомому - врачу, которому всё честно изложил. А мы с этим врачом ещё недавно вместе пили, разговор был прост и доверителен. Врач думал с полминуты и сказал:

- Я дам вам справку, что у вас тяжелое сотрясение мозга, а число поставлю - пятый день вашего отъезда. Первые дни вас никто не хватится, а дальше - справка.

И добавил почему-то:

- Она вам наверняка пригодится.

Я его слова так понял, что она мне пригодится как отмазка, и ушёл, большую выпивку по возвращении пообещав.

И плыл я, плыл, отменный трёп на палубе и по каютам шёл во время перерывов, а на заседания ходить мне было ни к чему, я ничего не понимал. И начисто забыл я о своей инженерной командировке, наслаждаясь видами тайги и болтовнёй. На пятый или на шестой день такого дивного путешествия мы где-то стали на причал часа на два, погода тёплая была не по-сибирски, все купались, молодые с невысокого мостка на берегу прыгали в воду. Я на них смотрел, стоя на средней палубе нашего теплохода. А когда решил купнуться тоже, то с неё вниз головой и прыгнул. Если бы я это сделал, стоя на верхней палубе (а запросто ведь мог), то никакая уже справка мне была бы не нужна. Потому что аккуратно головой я врезался в здоровый донный камень, который сверху я в песке не разглядел. Меня тошнило, гулом боли надрывалась голова, кровь унялась довольно быстро, но корабельный врач посоветовал мне день поваляться, не двигаясь - очевидное, сказал он, вульгарное сотрясение мозга. Справка моя была помечена этим числом.

Вернувшись в Красноярск и ставя тому доктору обещанную

выпивку, я рассказал ему о совпадении, на что в ответ, слегка смутившись, ибо, как и я, отпетым вырос материалистом, он сказал:

- Вы знаете, сейчас об этом как-то глупо и неудобно говорить задним числом, но сукой мне, однако, быть, если я вру, клянусь вам собственным здоровьем, я вам справку эту дал, отчётливо увидев вас с пробитой головой. Это мелькнуло, как галлюцинация.

И тут мы оба заколдобились от дуновения нездешнего духа и довольно сильно напились в тот вечер. Впрочем, мы и так бы напились. А тот случай накрепко запал в мою память, чтобы всплыть спустя лет пятнадцать.

Снова я сидел и выпивал в большой компании приятелей - один из них только что защитил диссертацию. Рядом со мной сидела поэтесса, которая по ходу разговора мне похвасталась, что здорово гадает по руке. Я молча протянул ей свою левую ладонь. Гадатели обычно козыряют тем, что говорят клиенту что-нибудь о его прошлом - так как мы знакомы были очень давно, и она всё обо мне знала, прошлое предсказывать она не стала, обещав про будущее что-нибудь сказать. И вдруг ужасно закручинилась и сникла.

- Игорь, - сказал она, - я не могу понять, тут у тебя линия жизни прерывается на несколько лет. Ты вроде бы и жив, и вроде нет тебя. А после снова тянется, но такая непонятная, как будто полностью зависит от тех лет, которые в разрыве.

Тут я гордо засмеялся, что рука моя такая необычная, и мы продолжили шумное возлияние. А посадили меня года через два, и то гадание я сразу вспомнил. А связь последующей жизни с этим провалом - песня особая, раздолье для психологов, пишущих о том, насколько наша жизнь текущая, поступки и привычки наши - определяют собой будущую судьбу. И тут я ненадолго отвлекусь.

Когда-то в молодости написал я большую пьесу. Вся она была беспомощной и вялой. Один приятель мой, по театральной части дока, прочитав её, сказал:

- Старик, порви это и выбрось. Или выбрось, а потом порви. Ты никакой не драматург. Единственно приятное во всём твоём труде - это образ автора, и то лишь потому, что я тебя лично знаю, в пьесе его видно плохо.

Я огорчился и послушался. Однако, в этой хилой драме была одна идея, до сих пор созвучная моим представлениям о жизни и судьбе. Там кроме главного героя (непрерывно он болтал разные шутки, за что его по справедливости карали) был ещё старик, время от времени возникавший в очень разном виде - то цветущим и самодовольным оптимистом, то изнурённым

желчным мизантропом. Это было будущее главного героя, ибо в зависимости от совершаемого им - менялся облик его старости. Я и посейчас уверен в том, что мы своим текущим выбором поступков почти полностью определяем своё завтра. И то влияние обрыва линии на мою жизнь после того, как она снова возродилась - очень мне сегодня понятно.

Издавна связано с цыганками почти любое предсказание будущего, и мы известно как относимся к таким гадалкам. Но только до поры. Уже сидел я в следственном изоляторе примерно месяц или два, жена везла мне передачу. С нею вместе ехал мой свояк, его семья была в отказе, выезд их в Израиль выглядел пустой мечтой. А в электричке вдоль прохода шла цыганка, безуспешно предлагая пассажирам погадать. Жена моя таких вещей очень боится и не любит - когда цыганка с ними поравнялась, жена ей сунула три рубля и отказалась от гадания, а свояк сказал цыганке снисходительно, что он и сам ей может погадать. Цыганка деньги с благодарностью взяла, остановилась на мгновение, на них обоих глядя, и сочувственно сказала Тате:

- Ты не огорчайся. Враги роют-роют, но не нароют, снова с тобой будет твой любимый, только не сразу.

После чего перевела взгляд на свояка и усмехнулась.

- А ты, умник, - сказала она, - сегодня как домой вернёшься, там тебе лежит бумага важная, ты её долго ждал.

И снова поплелась неторопливо по проходу. Вернувшись домой, свояк мой обнаружил разрешение на выезд. Кто-нибудь возьмётся это объяснить? Я - нет.

А недавно мы услышали с женой историю прекрасную и столь же поразительную. Нам её повествовала женщина за пятьдесят, счастливая донельзя, пребывающая до сих пор в благодарном удивлении перед судьбой. В Америку она приехала недавно, к одиночеству уже почти привыкла (муж у неё умер), и в жизни крупных перемен не ожидала. А подруга её как-то попросила составить ей компанию, пойдя к гадалке - некие психологические ей нужны были детали для статьи. И та пошла. Раскинув карты, ей гадалка странные, совсем невероятные слова сказала: что она в очень скором времени выйдет замуж замечательно удачно, будет счастлива, а муж её - он из России вроде и не из России в то же время, её намного старше, очень много пережил, два у него сына и полно в доме собак. Она на это усмехнулась не без горечи, а несколько дней спустя, когда была в гостях у старого приятеля, познакомилась с немолодым мужчиной из Литвы. Сидели они, пили-разговаривали, а когда она собралась уезжать, сказала, что дороги она знает ещё плохо, и он ей предложил ехать за его машиной. Время ещё было не позднее, и на предложение

посмотреть его собак она охотно согласилась, ибо старая собачница сама. А в доме у него они опять разговорились. И в гетто был он, и концлагерь пережил, а сыновья его (жена - покойница) уже давно выросли и живут отдельно. Словом, по дороге домой вдруг с ужасом она сообразила, что это в точности тот самый, о котором говорили карты. И сошлись они мгновенно - в нашем возрасте, с замечательной простотой сказала женщина, глупо тянуть время и кокетничать. И всё было прекрасно, только он пошёл к врачу однажды - обнаружилось, что опухоль, довольно частое явление у мужчин в возрасте. И надо делать операцию, которой неминуемое следствие трагедия для семейной жизни. И тогда пошла опять она к гадалке: дескать, полностью сбылось, но как же счастье? И гадалка снова раскинула карты и смущённо сказала, что не видит никакой операции. И женщина пошла домой угрюмо. А её мужу позвонил приятель в тот же день: в каком-то городе у его коллег уже работает лазерный аппарат, и никакой не надо операции, всё нужное делается лазерным лучом без никаких от этого последствий. Я что-то, может быть, по медицинской части переврал или напутал, только суть этой рождественской сказки - передал я совершенно точно.

С удовольствием на этой бы странице я оставил чистое пространство, ибо каждый - я уверен - может приписать сюда подобные истории. Поскольку мизерно и жалко наше знание о мире, и невероятное нас окружает так же тесно, как одежда будничного дня. Незнаемое, непознанное, однако вряд ли непостижимое, поскольку кажется порой, что не сегодня завтра нечто обнаружится, и станет ясно, что же именно нам предстоит искать и измерять, поскольку ведь пока и это непонятно.

Один давний приятель рассказал мне поразившую меня историю. Он как-то утром ехал на работу в очень угнетённом душевном состоянии. В семье у него пошли тяжёлые нелады, и взаимные обиды - словом, он собрался уходить от жены и сумрачно об этом размышлял. По радио шла в это время передача, некая теологически настроенная женщина с уверенностью утверждала, что задумавшийся человек почти немедля получает ответ на свой любой вопрос, и надо лишь уметь услышать или же увидеть этот ответ. Приятель усмехнулся, посмотрел по сторонам и вдруг увидел шедшую по улице его давнишнюю любовницу. Он сразу вспомнил все тяготы их короткого романа, мерзкие подробности разрыва вспомнил и поехал дальше. Он поехал дальше и за полчаса дороги увидал по очереди ещё троих своих былых подружек. Одна куда-то шла, другая дожидалась перехода, третья с кем-то разговаривала. Всё это происходило отнюдь не в центре города, такое совпадение

было совершенно невозможно, теория вероятности с очевидностью и крепко нарушалась. На работу он приехал с полной убеждённостью, что уходить не стоит.

Я так много всякого уже наплёл в этой главе, потому что никак не поднимается рука приступить к тому, из-за чего я всю её затеял. Уподобляя служителей музы Клио гадалкам, кто-то (чуть не Гегель?) замечательно сказал, что историки - это пророки, предсказывающие прошлое. И в отношении вчерашней лишь истории России это более, чем справедливо: столько неизвестного таится там, что хоть иди к гадалкам, если нет терпения дождаться, пока до этого доберутся историки. Точней - пока их пустят в эти дебри, поскольку множество архивов так и пребывают под замком. Или уже сгорели, ибо среди всякого верховного надзорсостава в нашем лагере мира и труда было изрядно много предусмотрительных людей. И то, о чём хочу я рассказать - покуда белое пятно. Если и было вообще. Но - по порядку.

Сегодня по журналам и газетам нескончаемые протекают интервью, из коих выясняется, что все до одного, кого ни спросишь - самоотверженно и беззаветно боролись с советской властью, от неё терпя различные за это неприятности. Даже эстрадные певцы рассказывают такое, что даёшься диву, сколько было мужества в их тонких певчих организмах. А так как я никогда с советской властью не боролся (по лени, трусости, разгильдяйству и душевной темноте), то мне очень застенчиво и странно излагать некую версию, которую пока что опровергнуть или подтвердить возможно только с помощью гадалок. Когда-нибудь откроются архивы - если они есть, и обнаружат наши внуки много нового. Которое, конечно, им будет так же до лампочки, как нам - загадка, например, травили англичане Бонапарта на острове святой Елены, или же он умер сам.

В пользу того, что домыслы мои - не плод фантазии и не от мании величия (бреда преследования и. т. п.) - тот важный факт, что Виктор с Ирой Браиловские (центральные фигуры этой версии) со мною разделяют мою точку зрения, что редкость в отношении ко мне этих умных и проницательных людей.

Теперь - о сути дела. В конце семидесятых годов настолько плохо обстояли все дела у советской власти, что было ей задумано несколько сильно отвлекающих мероприятий. Это ведь только говорится так красиво и неопределённо: эпоха застоя - а на самом деле это было время неостановимого гниения. А уже отсюда очевидна польза крупных и красивых действий демонстрации имперской мощи, например (кто знал, что обернётся маленький Афганистан таким позором?), а то и

вскрытие врага, из-за которого проистекают государственные беды. Я лично убеждён, что к зарождению разных спасительных идей такого рода тесно был причастен Андропов - фигура до сих пор загадочная, небанальная, особенно на фоне того дома престарелых, что образовался к тому времени в Кремле. А что фигура крайней подлости - так ведь и это как бы естественно, поскольку речь идёт о государственном масштабе, и Макиавелли тут закрыл своей персоной и трудами любые пустословия о нравственности. Писание стихов, любовь к живописи, явные личностные черты - донельзя непростой и многослойный был Андропов человек. Отсюда мне и кажется, что та идея, о которой я хочу рассказать, исходила именно от него.

Напомню кратко (я писал уже об этом), как попал я в руки правосудия. В мае семьдесят девятого года был я вызван якобы по поводу отъезда (мы уже полгода, как подали заявление), но провели меня в маленькую комнату, где два симпатичных молодых чекиста предложили мне сотрудничать с конторой. (Кстати, расшифровку аббревиатуры КГБ как Конторы Глубокого Бурения сочинил некогда именно я, чем рад похвастаться). Обещали мне не только ускорение отъезда, но и всяческую помощь впоследствии. А интерес их был - к подпольному журналу "Евреи в СССР", а точней - к редактору этого журнала, другу моему Виктору Браиловскому. Я что-то должен был на него показать, а что конкретно - мне пока не говорилось, я сначала должен был им дать согласие. На все посулы ихние я отвечал дурацким смехом, а сотрудничать категорически отказался. Угроз не было. Но в конце нашего недолгого разговора один из них сказал:

- Игорь Миронович, мы вас непременно посадим. Вы оказываетесь свидетелем того, что можно нас послать на хуй и спокойно после этого гулять на свободе. А вы - коллекционер, вы человек уязвимый.

И на это я в ответ беспечно засмеялся, мы расстались очень мирно и спокойно. А спустя три месяца я в августе был вызван в город Дмитров в качестве свидетеля по какому-то неведомому делу. Я туда поехал, и уже домой не вернулся. Привозили меня на три обыска, но уже в качестве арестованного. Два мелких пригородных вора (один в лагере уже сидел, а второй - на химии отбывал) показали, что они мне продали пять краденых икон. Заведомо краденых, так как я об их происхождении якобы знал. А так у меня при обыске их не нашли, естественно (их просто не было в природе), то судить меня пообещали не только за покупку, но и за сбыт краденого, такова была простая и неопровержимая логика советского правосудия. А за время трех целодневных

обысков забрали у меня не только всю коллекцию живописи, но и гору самиздата с тамиздатом, записные книжки, рукописи, даже книг немного (в том числе - и Библию зачем-то). И сидел я, наслаждаясь новым для меня общением с некрупным уголовным отребьем, настораживаясь очень постепенно. Ибо все это сперва казалось мне каким-то глупым и случайным недоразумением.

Следствие по моему мелкому и рядовому делу длилось жутко долго - около полугода. И какие-то всплывали на допросах обстоятельства, точней вопросы, от которых холодок бежал по коже. Так однажды мне зачли огромный список разных лиц - на каждую фамилию я должен был ответить, знаю ли я такого человека. В списке этом, кроме моих давних знакомых (и незнакомых) вдруг мелькало имя африканца - был, например, шофёр посла республики Чад, и разные другие, столь же неизвестные мне иностранные имена. А рядом - имена, весьма в те годы звучные - священник Глеб Якунин, например, или Владимир Альбрехт, автор знаменитой некогда книги "Как вести себя на допросах". Зачем по делу мелкого уголовника составлялся этот странный список? И было много всякого другого непонятного, не хочется зазря перечислять А от моей семьи незримое и постоянное участие Лубянки в этом деле даже не скрывалось (некий тип оттуда долго убалтывал, настаивая и грозя, мою тещу, чтоб она меня во имя блага всей семьи уговорила все признать - что именно, он умолчал). И детективные клубились разные события на воле в это время, мне усиленно приклеивался облик матерого и крупного преступного дельца.

Вернувшись, я эти истории собрал воедино. Из мозаичных обрывков вырисовывалась очень достоверная картина. И в нее (весомый признак достоверности) укладывались, не противореча, все поступки многочисленных участников игры.

Ибо игра была задумана - серьезная и освежительная (не для нас). Намечался, по всей видимости, крупный и шумный процесс, в ходе которого еврейское движение за отъезд обретало некий совершенно иной, и сильно пакостный характер. Именно евреи оказывались полностью виновны в той атмосфере общего брожения, которая была в империи в те годы очень ощутима. Ибо именно они все это брожение питали с помощью вековечного еврейского подрывного средства - деньгами. Источник этих денег стал бы темой особенно болезненной, поскольку не из мировых неисчерпаемых запасов еврейского капитала брались эти средства, а из недр самой России, обездоленной и без того. Евреи занимались вот какими тайными делами: всюду ими покупались разные художественные ценности. По бросовым, конечно, ценам, ибо евреи дорого платить не любят. Далее по нашим тайным

каналам (у евреев их всегда было достаточно) эти ценности переправлялись на Запад, продавались там на аукционах за бешеные деньги, деньги эти возвращались в Россию, тут и начиналось главное. Шли они не только на помощь семьям еврейских отказников, но и на все подрывные движения и комитеты - за права ли человека, за охрану ли прав верующих, на поддержку нелегальных изданий любого вида. Евреи оказывались финансистами всего антисоветского брожения и тем самым - отравителями всех идеологических колодцев. Оставалось лишь найти человека, на котором убедительно сходились уголовные и антисоветские пути.

А я - отменно подходил для этой роли. Мой покойный папа жутко верно говорил, что все мои приятельства никак меня к добру не приведут. Мы даже догадались, кто именно указал на меня в этом качестве лубянским исполнителям идеи, и почему я им сгодился. Мой дом действительно в те годы был широко распахнут для кого угодно. Люди самого различного антисоветского толка - порой даже враждующие друг с другом из-за несходства убеждений заходили к нам на рюмку и поговорить. А поскольку я коллекционером был заядлым и разборчивостью не страдал, то посещали меня, мягко говоря, и люди тёмные, мне с ними было столь же интересно. А когда я на допросах несговорчиво и непластично (с лубянской точки зрения) себя повёл, то глупо было мне и раскрывать, зачем я нужен. И я мог лишь удивляться суете, которая кипела вокруг мелкой мне приписанной вины. Я был ошеломлён (а мой бывалый адвокат - обескуражен) непомерной жестокостью приговора, ибо даже при доказанности моего мизерного преступления мне полагался бы крохотный условный срок - типа тех восьми месяцев, что я уже отсидел. А мне впилили максимальные пять лет и по отбытии этого срока обещали незамедлительно прибавить семь за самиздат, в немыслимом количестве увезенный из дома в результате трёх обысков. О каре именно такой и говорил моей тёще тот тип с Лубянки - задолго до того, как следствие закончилось. Упрямство следует наказывать, я его очень понимаю. Ведь какие повышения по службе из-за этого сорвались! И какая дивная идея обвалилась!

А после - справедливое возникло опасение у этих творческих людей, что мне их замысел тогдашний постепенно стал понятен. И в ссылку приезжал ко мне какой-то замухрышистый чекист из краевого управления (по поручению Москвы, как объяснил он сам), и ещё дважды со мной долго собеседовал другой (уже в Москве). Они меня расспрашивали цепко, вязко и невразумительно, весь их центральный интерес легко и выпукло

сквозь эту жвачку проступал: не собираюсь ли я написать о своём деле книгу? А столько уже вышло книг о всяческих отсидках - что им было именно в моей? А я им искренне и честно отвечал, что нет, не собираюсь. Говорил я правду, ибо книгу написал я ещё в лагере, такое им и в голову не приходило. А один какой-то резвый и находчивый из их конторы позвонил моей тёще, коротко сказал, откуда он, после чего спросил, что тёща делает сегодня во второй половине дня. Она ответила, что собирается к врачу. А не могли бы вы остаться дома, спросил он и пояснил: тут к вашему зятю должен зайти иностранный журналист, мы бы хотели знать, о чём они беседуют. Бедняга, очевидно, просто и не мог предположить, что у зятя с тёщей могут быть хорошие отношения. Тёща сказала, что останется, и нам с женой немедленно всё рассказала, разумеется. Мы гостевание того журналиста отменили в этот день, а резвый и находчивый уже не позвонил. Такое время было на дворе, что им пора было о вечном думать, а они никак не унимались. Но всего скорее - сам я был и виноват, ибо мозаика идеи той уже сложилась, и была обсуждена, и согласились все причастные, и я о ней болтал повсюду.

То и дело выплывают на свет Божий разные сюжеты нашей схожей с бредом жизни той поры. Мне так охота что-нибудь узнать об этом деле - прямо хоть к гадалке обращайся. Мне ведь и почудиться могло, и поблазниться, только подтверждают ощущения мои и люди, сведущие в играх озлобившейся от гниения империи. Ну что ж, я подожду.

Часть IV. ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

Байки нашего двора

Из историй моего друга, замечательного врача-психиатра Володи Файвишевского, мне особенно греет душу незатейливая одна - как он по субботам бывал минут по десять как бы Богом. То есть, наблюдал некие события, заведомо зная, что последует в дальнейшем, но не вмешиваясь в их течение. Его психдиспансер тесно соседствовал с Птичьим рынком, а туда в субботу съезжалось множество торгового народа. Те, кто запоздал, подолгу мыкались, не находя, куда поставить машину. В этой тесноте поездив, кто-то натыкался на ворота диспансера, видел пустой двор и с радостью туда заезжал. А знак запрета их не останавливал, естественно. И со своего второго этажа врач Файвишевский молча наблюдал, как быстро и упруго шёл на рынок такой счастливец, радуясь, что столь удачно он пристроил свой автомобиль. А Володя усмехался, зная, что сейчас произойдёт, и уже не отрывался от окна. И вскоре выходила из дверей дебилка Зина, которая лечилась у них и помогала медсестрам. Зина эта обожала всякий порядок и по мере сил преследовала его нарушителей. При виде чужой машины, незаконно вторгшейся во двор, она вынимала шило (или гвоздь) и аккуратно протыкала шину (а порою - две), после чего этим же шилом крупно выцарапывала на капоте самое распространённое в России слово из трёх букв. И уходила, очень освежённая этой законной карой. На лица возвратившихся удачников Володя предпочитал не смотреть. Рассказывая при случае эту историю, Володя непременно добавляет, что сам Бог наверняка досматривает подобные конфузы до конца, и потому при каждой неудаче следует держать лицо.

Для пристойной книги мемуаров, горестно подумал я, полезно было бы припомнить значимые, яркие и широко известные имена. Однако даже, если их припомнишь - как их описать моим шершавым языком? Я непременно о таких пишу, но теми же словами, что однажды устно высказал один славист из Венгрии. Он был в гостях у поэтессы Маргариты Алигер, а там сидело сразу несколько вполне известных и заслуженных людей. Желая выразить им своё восхищение, венгр подобрал слова и, уходя, сказал им с чувством:

- Спасибо, компания была так себе!

Только раз уж я упомянул имя Маргариты Алигер, то расскажу о ней ту кулинарную историю, что по сю пору любит вспоминать моя тёща. Они дружили, чему немало способствовало соседство (Алигер жила двумя этажами выше), и как-то в

квартире тёщи раздался телефонный звонок.

- Лида, вы умеете готовить курицу? - требовательно спросила Алигер.

- Конечно, да, - с недоумением ответила тёща.

- Ну, расскажите, как, - потребовала поэтесса. Тёща всё подробно рассказала.

- А курица у вас есть? - спросила Алигер.

- Да, есть, - ответила тёща.

- Я сейчас спущусь, - сказала Алигер.

Такие байки я люблю гораздо более любых глубокомысленных, к тому же всякие высокие и мудрые слова, которые частенько произносят разные известные люди - обычно сплошь и рядом - фальшаки, приписанные им молвой. Ну, словом, я - за бытовые байки и с усердием записываю их.

Мне очень повезло однажды: в качестве шофёра я попал на встречу Зиновия Ефимовича Гердта (которого я вёз прямиком из нашей квартиры, отсюда мой фарт) и Юрия Петровича Любимова. Я тихо и пристойно приютился в углу стола, понимая, что вот-вот сорвусь в сортир, чтоб записать какую-нибудь историю. Весь разговор великих стариков состоял, естественно, из молодых воспоминаний, только поначалу шли какие-то театральные разборки, я покуда выпивал и закусывал. Однако очень скоро побежал я, якобы в сортир, на ходу вытягивая блокнот. Гердт вспомнил, как у них в театре работала старая еврейка - профессиональная сплетница. Она всегда знала, кто с кем живёт, кто с кем просто переспал и прочие интимные подробности жизни творческого коллектива. И вот она столкнулась как-то с Гердтом, перечислила скороговоркой всё, что знала новенького, увлеклась и потеряла над собой контроль:

- А знаете, с кем спит сейчас наш скромный Зиновий Гердт? И спохватившись:

- Ой, Зямочка, зачем я тебе это рассказываю?

И тут же последовала ответная, не менее благоуханная история - её Любимов повестнул со слов Николая Эрдмана.

Году в тридцатом это было. Эрдман шёл в субботний день по улице Тверской и встретил вдруг Раневскую. Оба они были молоды, приятельствовали, и поэтому Раневская сразу же вкрадчиво сказала:

- Ой, Коля, ты так разоделся, ты наверняка идёшь куда-то в гости.

- Да, - ответил Эрдман, - только не скажу тебе, куда, поскольку приглашён в приличный дом и взять тебя с собой не могу - ты хулиганка и матерщинница.

- Клянусь тебе, Коленька, что я могу не проронить ни слова, -

ответила Раневская. - А куда мы идём?

- Мы идём в гости к Щепкиной-Куперник, - сдался Эрдман. - Это царственная старуха, ты меня не подведи.

Царственной старухе было в это время под шестьдесят, не более того, но очень были молоды герои этой истории. Щепкина-Куперник перевела тогда то ли Шекспира, то ли Лопе де Вегу, то ли Ростана, и жила отменно, содержа трёх или четырёх приживалок (деталей Любимов уже не помнил). За столом, который на взгляд этих молодых ломился от изобилия, разговор шёл неторопливый и пристойный - до поры, пока не заговорили о Художественном театре и лично об актрисе Книппер-Чеховой. И тут же все немного распалились, единодушно осуждая даму за наплевательское отношение к Антону Павловичу Чехову и вообще за легкомыслие натуры. Ощутив опасность ситуации, Эрдман покосился на Раневскую, но было уже поздно.

- Блядь она была, - сказала Раневская, - просто блядь.

Все приживалки истово перекрестились, после чего каждая смиренно сказала:

- Истинно ты говоришь, матушка, - блядь она была.

- Цыц, никшните! - прикрикнула хозяйка дома, и приживалки тут же смолкли, после чего Щепкина-Куперник царственно сказала:

- И была она блядь, и есть.

Наверно, я испорчен безнадёжно, только мне истории такие говорят о времени и людях больше, чем толстенные тома воспоминаний.

Один мой знакомый некогда дружил со стариком - когдатошним аккомпаниатором Айседоры Дункан. Она ведь на два года пережила Есенина и ездила по всей России, исполняя свои знаменитые пластические танцы в тунике и босиком. И в какой-то провинциальной госгнице ей с аккомпаниатором пришлось однажды ночевать в одном номере. Дежурная клялась, что этот номер - единственный, который свободен, и что там есть большая ширма, наглухо его разделявшая - делать было просто нечего. После концерта они разошлись по своим половинам комнаты, но среди ночи их разбудили звуки шумного скандала, ясно слышимые из соседнего номера. Мужчина ругал женщину, понося её последними словами. Сука грязная и блядь были из лучших в этом наборе, остальные просто неохота приводить. Некоторое время музыкант полежал, прислушиваясь, а потом решил, что Айседора Дункан тоже наверняка проснулась, ей это слушать мерзко и тяжело - он встал, оделся и заглянул за ширму, собираясь произвести какие-нибудь успокоительные слова. Айседора Дункан сидела на кровати, жадно прильнув ухом к

стене, по щекам её катились слёзы, на лице было выражение умилённости и счастья. Увидев музыканта, она оторвалась от стены и с гордой радостью ему сказала-прошептала:

- Все эти слова мне постоянно говорил Серёжа!

Но я вернусь к тому шофёрскому везению моему. На обратном пути Зиновий Ефимович был разгорячён застольем и общением (мне показалось, что и окончанием необходимого визита) -словом, перепала мне ещё одна отменная история о некоем интеллигенте из их театра. Кто это был, я как-то упустил (а из машины в сортир с блокнотом не сбежишь), но помню главное: что человек был тихий, пожилой и невысокий, необыкновенной вежливости, деликатности и такта. Случилось это где-то в шестидесятых, а театр их был в Англии, и Гердт со стариком-интеллигентом шлялись по музеям. Это было время, когда непременно был и третий - хоть и в штатском, но по ведомству охраны чистоты идеологии и поведения за рубежом. А звали его - пусть Андрей Андреич, я не помню. Был он молод и прогулкам не мешал. И в каком-то замке Гердт сказал с восторгом, что вот ходят они всюду, и везде пускают, и никто за ними в залах не следит, и что какое это счастье. Тут молодой Андрей Андреевич решил, что ему самая пора исполнить свой предохранительный долг, и сухо объяснил двум этим разнежившимся актёрам, что такова просто маска западной демократии - на самом деле и следят за ними неустанно, и пускают не везде, и вообще вокруг враги. Таким кошмарным диссонансом прозвучала эта речь на фоне их прекрасного гуляния, что тишайший старик-интеллигент вдруг не сумел сдержать себя в руках.

- Простите, вы какого роста, Андрей Андреевич? - мягко и вкрадчиво спросил он у этого третьего лишнего.

- Метр восемьдесят пять, - горделиво ответил тот.

- Вот вы весь и идите на хуй! - торжествующе сказал старик. Затеял эту маленькую главку я, однако, вовсе не затем лишь, дабы сохранить эти прекрасные истории. А дело ещё в том, что как-то я по молодости лет затронул один миф, тесно связанный с очень известным именем. Миф этот до сих пор жив, что весьма мне неприятно, и потому я непременно хочу об этом рассказать. Я когда-то написал книжку о великом русском психиатре Бехтереве, а материалы для неё искал в его архиве. Весь архив Бехтерева хранился в маленьком музее при институте, им некогда созданном. И там наткнулся я на краткую записку, оставленную патологоанатомом (Ильин, кажется, была его фамилия). В записке говорилось, что вскрытие тела не было произведено, и что поэтому причины смерти недостаточно ясны. Записка эта для

моего воспалённого воображения звучала однозначно: давний миф о смерти Бехтерева справедлив! Миф этот, ходивший по интеллигентным всяческим кругам с середины пятидесятых годов (когда начали возвращаться люди из лагерей) гласил, что Бехтерев был отравлен по личному приказу Сталина. В декабре двадцать седьмого года академик Бехтерев был в Москве на двух совпавших по времени научных конференциях (что правда), и якобы двадцать четвёртого декабря был вызван в Кремль по просьбе Сталина. Речь шла о бессоннице, головных болях и невладении одной рукой (за Бехтеревым уже много лет гуляла слава гениального невропатолога). После врачебного осмотра выйдя из кабинета Сталина, профессор Бехтерев якобы вслух сказал каким-то находившимся там людям, что у его пациента - несомненная и давняя паранойя. Об этом виде частой психопатии написано такое количество научных и научно популярных изысканий, что ни одно моё пояснительное слово не будет верным с точки зрения всех спорящих о сути свиха. Более того, наличие в истории таких людей, как Иван Грозный, Сталин, Гитлер и другие - как бы в сторону уводит обсуждение такой патологии, ибо упрямый изобретатель вечного двигателя, всеобщего растворителя, авторы неприкрыто безумных идей - тоже параноики. Это полная защищенность личности на какой-нибудь одной идее, которую врачи мягко именуют сверхценной, то есть не поддаётся она ни разуму (вполне сохранному), ни чувствам, человеку свойственным, ни голосу окружающих людей. Мне кажется, что присвоение ярлыка клинической душевной ненормальности таким личностям, как упомянутые мной - это неправедная выдача им больничного листа на день Страшного Суда. Но пусть это решают специалисты.

А Бехтерев сказать это не мог по множеству причин. Я перечислю их не по порядку весомости, поэтому я первой назову то ничтожно краткое время, которое врач Бехтерев наблюдал своего пациента. За время разговора о бессоннице и головных болях (включая малоподвижную руку) просто невозможно сделать полноценный врачебный вывод о патологическом характере всей личности - тем более настолько скрытной и уклончивой. А Бехтерев - весьма ответственный был врач, и этому как раз учил своих бесчисленных учеников.

В те годы я встречался (были ещё живы) с учениками Бехтерева, боготворившими его и, в частности, вспоминавшими его незаурядную психиатрическую проницательность. Допустим, что он что-то ощутил и заподозрил. Только в этом случае он ничего не произнёс бы вслух. Поскольку клятва Гиппократа, включающая сохранение врачебной тайны, - для него была

святыней, а не пустым формальным ритуалом посвящения во врачи. И этому он тоже обучал своих учеников как некой заповеди веры.

Далее. Похоже, что причины я располагаю по мере убывания весомости. Но мне-то кажется, что все они весомы одинаково. Судите сами. В двадцать седьмом году ещё не был наш генсек настолько всемогущ, чтобы за несколько часов организовать безупречно тайное убийство известного всей стране человека. А Бехтерев умер в тот же день. Вечером они были с женой в театре (да, заходили и в буфет, там с ними была целая толпа знакомых - все урывали время пообщаться), после чего поехали они в гостиницу, где ужинали в номере, а ночью ему стало плохо. Было ему семьдесят уже, и сердце это или отравление, установить не удалось. У него вынули мозг - таково было его завещание, он только что основал Пантеон мозга, где собирался исследовать анатомические и прочие особенности мозга выдающихся людей, и по иронии судьбы оказался первым экспонатом. А вскрытия не делали, и в мифе появилась некая зловещая деталь, что вскрытие запрещено было приказом наркома здравоохранения. И его останки (вместе с банкой, где законсервировали мозг) были отправлены в Ленинград при огромном стечении народа - сохранились кинокадры.

А я ещё одну причину знал, и тоже вескую. Вслух никогда и ни при ком не разговаривал Бехтерев (в полное отличие от своего коллеги Павлова) о том, как он относится к советской власти и что он думает о ней. Ибо в семнадцатом году летом, в кратком промежутке между Февралём и Октябрём, написал повсюдно почитаемый профессор Бехтерев статью (в самой известной питерской газете напечатав), что по степени вреда большевики намного для России пагубней, нежели любые немецкие шпионы. О, он не мог не понимать, что ему ещё о ней напомнят, и свои принимал посильные меры: например, в двадцать каком-то году, будучи в Праге, уговорил остаться там свою дочь. Сам он без России жизнь не мыслил.

Все ученики его, старые уже профессора, насмерть перепуганные той эпохой, которую чудом пережили, на мои горячие расспросы откликались вяло и безразлично. Нет, ни о каком убийстве они вроде бы не слышали до середины пятидесятых годов (ни разу за тридцать лет!), а после хлынуло такое море сведений о мерзости и крови, что и эта легенда просочилась невозбранно, как-то машинально утвердившись. А быть может, что-то помнят близкие? говорили они мне, чтоб отвязаться. На дворе был год семьдесят пятый, и ещё лет десять оставалось до поры, когда вдруг все заговорили громко,

оживлённо и взахлёб. А дочка Бехтерева была ещё жива, и я давно с ней в переписке был. Я излагать ей миф не стал, я просто у неё в очередном письме спросил, не доносились ли до неё какие-либо слухи о неясной, как бы сильно преждевременной (уж очень был здоровый человек) смерти отца. Старушка мне ответила с готовностью и очень возбуждённо. Да какие слухи! - писала она, вся родня всегда прекрасно знала, что Владимира Михайловича отравила молодая жена-мерзавка с целью получить его денежные накопления. Не сходилось, ибо Бехтерев в те годы вовсе не был даже состоятельным человеком. Всё, что удавалось ему заработать врачеванием, он тратил без остатка на институт, который без его поддержки неминуемо бы развалился.

Почему мне так хотелось опровергнуть этот миф? За истиной я вовсе не охотился. Но мне казалось (кажется и посейчас), что если человеку, совершившему такое море злодеяний, хоть одно пришить несправедливо, то это чуть скомпрометирует, поставит под сомнение и остальные все его злодейства.

Я обо всём об этом написал в нетолстой книге "Бехтерев. Страницы жизни", и мне всё это исправно вычеркнул редактор, дороживший своим рабочим местом. Я огорчился, но немедля уступил (очень хотелось видеть книжку), так там и осталось некое глухое и зловещее упоминание. А после все, кому по собственному тексту это было нужно, вопияли об убийстве Бехтерева Сталиным, ссылаясь (кто ссылался) - на меня. Развелось огромное количество профессиональных вскрывателей язв прошлого (уже и безопасно это было, и доходно), и Бехтерева навсегда пришили бедному генсеку. Письма дочери отдал я, уезжая, в институтский архив.

Однако же, я знал уже тогда, откуда появился этот миф. Меня постигло озарение и сладостное чувство достоверности его, поэтому доказывать я ничего не собираюсь, просто изложу - про озарение и про его проверку. Где-то я в восьмидесятых уже годах услышал или прочитал, как странно и загадочно умер весной пятьдесят первого года один видный российский психиатр. И нам сейчас не важно его имя, он забыт уже даже коллегами своими. А тогда он был профессор, знаменитость, директор крупной психиатрической клиники, был представителем советской психиатрии на Нюрнбергском процессе (что серьёзно говорит о его полной укоренённости в начальственной иерархии), и вдруг - без повода малейшего - покончил с собой. Случилось это поздно ночью или на рассвете. Вечером он вызван был к товарищу Сталину, с которым разговаривал о каких-то недомоганиях вождя. Приехав домой, он заперся у себя в кабинете и в течение нескольких часов ходил из угла в угол - это слышала жена. Потом

раздался выстрел. Боялся лагеря? Понимал, что обречён, поскольку стал свидетелем какого-то заветного недомогания вождя? А может быть, и сам генсек сказал с присущим ему нероновским юмором: "Теперь, товарищ профессор, вы знаете обо мне слишком много". Сейчас об этом можно лишь гадать. Но где-то на бытовом уровне разговоров-слухов его незначащее имя подменилось именем, известным каждому. И подлинный досужий слух стал широко ходящим мифом.

Я ощущал живое дыхание истины, и мой восторг легко себе представить. Я немедленно решил проверить свою мысль на человеке, в историческое чутьё которого верил безоглядно. Я позвонил Тонику Эйдельману и, волнуясь и гордясь, ему всё это изложил.

- Ты понимаешь, - говорил я медленно для вящей убедительности текста, - ведь подмена эта могла быть совершена даже сознательно. Ты разве, например, поставил бы мне сто грамм и на закуску колбасу, если бы я тебе рассказывал душещипательную байку о самоубийстве некоего известного только в своих кругах профессора? Да ни за что! И я бы не поставил. Даже слушать бы не стал - вокруг тогда такое сотворялось! А про великого учёного, ещё когда поставившего нашему великому вождю такой всё объясняющий диагноз слушал бы, раскрывши рот. И рюмку бы налил.

И к удивлению моему, Тоник немедля согласился. И потребовал на всякий случай всё записать (увы, он верил в пользу и сохранность текстов). И ещё сказал:

- А как запишешь - приезжай. Я тебе поставлю рюмку за антинаучную методику мышления.

Карнавал свободы

В Сухуми некогда существовал изумительный обезьяний питомник. В наступившее смутное время нечем было кормить обезьян, и кто-то мне рассказывал, что питомник полностью разорён. Впервые я попал в Сухуми в начале шестидесятых, это был ещё цветущий курортный город, и я остро помню наслаждение от гуляний по нему. А где-то возле моря я наткнулся на забегаловку-столовую прямо под открытым небом. Только над столами были хилые навесики, почти от солнца не спасавшие, но тем не менее, там было полным-полно стариков. Они пили дивный кофе - две жаровни с раскалённым песком обеспечивали всех бесперебойно, запивали каждый глоток водой и ругали советскую власть на пяти языках. Кроме русского, грузинского и абхазского, там ещё были греческий и идиш. Я разобрался во всём этом не сразу, но когда я пришёл туда вторично, меня уже приметили, и ко мне подошёл худой старик, вежливо спросивший меня на идиш, откуда еврей. Я, как ни странно, понял и ответил столь же вежливо, что говорю только по-русски, из Москвы, а здесь в командировке. Старик молча перенёс свой кофе за мой столик и по-будничному очень задал мне вопрос, как живут московские евреи. В те года я начисто не ведал, как они живут, и честно ему это сообщил. Ну да, сказал старик печально и спокойно, мы начинаем замечать свой народ, когда нам больше не к кому прислониться. Любите кофе? - спросил он без всякого перехода. Очень, ответил я, в Москве такого кофе нет, хотя я покупаю его в зёрнах, сам мелю и варю в такой же джезве. Старик оживился, будто я рассказывал ему о жизни евреев. Просто вы снимаете его чуть раньше или чуть позже, чем нужно, заявил он уверенно. Среди друзей я слыл за матёрого кофевара и поэтому чуть поднял брови недоверчиво. Одна из жаровен стояла от нас неподалёку. Над одной из джезв возник холмик кофейной пенки, женщина при жаровне протянула руку и застыла, выжидая, пока холмик чуть опал, выпукло закатываясь за края сосуда - только тут она выдернула джезву из песка. Вот видите, сказал старик назидательно, кофе надо снимать, когда он охуевает. Я засмеялся благодарно, мы разговорились. Я в Сухуми был в командировке инженерной, но уже и начинал писать - нельзя сказать, что я такой уж был распахнутый в те годы, только почему-то через полчаса старик осведомлён был обо мне, моей родне, моих друзьях и помыслах так полно, словно я за этим и приехал. Это он мне так же вскользь и буднично сказал о теме стариковских разговоров, а на моё естественное недоумение пугливого

московского интеллигента (я даже высказать его не успел) старик ответил сам в том смысле, что чекистов старики нисколько не боятся, они всю жизнь боялись только уголовного розыска, хоть и того не очень. Жить надо всем, добавил он туманно и доходчиво.

А больше, к сожалению, я ни о чём его не расспросил. Я молод был тогда, был зелен и самодостаточен, как комнатная такса. Есть у итальянцев мудрая и грустная пословица: Данте даёт каждому столько, сколько тот может взять. А я в ту пору мог совсем немного. Именно старик, однако, мне сказал, что непременно должен я сходить в обезьяний питомник. И за это до сих пор ему я благодарен.

Животные давным-давно уже используются медициной как модели, на которых изучается течение самых различных болезней, воздействие лекарств и всякое подобное, поскольку на модели человек безжалостно прокручивает ситуации, в которые поставить человека невозможно. Опыт, о котором вспомнить я хочу сейчас, был на той границе медицины с психологией, откуда просто и легко пускаться в некое спекулятивное психоложе-ство - любимую забаву тех, кто пишет о науке с дилетантской страстью к обобщению. Опыт этот был проделан некогда как раз в сухумском питомнике.

Огромный и красивый гамадрил Зевс имел все основания испытывать довольство жизнью: в огромной обезьяньей стае был он сильнее всех и ходил в вожаках, его подруга Богема была нежна и послушна, и на упоительное единовластие никто из молодых не покушался.

Время от времени люди забирали Зевса из огромной групповой клетки в маленькую камеру, где обучали весьма несложным действиям: по звонку он дёргал рычаг, на белый свет бежал к кормушке, а на красный делал что-то ещё. Всему этому он обучился очень быстро и легко, снисходительно и точно исполнял, за что неукоснительно получал в награду кусок яблока или конфету, после чего, довольный миром и собой, возвращался в родную стаю.

Для начала его лишили верховодства - вместе с Богемой он был отсажен в отдельную клетку. Бедняга, он так привык руководить, повелевать и властвовать! А главное, что поселили его так, что видел он из клетки всю оставленную стаю. И с тоской он обнаружил, что его место немедленно занял другой самец - существо жалкое, бездарное, тупое и не замечавшееся им в пору владычества. Что в нём нашли эти кретины - обезьяны? Хорошо ещё, что рядом неотлучно оставалась Богема - её покорность хоть частично утоляла его боль. Но Зевс ещё не знал, что лишение власти - только первый шаг на уготованном ему пути ду- шевных

потрясений.

Вернувшись с очередных занятий в исследовательской камере, он обнаружил, что Богема пересажена в соседнюю клетку. Это уже было слишком! Он кидался на решётку грудью, рвал её, звал Богему к себе, она постанывала горестно и преданно - всё было напрасно.

Испытания продолжились в виде неслыханного оскорбления: Богеме первой дали еду. Раньше Зевс неторопливо съедал самое вкусное, а все почтительно толпились вокруг, ожидая своей общей очереди. Тот же порядок соблюдала, естественно, и Богема. Теперь же, несколько минут недоуменно просидев возле еды, она, опасливо и виновато косясь на повелителя, начала есть первой. Зевс, бессильно рыча от унижения и гнева, метался по своей клетке, неспособный ввиду отсутствия словарного запаса произнести шекспировское: "О, женщины, вам имя - вероломство!"

Дальше - больше. Его начали отрывать ото сна. Как будто кто-то свихнувшийся, перепутавший день и ночь, заставлял теперь и Зевса вращаться в том же противоестественном колесе работы в ночное время. Его безжалостно будили, уносили выполнять заученное и только потом отпускали поспать снова.

А однажды он, вернувшись, обнаружил в клетке Богемы нового повелителя. Какая это была мерзкая образина, какой урод и кретин! А Богема уже ласкалась к нему, как некогда - к Зевсу, и напрасно Зевс кидался на решётку и кричал то яростно и злобно, то жалостливо и тоскливо.

А его так же продолжали обносить едой, и от восторгов власти и могущества остались лишь мучительные воспоминания. Вся гамма отрицательных эмоций была, вероятно, проиграна на несложной психике этого несчастного подопытного обезьяна.

Зевс запечалился и затосковал. Он уже не знал теперь, какие и когда последуют новые унизительные напасти. Но покорное их ожидание стало явным спутником его угрюмого и вялого существования. Куда-то подевались его былые общительность, весёлость и величавость. А былая смекалка! Он выполнял теперь заученное кое-как, лишь бы отделаться, стал часто путаться и вообще не реагировать, часами апатично и угрюмо просиживал в углу, стараясь не смотреть на мир, чтобы не видеть, что там происходит. У человека это состояние назвали бы депрессией, притом глубокой и опасной.

А приборы беспристрастно зафиксировали: явно предынфарктное состояние. Аритмично бьётся сердце, прыгает кровяное давление, повышена нервозность, общее ухудшение здоровья. Ярость и страх, злоба и растерянность, бессилие, обида и тоска - стремительно сказались на доселе безупречном

организме.

Но эксперимент продолжался: Зевса пожалели. Для начала ему вернули Богему (о, как быстро она была прощена!) и обоих подсадили в стаю. Двумя ударами Зевс поставил на место карьериста-недоумка, вздумавшего властвовать вместо него, от радостного волнения съел тройную порцию еды (стая почтительно толпилась вокруг) и полностью выздоровел.

Забавно вспомнить в этом месте Аристотеля, ещё когда сказавшего, что, изменяя место жительства, человек неизбежно теряет в трёх вещах: в деньгах, в здоровье и в престиже. Как-то очевидно стало мне из наблюдений за уехавшими из России, как здоровье связано с былым престижем (а опыт, только что описанный, - он лишь модель явления), однако те же ощущения присущи нынче и тем, кто остался в России, изменившейся настолько, что живут они теперь в совсем иной стране. Мне лень и ни к чему подробней размышлять об этом письменно (те, кто прочёл, - поймут), но с той поры ужасно тянет меня в каждом случае, где хочется понять, - найти модель и посмотреть на ней, что происходит и творится.

Российскую модель мне даже не пришлось искать - она сама всплывала в памяти - я ведь из лагеря освобождён был очень уж недавно. Я лет несколько тому назад эту модель подробно описал в книге воспоминаний, только так она упрочилась за это время, что я её припомню снова.

Представьте себе огромный исправительно-трудовой лагерь. В нём есть жилая зона с множеством бараков, есть непременная промышленная зона (труд исправляет), есть посёлок, где живёт надзорсостав, а также всяческие караулки, склады и казармы. Есть ещё барак усиленного режима (карцер или штрафной изолятор), всё окружено колючей проволокой и проволокой с током, а вокруг - вышки с автоматчиками. Внутри течёт установившаяся, донельзя тяжёлая и унизительная рабская жизнь. Древнее еврейское проклятие: чтобы вы были рабами у рабов - здесь ощущается во всей его кошмарности и полноте. И вдруг в один прекрасный день, построив зэков на плацу, начальник лагеря объявляет полную свободу. Часовые сходят с вышек, исчезают свирепые охранные овчарки, весь надзорсостав (такие же овчарки, но двуногие) закуривает и приветливо смеётся. Зэки все - в растерянности и смятении. Они сбиваются в группы, галдят и спорят, недоумевают и прикидывают, как им жить. Когда они в себя слегка приходят, то вокруг кипит уже другая жизнь. Первыми, естественно, сориентировались те, кто их охранял, и конечно же уголовная шобла. Уже продукты все со склада разворованы и спрятаны, уже промышленная зона разворошена

сполна, и всё, что стоит хоть немного, продано в соседние деревни - те охотно покупают, ибо краденое дёшево. А в бывшем карцере - уже открыта типография большой газеты "На свободе с чистой совестью". А выпускает её бывший надзиратель карцера, ещё вчера садист и зверь, а ныне - эссеист, мыслитель и борец за права человека. В бывшем караульном помещении -роскошная гостиница для любопытствующих приезжих и возможных покупателей остатков лагерного добра. Казарма (где сейчас перешивают уворованную зэковскую одежду) - личное владение бывшего её коменданта, он первым догадался переписать строение на своё имя. И то же самое - со всеми остальными зданиями зоны. Оружия на зоне было столько, что его частично продают соседям, а частично сберегают, ибо устрашённые соседи поставляют в зону продовольствие - чтобы от голода оружие не пустили в ход, а кроме того - это естественная гуманитарная помощь растерянному населению. Еда привозится на лагерных машинах, а в чьих руках весь транспорт догадаться нетрудно.

Уголовные паханы запросто сговорились с начальником гаража (у того жена и маленькая дочь, он согласился сразу), так что всё оформлено на трудовой коллектив. А все шестёрки уголовные и прихлебательская шелупонь из уголовников помельче - все в охране и опять же от сторожевых псов ничем не отличаются (разве что галстуками, когда едут в соседние деревни). Среди них полным-полно и бывших надзирателей - руководителей, разборки между ними постоянно происходят, но всегда они находят общий язык, поскольку одинаковая психология была у них всегда.

Вот именно такое и случилось на необозримых просторах бывшего лагеря мира, социализма и труда. Только теперь пора напомнить, что на лагерном (отменно точном) языке огромная прослойка зэков тихих, работящих и совсем не криминальных так и называлась - мужики. И фраера-интеллигенты состояли в той же категории. Естественно, что все они (врачи, преподаватели, инженеры, учёные, рабочие и все-все-все) - в растерянности полной, на акулью хватку паханов и бывших надзирателей смотрят с ужасом, и так обидно им от бессилия и нищеты, что даже обуревает их порой тоска по канувшему упорядоченному лагерю. Тем более, что сил и сметки для добычи пропитания надо теперь гораздо больше: нет былой казённой пайки. Трудно потому ещё, что обрела свободу вся хищная тварь. А так как во множестве людей эта хищная тварь опасливо таилась, то теперь наглядно выявился их действительный душевный облик. Естественно, что прежде прочих этот облик выявился у вчерашних сторожевых собак империи, но то же самое нарисовалось вдруг и

у начальственных овец, не считая всяческих баранов - а вчера лишь обходились голой травкой. Ввиду обилия огнестрельного оружия разборки их при дележе добычи - смертоубийственны, и фраерам такое вовсе недоступно.

Тут вы можете меня спросить: а почему же вышеупомянутые слои населения оказались инвалидно неспособны к вольной жизни? И мне кажется, что на такой вопрос ответ имеется.

Лет тридцать назад американский исследователь Селигман после многих опытов на животных и с людьми обнаружил удивительное свойство организма. Он назвал его - обученной беспомощностью. Если крыс подвергать какое-то время ударам электрического тока при полной для них невозможности избавиться от этих ударов, то животные впадают в пассивное состояние и перестают искать спасение от непостижной стихии. Если после этого поместить их в условия, где найти спасение от ударов током возможно, то они его уже не ищут. Людям в таких опытах давали заведомо нерешаемые задачи, и через некоторое время они стали с трудом, намного хуже, чем ранее, справляться и с задачами, имеющими решение. Опыты постепенно усложнялись, и нарисовалась вот какая несомненная картина: живое существо отвечает на безвыходную ситуацию пассивностью, апатией, исчезновением всякой инициативы.

В этих опытах, по-моему, - существенное объяснение психологической инвалидности самых симпатичных слоев советского населения. То рабство, в котором все мы жили, порождало дикое психологическое иждивенчество: нам лишь давали всё не обходимое - пайку, жильё, путёвки, мелкие подачки, случайные льготы. А любая инициатива - или уходила, как вода в песок, или каралась. Длилось это - долгие года, и точные слова - обученная беспомощность - обернулись полной неприспособленностью нашей к воздуху свободного предпринимательства. Как у тех, кто оказался за границей, так и у тех, кто очутился в совершенно изменившейся России. И тут любые комментарии излишни, так точна предложенная Селигманом модель.

С невероятной прозорливостью когда-то Герцен написал: "Как ни странно, но опыт показал, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы".

А светлые штрихи, достоинства и перспективы новой для России жизни я перечислять не собираюсь, хотя их - я говорю это уверенно - гораздо, несравненно больше. Потому что это всё-таки свобода, лучшего для человека состояния и сам Творец не сочинил, а значит - образуется и жизнь. А то, что не при нашем поколении, так в этом есть и справедливость: больно много мы и

лет, и сил (про ум и душу тоже не забудьте) положили на укрепление проволоки, на улучшение сигнализации, постройку вышек и различных караулок в этом лагере. Не говоря уже о той туфте-лапше, что вешали нам на уши всякие замы по культурно-воспитательной работе (а многие из нас по этой части и кормились).

Когда я волю и права благословляю, что пришли в конце концов в Россию, вспоминаю я Загорскую тюрьму - первую тюрьму в моей жизни. Заведя весь наш этап в большую комнату, велели нам раздеться догола и принялись осматривать, заглядывая даже в те места, куда по доброй воле не заглянешь. А потом по очереди стригли наголо. Я, свежий фраер, к табуретке подойдя, сказал парикмахеру-зэку, что я пока под следствием, ещё не осуждён, а стричь наголо подследственных он права не имеет. Парикмахер нисколько не удивился и сказал негромко:

- Олежек, объясни этому херу...

И в углу медлительно стал подниматься со скамеечки какой-то огромный амбал, по пояс обнажённый и покрытый весь татуировкой. Я немедля молча сел на табуретку. Парикмахер надо мной не издевался, мне и самому было смешно, что я попробовал качать свои права.

Такое сплошь и рядом происходит на огромном лагерном пространстве нынешней свободы и оживившихся иллюзий человеческого права. Более того, предложенная мной модель как бы сама собою объясняет и те крайности падения, что нам становятся порой известны из газет. Передо мной лежит газета "Новая Сибирь" - 15 февраля 96 года. Название статьи - "О человеколюбии". А сверху - краткое предуведомление для пущего интереса: "На прошлой неделе миллионы сибиряков были потрясены известием о массовом людоедстве среди кемеровчан". Я приведу оттуда отрывки, ибо пересказывать такое нету у меня душевных сил.

"Осень. Пьяная компания в кемеровской квартире. Заканчивается закуска. А пьянка продолжается. Наконец удовлетворить законный голод компаньонов удаётся одному из них, которого убивает другой. Часть мяса убитого перекручивают на мясорубке... Перед подачей к столу кладут специи. Потом компания слегка трезвеет. Выбрасывает руки и голову в мусорный контейнер. И перекручивает на мясорубке другую часть убитого собутыльника. Мяса этого оказалось столько, что компания решила поделиться им с другими... А какой сибиряк не любит пельмени?...По данным прокуратуры, минувшей осенью в Кемерове было продано около 10 килограммов пельменей из человеческого мяса. А те, кто эти пельмени купил, стали

людоедами и даже ничего об этом не знают. Сколько их теперь в Кемерове? Об этом теперь тоже никто не знает".

Там приводится ещё несколько таких случаев (один был в ночь под Рождество!), но это мерзко даже переписывать. А ведь жестокость таковая (вкупе даже не с отсутствием брезгливости, а с отсутствием чего-то трудно именуемого, что и делает человека человеком) - это чисто, чисто лагерное свойство. Тут мне просто неохота продолжать, и так уже жалею, что решил цитировать.

А если двинемся мы вверх по бесчисленным ступеням социальной лестницы, то мы и там всё время будем находить отчётливые лагерные типы надзирательские вперемежку с уголовными. И тут я лучше просто расскажу историю одной моей поездки.

Тогда я повидал три места, о которых помню, как сейчас. Очень подряд они последовали один за другим, поэтому те города, что были в промежутке, стёрлись начисто. В Минске завезли меня приятели в тот переулок, где нашли когда-то тело убитого Михоэлса. Какой-то был у нас несвязный глупый спор о том, насколько понимали тогда люди, где они живут, - Михоэлс видел ведь Америку, умён был чрезвычайно - да, но что можно было сделать с этим пониманием? Железные тиски безвыходности и страха держали равно всех, и слепота или иллюзии - спасительны и благодатны были в этой ситуации. Но ведь искусственно в себе их не взрастишь. И не спасительны, сказал один из нас. В этом уютном и зловещем переулке слова его прозвучали особенно убедительно. А без иллюзий и при ясном понимании - как он должен был чувствовать себя, когда в Америке его расспрашивали о лагерях, об отношении к евреям, вообще о качестве жизни? Он ведь наверняка врал, и мы его не вправе осуждать, но почему тогда мы осуждаем многочисленных других? Уже мы уходили, продолжая спорить, я украдкой оглянулся, чтоб запомнить: где-то здесь лежало крохотное тело великого артиста, капля в океане таких тел. Я ещё не знал, что послезавтра ожидают меня те же ощущения.

По городу Томску меня водили две местных журналистки. Мы зашли к художнику, который тоже с нами увязался. А после две моих Вергилии случайно встретили приятеля-артиста, а бутылку я всё время нёс в руках, и глупо было к нам не присоединиться.

В загульном общем настроении мы шли вдоль какого-то скверика, когда Вергилии сказали чуть не хором, что ведь вон тюрьма, мне грех не посмотреть её поближе. Дверь, возле которой мы оказались, вела в административный корпус, так что можно было запросто войти. В погожий солнечный день даже припомненная мрачная цитата ("оставь надежду, всяк сюда

входящий") вызвала общий смех, и мы уткнулись в пропускной барьер. Тут начались нежданные приятности, поскольку вышедший навстречу нам охранник видел меня по телевизору, о чём немедля сообщил, и мы с ним закурили, все друг другу улыбались, что навряд ли было часто в этих стенах. А здесь один большой поэт сидел, сказал охранник, я тогда ещё и не родился, сказал он- вы, может,слышали такого? Николай Клюев.

С меня слетел немедля хмель и обаяние гульбы, и что-то я залопотал, расспрашивая, только парень больше ничего не знал, а рассказал ему о Клюеве один старик - тюремный надзиратель. Так я понял, сказал парень буднично, что он в те годы был не надзирателем, а служил в расстрельной команде. Потому он Клюева и вёл на расстрел. Это здесь рядышком, я только отлучиться не могу. Сразу, как выйдете, - налево, и чуть поменьше километра, там тогда всех стреляли. Как увидите обрыв и гаражи, сразу поймёте.

Меня слегка трясло от резко наступившего похмелья, по дороге я пытался вспомнить то, что знал. Это была ведь страшная и необычная даже по той поре история. Николая Клюева высоко ценил Блок, Есенин обожал его и называл своим учителем, а был этот поэт, игравший в тёмного мужичка, ещё и знатоком российского фольклора и иконописи. Его за своего признавали старообрядцы самых разных сект, а стихи Гейне этот хитроглазый мужик в сапогах и поддёвке читал в подлиннике, Гегеля и Канта он цитировал обильно наизусть. В конце двадцатых его уже больше не печатали, но ходили по рукам его поэмы об уничтожении российского крестьянства. А году в тридцать втором донеслось до крупного начальства (стукнули коллеги - писатели), что ежедневно стоит Николай Клюев на паперти одной московской церкви, часто посещаемой иностранцами, и громко возглашает: "Помогите, Христа ради, русскому поэту Клюеву!" Ему, конечно, подают, но иностранцы эти - сплошь энтузиасты социализма, для того сюда и приехали, вид Клюева подействует на них неблаготворно и смутит неколебимость их мировоззрения. И поэта выслали в Нарым. Потом он оказался в Томске, нищенствовал и тут, опять смущая местное начальство. И в тюрьму его забрали ненадолго - только, чтобы вскоре провести по этому короткому пути.

И мы пришли.

Огромный рваный ров перерезал дорогу в этом месте. Мы стояли на обрыве, окружали нас железные коробки гаражей, внизу валялись старые покрышки, пара ржавых кузовов, полным-полно было повсюду на откосах всякого автомобильного мусора. А уж под ним - совсем неглубоко, конечно, лежало превеликое

множество людей. И среди них - Николай Клюев -одно из ключевых имён поэзии российской в двадцатом веке.

Мы довольно долго там курили. Говорить нам было не о чем и не хотелось. Я вдруг вспомнил, что назавтра улетаю, и мне стало сильно легче.

Но спустя неделю точно так же я стоял на окраине Владивостока возле огромного, этажей в десять жилого дома. Где-то за спиной моей совсем невдалеке плескался океан, а двое местных молодых мужчин рассказывали о недавнем тут строительстве этого дома. Экскаваторщики, рывшие под него котлован, просили о смене через два часа работы, кто-то из них увиливал и брал бюллетень, а кто-то не выдерживал и этих двух часов. Рыли котлован они не в земле, а невероятном скопище костей и сохранившихся скелетов. Тут был когда-то пересыльный лагерь, от небольшой пристани отчаливали баржи с зэками, а эшелоны подвозили новых и новых. А в тридцать восьмом случился то ли ранний ледостав, то ли весной растаял лёд с запозданием, только в тот год отправка в лагеря замедлилась, а эшелоны шли и шли. И пересылку принялись разгружать естественным для того времени путём. Поэтому все домыслы о смерти Мандельштама были сомнительны по мнению этих местных людей: практически наверняка лежал он здесь. Водка, настоянная на таёжных травах, была у нас с собой, мы помянули всех, кто тут остался.

Такая у меня была гастроль однажды по России. Но к теме всей главы я подошёл только сейчас. До поздней ночи мы в тот день о всяком говорили, перескакивая с темы на тему, поминая имя за именем, вышли на сегодняшние дни так странно и нечаянно прихлынувшей свободы и стали разговаривать о том, какие | люди появились нынче у кормила власти. А судьба моя нас слушала внимательно и утром порешила мне подбросить доказательство моей неправоты (поскольку я был оптимистом в этом разговоре).

Мы рано поутру приехали в аэропорт и обнаружили, что он забит людьми, как бочка сельдью. Тёк ровный гул, прерываемый чьими-то вскриками, руганью и детским плачем, стояла вокзальная духота и крепкий запах всехней вчерашней выпивки. Самолёты не летели с позавчерашнего дня, так что сейчас должны были по праву лететь те, кто здесь уже почти прижился, я мог рассчитывать не раньше, чем на завтра. С идиотической самонадеянностью попёрся я к какому-то самолётному начальнику, неубедительно бормоча ему, что у меня сегодня вечером в Москве уже давно назначенное выступление, и меня человек пятьсот будут напрасно ждать (что было правдой - в Доме

композиторов мне предстояло завывать мои стишки), но он лишь дико глянул на меня и рот уже раскрыл, намереваясь послать на хуй, но сдержал себя и сухо отказал. Мы потоптались в зале ожидания минут пятнадцать, молча переглядываясь и в немом согласии уже собравшись уходить, как вдруг увидели забавное, чисто киношное зрелище. Властно раздвигая густую толпу (все, впрочем, покорно сторонились сами) шла группка молодых людей - человек десять - в центре которой шествовал неторопливо и вальяжно очень высокий, налитый выпивкой до ушей краснолицый мужчина чуть за сорок. Взгляд его медлительно сквозил поверх голов, упал случайно на меня, он остановился, что-то соображая, и кавалькада его тоже застыла, ища глазами, что увидел шеф.

- Неужели я настолько пьян, - громко и весело сказал этот мужчина, что вижу живого Губермана?

И направился ко мне сквозь раздвигающихся людей. Вся их компания плелась теперь за ним. Покуда они шли три метра, разделяющие нас, мои приятели успели мне шепнуть, что это вице-губернатор края, имя, отчество и фамилию назвали тоже, только я оглашать их не хочу, и пусть, к примеру, будет он Борис Петрович.

В метре от меня он спросил, не я ли пишу четверостишия-гарики, я молча кивнул, а он уже приблизился ко мне вплотную, дохнул коньячным ароматом и сказал:

- Давай на ты. Ты что здесь делаешь?

- Давай, Борис, - ответил я приветливо. - Хочу лететь в Москву.

- Хули тебе там делать? - скорее утвердительно, чем вопросительно сказал вице-губернатор. - Давай сейчас поедем лучше в тайгу околачивать кедровые шишки. Ты когда-нибудь с кедра шишки собирал?

- Нет, никогда, - ответил я честно. - Только надо мне в Москву, у меня там концерт сегодня.

- Что же ты тут стоишь? - удивился он.

- Улететь не могу, - ответил я. - Ты что же, сам не видишь, что тут делается?

- Как это не можешь? - снова удивился он. - Дарья Михайловна, - он обращался к немолодой женщине, протиравшейся сквозь толпу, - оформи господину Губерману билет, но принеси его туда ко мне, а мы пока проводим человека честь по чести.

Мы оказались в большом зале, что когда-то назывался депутатским. Вдоль одной из стен стоял бар с немыслимым количеством напитков.

- Вы меня, ребята, извините, - сказал вице-губернатор, - выпивайте тут немножко, что хотите, я через минут десять освобожусь, я вон видите, принимаю делегацию английского королевского флота.

И двинулся в направлении соседнего - мы только что увидели его большого зала, откуда доносился лёгкий и нестройный шум многолюдной пьянки. Я вдруг ощутил бессонную ночь (надеялся отоспаться в самолёте) и всю диковинность происходящего со мной. В голове у меня было чисто, пусто и весело.

- Боря, - неожиданно для самого себя окликнул я вице-губернатора, он обернулся, - Боря, гони этих англичан к ебене матери, они ведь полтора века назад уже пытались захватить эти края - не помнишь разве - в Крымскую войну!

Боря восхищённо крутанул головой:

- А правда! Сейчас Мишке расскажу.

Мишка обозначился чуть позже, а покуда нам уже несли большой поднос с коньяком, пивом и орешками. По-моему, спутники мои ощущали то же лёгкое безумие, что и я. Мы пили молча, но со значением и победительно чокнулись. А через десять минут из зала вышла и направилась к дверям на лётное поле ровная струйка вдребезги пьяных, но ослепительно подтянутых и прямо шедших английских офицеров. Они несли себя, как вазы, боящиеся расплескаться. Следом шёл наш друг и покровитель, успевший одобрительно и обещающе нам подмигнуть. Через распахнутую дверь мы видели, как убирают со стола посуду и приносят новые тарелки и салатницы. Он возвратился и приветливо сделал нам у двери приглашающий жест. Тут я увидел человек тридцать российских морских офицеров тоже в парадной форме. В отличие от своих английских коллег они уже полностью утратили выправку. Мой покровитель громко произнёс про меня нечто столь комплиментарное, что я это никак не в силах воспроизвести, офицеры реагировали полным безразличием. Один только, желая соблюсти декорум, сказал, что читывал мои афоризмы, но не помнит, где именно (я в жизни не писал афоризмов), и мы уже почти направились к отдельному столу в углу, когда Борис воскликнул вдруг:

- Миша, Миша, иди сюда, ведь это Игорь мне напомнил про ту войну!

И подошёл к нам - чтоб рука моя отсохла, если вру - невысокий бледный человек с погонами адмирала. Больших звёзд у него было две, такое я впервые видел близко.

- Познакомьтесь, - запросто сказал мой вице-губернатор, -это начальник штаба (или кто-то ещё, не поручусь) нашего Тихоокеанского флота.

Мы пожали друг другу руки, в голове моей всё плыло и гуляло - как от ситуации, так и от количества уже принятого коньяка. Только этим объясняю я свой хамски разухабистый вопрос (я сам его услышал с ужасом), адресованный вице-губернатору:

- А что же он у тебя такой бледный?

Адмирал молча зыркнул на меня спокойными глазами, и я понял, что будь здесь палуба, верёвка и мачта, больше я бы никогда и никого не смог бы ни о чём спросить. А покровитель мой, ничуть не удивившись, бодро и незамедлительно сказал:

- Так ведь семнадцать лет в атомной подводной лодке просидел!

Мы направлялись уже в угол, адмирал отошёл, не проронив ни единого слова. Нет, успел я подумать, не буду я на всякий случай плавать в ближайшие годы на кораблях Тихоокеанского флота.

Наш получасовой дальнейший разговор был так сумбурен (и коньяк нам снова принесли), что я могу передать лишь впечатление. Оно так меня тогда поразило, что я тихо протрезвел. Со мной распахнуто и дружелюбно говорил человек, типаж которого мне был отменно знаком и памятен по лагерю и ссылке. Он был умён и явно энергичен, имел какое-то высшее образование, замашкой лидера пахло от него за версту, и мог он запросто, вполне по праву чем-нибудь на уровне огромной стройки или большой конторы замечательно руководить. Я видел, слышал, ощущал знакомый мне и ранее по инженерству, а потом - по лагерю и ссылке - тип разбитного, приблатнённого и многоопытного советского прораба. Из несвязной, скачущей и полупьяной беседы нашей вырисовывались и его проблемы - все они такого же характера и уровня были: тот подвёл, а этот падла, там украли, здесь не довезли и обманули, верить никому нельзя и не на кого положиться - все гребут, хватают и копают под себя. Я протрезвел уже и чисто лагерной решил его проверить шуткой:

- Хочешь, - я его спросил, - сейчас я, Боря, хоть я и приезжий иностранец, все твои проблемы одной фразой обрисую?

- Откуда тебе их понять, - он отмахнулся, но мальчишеское любопытство взяло верх. - Давай, попробуй.

А впрочем, нет, не с лагеря, ещё со времени, когда я был как раз таким прорабом, знал я эту шутку.

- Вся твоя проблема, милый Боря, - сказал я медленно и плавно, - она в том, что все тебя ебут, а тебе - некого.

- В самую десятку! - с сокрушением обрадовался государственный деятель. - Давай за это выпьем!

И проводил меня на самолёт.

Я хорошо его запомнил и спустя два года (или три), впервые увидав и услыхав по телевизору стремительно взлетающего к власти Путина, я вздрогнул от немыслимой похожести их типажа. И даже блёстки уголовной фени в устной речи были у них чуть ли не одни и те же. Конечно, Путин явно был гораздо более обтёсан и столичен, только ведь у глаз, у мимики, у слов - есть излучение, которое никак нельзя подделать (для себя я называю это запахом, поскольку слова точного не знаю, а понятие ауры сложней, чем то, о чём я говорю).

Та же чувствовалась полная пригодность для огромной стройки, для большой конторы, для какого-нибудь крупного конкретного проекта, для мафиозного семейства на худой конец. Но только где же все российские Сперанские, Столыпины и Витте? Именно они сейчас нужны России более всего.

Я знаю, где они.

И именно поэтому я начал с безымянных лагерных могил.

Несчётное количество раз я приставал к самым различным людям, задавая им почти заведомо безответный вопрос: а что они сами думают о творящихся в России переменах? Слушал уклончивые вялые слова, политики такое вежливое посылание на хуй именуют сдержанным оптимизмом. Но все реформы, не унимался я - они хоть что-то обещают же, не правда ли? В когдатошней России все судебные, земельные и прочие реформы вон ведь какой дали взлёт, еле-еле низвели его к нулю большевики.

И на конкретный сей вопрос я получил ответ выдающийся, какой-то явно мудрый человек эту модель придумал, мне её приятель уже только пересказывал.

- Смотри-ка, - сказал он, - приходит мужчина к женщине и садится пить чай. Это нормально? Безусловно. А приходит мужчина к женщине, снимает штаны и занимается с ней любовью - это тоже нормально. Но если приходит мужчина к женщине, снимает штаны и садится пить чай - ведь это ненормально! Но это и есть российские реформы.

Карнавал свободы, что течёт покуда, слава Богу, по России, порою чисто карнавальные затеи провоцирует, поскольку фраза классика марксизма, что человечество расстаётся со своим прошлым смеясь - возможно, лучшая из мыслей этого философа. В Новосибирске замечательная есть газета "Молодая Сибирь" (я уже её цитировал, сейчас она название сменила, кажется). И как-то я, там будучи, на первой же полосе увидел странный заголовок сообщение: вчера недалеко от города был убит сын иностранного дипломата. Я кинулся, естественно, читать, и стало мне смешно и хорошо. Чуть опьянев от воздуха свободы, принялись эти ребята

из газеты восстанавливать задним числом всяческую историческую справедливость. Для чего задумали постановку-хэппенинг: вчера, к примеру, при большом стечении народа (где-то на полянке за городом) Александр Пушкин застрелил Дантеса. Жалко, что я не был там - оба актёра были превосходны. Остальные темы постановок они мне рассказали в тот же мой приезд - не знаю только, были ли они осуществлены. А темы были замечательные и, конечно же, имели отношение к восстановлению всемирной справедливости:

Белка и Стрелка запускают в космос академика Королёва. Князь Олег укусывает змею. Немецкие танкисты поят Вячеслава Михайловича коктейлем Молотова. Памятник Ленину гадит на голубей.

Интересно, что такое смеховое, карнавальное (как счастлив был бы Бахтин!) расставание с прошлым свойственно даже тем, кто давным-давно уже покинул лагерь мира и социализма. У меня в Америке живёт приятель - он давно уже уехал, программист, а не гуманитарий, и женат на коренной американке -всё былое утекло или должно было утечь. Однако, заведя себе собаку, он обучил её какать на прогулке только после того, как он произнесёт слово "Маркс". Собака к этому легко привыкла. Как-то раз, придя домой, он не застал жену и вышел в рощицу, где они гуляли с собакой. Он увидел жуткую картину. Его жена забыла ключевое слово, и собака не могла теперь покакать. На глазах у пса стояли слёзы, он беспомощно смотрел на хозяйку, которая уже плакала вовсю. И повторяла, ключевое слово отыскать пытаясь:

- Че Гевара, Фидель Кастро, Робеспьер, Троцкий, Ленин, Ленин, Ленин!

Как ни странно - думая об огромной и могучей России, я упрямо вспоминаю двух лягушат из древней притчи - тех, что попали в молоко. Один, отчаявшись, пошёл ко дну сразу, а второй бил лапами, и сбил из гибельного молока сперва сметану, после масло и благополучно вылез из пучины. Только для этого, сказал мне один циник, у молока должна быть достаточная жирность.

Это нам покажет только время.

Я уже не раз писал и говорил, что чувствую себя в России - дома, и в любом городе спокойно гуляю где угодно и в любое время суток. Но лет пять назад была у меня странная гастроль -в двух городах в один приезд мне стало невообразимо - страшно? - тревожно? - тоскливо до невозможности остаться наподольше? - не найду никак единого определяющего слова. Только из обоих городов я спешно и растерянно уехал. Нет, я концерты отыграл, и всё было прекрасно в этом смысле, только оставаться там ещё на

день я уже не мог. Сначала это всё со мной случилось в городе Ухте, и здесь придётся мне начать издалека.

Лет пятнадцать тому назад (уже поболее, пожалуй) я наткнулся на судьбу изумительно талантливого человека и написал о нём роман - "Штрихи к портрету". Николай Александрович Бруни был поэтом, музыкантом, художником, одним из первых военных лётчиков в Первую Мировую, потом священником и авиаконструктором. Был посажен за единственную фразу, в которой и мировоззрение его высвечивалось полностью, и мужество открытое, что уже было редкостью в то время. Второго декабря тридцать четвёртого года, услышав утром об убийстве Кирова, он громко сказал в курилке своего авиационного института: "Теперь они свой страх зальют нашей кровью". В лагерь он попал в Ухту, где только-только начинало разворачиваться строительство огромного нефтекомбината. Стал он лагерным художником, и в начале тридцать седьмого года ему было поручено (доверено, скорей) сооружение памятника Пушкину в посёлке для вольнонаёмных и надзорсостава. А спустя полтора года он был убит специальной расстрельной командой, ездившей по лагерям. Я обошёл тогда множество бывших зэков, собирая по крохам разные истории из жизни тех лет. Это была уже середина восьмидесятых годов, но ещё мне попадались старики, боявшиеся до сих пор любых воспоминаний о лагере. Материал для книги я собрал, но с той поры очень хотел увидеть лично этот город и в особенности - памятник Пушкину, ибо на фотографиях он выглядел изумительно. Распахнутый и вольный, поэт сидел, откинув руку по скамье, и я тогда ещё писал, что только зэк - голодный, обречённый, в холоде и рабстве мог сотворить такое чудо духа и свободы.

И десять лет спустя, когда меня позвали выступить в Ухте, я согласился с радостью. Меня немедля отвезли в тот захудалый парк, где стояла ныне эта скульптура. В жутком она была состоянии. И уже высилась вокруг неё обшарпанная фанерная будка, как бы предваряющая слом и полное исчезновение. Здесь побывала некая комиссия, постановившая, что эстетической, скульптурной ценности это сооружение не представляет. А что это удивительный и уникальный памятник чудовищной эпохи - просто не пришло в голову этим высоко мыслящим экспертам. Недалеко от сиротливой будки бодро и сохранно стояли молодой Ульянов и бессменный Павлик Морозов. Уж они-то были в полном порядке. А меня снимали для местного телевидения, и я угрюмо и невежливо для гостя заявил, что пока находится в таком состоянии Пушкин, сделанный зэком, ничего хорошего в

ухтинской жизни произойти не может. Чуть забегу вперёд, чтоб радостью случайной поделиться: года три спустя я получил по почте местную ухтинскую газету. Там сообщалось, что некий местный новый русский дал всё-таки деньги на восстановление скульптуры, и уже под многолетним наслоением бетона и ещё чего-то обнаруживаются черты замечательного произведения искусства. Дай Бог, подумал я и вспомнил заново тот день.

Меня возили по Ухте, и тихо-тихо, медленно-медленно овладевали мной тоска и страх. Везде были приметы лагеря. Во всей уже как бы начавшей опоминаться жизни города были черты вчерашнего. А на окраине, где были некогда лачуги освободившихся (такой район обычно называется Шанхай - во многих городах я видывал следы этих кошмарных, как бы первобытных поселений), стоял замечательный по лаконичности памятник погибшим здесь. Большой бетонный крест, а в перекрестии - пустой квадрат, забранный массивной камерной решёткой. Тут и повезли меня в то место, на котором я сломался окончательно. Над городом большой покатый холм так высился, что сверху было видно город, и естественно, что там на смотровой как бы площадке стояло чудовищное сооружение: гигантский (метров двадцать) профиль Ленина, сваренный из железной арматуры. Он уже и ржавчиной был тронут, и распадом, сиротливо всюду висели электрические патроны без лампочек или с осколками разбитых, обрывки электропроводки, куски случайного мусора. И это тоже, в сущности, был памятник эпохи, а его кошмарная запущенность никак не трогала меня - для нервной и душевной слабости тут оснований не было, но вдруг оно явилось в виде неожиданном и диком. Мы услышали рычание моторов, и на холм вкатились две машины, увитые свадебными гирляндами цветов. Вышла дивной симпатичности молодая пара, вывалились поддавшие дружки, и я ещё сообразить не успел, зачем они здесь, как пару эту стал снимать фотограф на фоне этого обезображенного профиля. И я понял с ужасом, что больше в городе Ухте им негде сняться. И мне стало очень худо.

Я уехал, что-то наскоро соврав, и целый день до самолёта неприкаянно бродил по холодному соседнему городу, и ругал себя за дамскую нервозность, одновременно ощущая радость, что сбежал.

А через неделю (в промежутке были два ещё каких-то города) я в Красноярске пил водку с двумя давними приятелями давних лет - художниками Тойво Ряннелем и Андреем Поздеевым. С Тойво мы как бы недавно виделись всего лет двенадцать минуло со дня, когда на свою выставку приехав в некое сибирское село Бородино, он разыскал меня и, отказавшись от высокого приёма

сельской властью, завалился в нашу ссыльную избу, и я тот вечер помнил с благодарностью. Андрея я не видел лет на двадцать больше. Оба они были признаны уже давно, со смехом вспоминали о своих бесчисленных врагах, я с наслаждением макал тайменя, лично пойманного Тойво, в густой чесночный соус, и мы очень быстро напились.

А так как всё это происходило в мастерской у Тойво, то к Андрею в мастерскую я пошел на следующее утро. Я уже пару раз читал статьи, где называли его сибирским гением, работы он теперь обильно и успешно продавал, а за тот час или два, что я смотрел их, предлагал в подарок каждую, которая мне нравилась особенно. Я отказывался всякий раз, а для себя выбрал потом два холста, которые Андрея чем-то не устраивали и лежали в большой груде, предназначенной на выброс или перекраску. Ты ничуть не изменился, сказал мне Андрей, не осуждая мой упрямый вкус. А в мастерской с нами курил его приятель, наш ровесник, обращавшийся со мной как-то странно - словно он чего-то ожидал от меня, но первым не хотел сказать. Мы вышли вместе. Вы меня так и не узнали? - полуутвердительно спросил он. Простите, Бога ради, ведь мелькают сотни лиц, - ответил я. А я когда-то вам выписывал пророческую справку о сотрясении мозга, усмешливо напомнил он. Так ведь тридцать лет прошло, обрадовался я. И вы, Миша, совсем были другой, поверьте. Очень рад вас видеть снова. И давайте поскорее выпьем.

У Андрея в мастерской мы ничего не пили, и поэтому с большим душевным подъёмом закупили бутыль водки, по банке пива и кусок варёной колбасы. По дороге в гостиницу мы проходили мимо городского Дома офицеров. На фронтоне его было два плаката. Один гласил: "Жизнь - родине, честь - никому", а на втором было написано так же броско: "Обмен валюты - круглосуточно". Мы переглянулись, засмеялись, не обмолвившись ни словом, и как-то сразу ясно стало, как это хорошо, что мы через столько лет встретились.

В моём гостиничном номере стояли в ванной два стакана для полоскания зубов, нам больше ничего не надо было, очень молодыми ощущали мы себя, и так оно и было, разумеется. Миша выглядел не бедно, и поэтому вполне было удобно расспросить его, чем он живёт и дышит в свои шестьдесят семь или восемь. Врачевание давно оставил, ответил он уклончиво, но медицинская аппаратура кормит до сих пор. И больше ничего не добавил, а меня вдруг стал хвалить за обилие волос на голове (он сам был абсолютно лыс) - я понял, что расспрашивать не стоит. И мы принялись вспоминать общих знакомых того дивного времени. За второй бутылкой я сбегал через полчаса, и тут он

меня спросил, сколько я здесь пробуду.

- Знаешь, какие-то охранные суки не пустили меня выступить в вашем Красноярске - 26, - сказал я ему с досадой и усмешкой. - И чего боятся, идиоты? И так подло не пустили, знаешь, как бывало с нежелательными учёными в шестидесятые годы: мол, мы что-то с датой напутали, оформили неправильно, теперь надо ждать начальства, а уже будет поздно, поезд ушёл, рельсы убрали. А жалко, я хотел там побывать.

- Не жалей, - ответил Миша, - не жалей, там людям быть не надо вообще.

Я вопросительно уставился на него.

- Ты помнишь, - сказал Миша медлительно, - у Паустовского описан где-то сумасшедший геолог, у которого был интересный бред: что злоба каждого столетия не исчезает, а как бы собирается, консервируется в разных пластах в земле? И может вырваться однажды. Помнишь? А под нашим городом такое сделано буквально. И уже полвека копится. Я там работал много лет. По-моему, я там в уме и повредился.

- Что ты болтаешь? - искренне и пылко возмутился я. - Ты совершенно сохранный мужик, я быстро бы увидел, если что с тобой не так. Ну, постарел, так на меня взгляни. Или по пьяни сочиняешь?

- У меня временами депрессия, - спокойно объяснил Миша, - но так накатывает, что я два раза с собой кончал. И ни хера ты в этом всём не понимаешь. Ты, например, знаешь, что сейчас под нами, под гостиницей, где мы сидим? Там полыхает настоящее, доподлинное адское пламя. И оно однажды вырвется наружу.

Тут он что-то, очевидно, уловил в моих глазах, потому что засмеялся и плеснул на дно стаканов по чуть-чуть.

- Об атомных реакторах ты что ли? - спросил я. - Так я о них читал совсем недавно. Как бы всем о том известно. Там три огромных атомных реактора стоят. Расскажи мне, что тебя свихнуло.

Далее прямую речь моего собеседника я воспроизводить не берусь, ибо пишу не художественное произведение и литературности боюсь, как в детстве темноты. А всё услышанное мной и было как бы литературой, ибо сгущено до некой апокалиптической картины. Наша выпивка была тут только соусом или подливой.

Ещё в конце сороковых годов геологами было названо это место как наилучшее для гигантского подземного сооружения. Скорее города подземного, каким и стал он постепенно. И до глубины чуть ли не триста метров было расчищено подземными взрывами пространство, по объёму - чуть ли не более, чем всё

московское метро. Только это была скальная порода, крепчайший базальт, ибо империя строила наверняка, с учётом мировой войны. Да и вручную били, очевидно, ибо несметное количество рабов сюда было привезено. Они и жили под землёй, и погибали там. Какая смертность там была - нетрудно догадаться. Самое кошмарное, сказал мне собеседник, что и по сегодня нет нигде ни одного воспоминания об этом месте - то ли там никто не уцелел, то ли убиты были все умышленно, уж очень важный был объект. Я этих слов его потом не проверял - и не было душевных сил, и очень было страшно, что окажется это правдой, ибо запросто могло так быть, ведь мы и до сих пор практически не знаем почти ничего о подлинном размахе того времени в убийстве собственного населения.

А далее пошли какие-то детали технологии, которые и переврать я запросто могу. Полученный в реакторах уран в виде раствора в царской водке (смесь азотной и соляной кислоты) тёк по трубам на обогатительную фабрику, где получался из него плутоний - начинка ядерных боеголовок для ракет. Ракеты тут же делались - в наземном городке. А трубы эти были - золотые, ибо золото устойчивей всего к разъедающему воздействию царской водки. Общим весом эти трубы были в несколько десятков тонн, и раз в несколько лет их целиком меняли. Ибо всё-таки и проедалось золото и, главное, делалось радиоактивным. Эти трубы после сменки захоранивались где-то, и вообще чудовищные были там организованы пространства для захоронения всяких гибельных отходов. Жидкость радиоактивную, например, - сливали в специально пробуренные скважины, хотя о течениях подпочвенных вод на такой глубине в точности ничего неизвестно. От Красноярска как бы в нескольких десятках километров, только мы ж не знаем, в каком направлении шла проходка под землёй. Мы, быть может, над ними сейчас и сидим. Под Енисеем они запросто прошли - под тем берегом уже такое же внутри горы пространство сделано. А после порешили делать эти трубы из особых видов стали, но несметное количество излучающего смерть золота навечно где-то захоронено там под землёй.

- Навечно ли? - машинально переспросил я.

- Об этом я и говорю тебе, - спокойно ответил Миша. - Ты ведь слушал и всё время думал, что я тебе о варианте Чернобыля талдычу, это тоже вовсе не исключено по нашему российскому разъебайству. Только я тебе о золотишке говорю, до которого охотники вот-вот найдутся. Ведь платину с обогатительной фабрики уже давно воруют, а пару лет назад какой-то сумашай и толику оружейного плутония украл, пытался его продать

американам, сам читал в газете.

Я внезапно ясно ощутил себя сталкером из романа Стругацких. Только смех у меня вышел хриплый и неуверенный. А Миша, это всё мне рассказав, повеселел и оживился, словно побывал на исповеди или у врача. Мне показалось, что ему даже известны те охотники, которые уже вот-вот рискнут. Я только очень не хотел, чтоб он об этом проболтался мне. И спать очень хотелось. Он и сам смекнул, что время закругляться. Телефона у него не было, и он ещё перед уходом пошутил насчёт моей разбалованности, я уже отвык, что люди запросто живут без телефонов. Мы договорились повидаться у Андрея, только я уже не выбрался к нему. А после в Красноярск меня не приглашали. Ощущения свои после его ухода я описывать не стану, ибо повторяю, что боюсь литературности. С той поры, однако, если меня спрашивают, что я думаю о нынешней России, я по-прежнему твержу оптимистическое нечто, потому что очень хочется, чтоб так оно и было. А в памяти моей немедля возникает совместившийся уже, какой-то слипшийся кошмарный образ пламени подземного распада и торчащего над ним обшарпанного ленинского профиля.

А для искреннего оптимизма в отношении России я нашёл недавно очень веский аргумент. В сегодняшней России - и в политике её, и в экономике такое множество резвится крыс, что явно сей корабль не собирается идти ко дну.

Обаяние тухлого мифа

Уже легко сейчас и просто собрать огромную библиотеку из книг, обсуждающих трагедию, постигшую Россию в прошлом веке. В чём-то главном авторы всех книг единодушны, только в обсуждении причин и механизмов споры нескончаемы и яростны. И есть одна лишь группа авторов, которым всё понятно, и между собой они расходятся в ничтожных мелочах. А тихая и негустая (в смысле мыслей и идей) речушка их соображений протекает в нескольких журналах и газетах, коими читатель грамотный уже давно пренебрегает, ибо нового из них не почерпнёшь. А зря! Я лично с аккуратностью и тщанием читаю уже много лет журнал "Наш современник". Нет, я вовсе не мазохист, и временем своим я дорожу, но тот настой вражды и злобы, что течёт, патриотически бурля, на этих удивительных страницах, почему-то питателен моему уму и духу. Я сам себе напоминаю своего пса Шаха: он иногда на прогулке, повинуясь тёмному животному инстинкту, начинает есть какую-то чахлую траву. Она отравна, по всей видимости, для его организма, потому что, нащипавшись её, он задумчиво склоняет голову и бурно отрыгивает съеденное. Это явно не только прочищает его желудок, но благотворно влияет и на общее самочувствие - он веселеет и бодреет. На мне это чтение сказывается не так стремительно и явно - может быть, из-за того, что нет у человека благодетельного навыка отрыгивать отравный текст, - но странную какую-то необходимость в чтении таком, и даже невнятную бодрящую пользу ощущаю неизменно. Лишь одна берёт меня досада: почему за столько лет им недосуг и не по силам выдумать что-нибудь новенькое, обжигающе острое, столь же достоверное, как всегда, но посвежее и покруче?

Мне лет десять назад необычайно повезло: в одной случайно попавшейся газетке вычитал я всё, что пишется с тех пор в такой литературе. Я несколько дней не мог расстаться с той газетой - я курил, пил кофе, спал, звонил приятелям, а после снова перечитывал и наслаждался ясной, стройной и неопровержимой исторической картиной, мне развёрнутой. По бедности своей газетка склеила статьи столичных разных авторов, её издали в Новгороде, так что и названия другого дать ей не могли, как только - "Вече", и колокольный звон её был гармоничен донельзя. О чём же звон?

Сперва - огромная статья Валентина Распутина - "Мысли о русском", где раздаются первые раскаты. Красиво сетует прозаик-печальник на повсеместное (далее цитата) "торжество зла, собирающего под знамёна своего передовизма аморалистический

интернационал".

Хотя и странные для уха слова тут нанизал известный ревнитель чистоты русского языка, однако же понять их можно. А дальше - гордые и верные слова о том, что Россия - "обессиленная, разграбленная, захватанная грязными руками, обесславленная, проклинаемая, недопогибшая - всё-таки жива".

Так мог страдательно повествовать о древней Руси летописец, излагающий последствия очередного татаро-монгольского набега. Прозвучала первая мелодия зачина - к чести Распутина отмечу: он пока молчит о конкретных насильниках.

Но уже на следующей странице тему подхватывает некий Марк Любомудров. Поскольку это почти наверняка безвкусный псевдоним, я долго всматривался в породистое лицо (высокий лоб, седые пряди, Санкт-Петербург, цитаты из Леонтьева и Достоевского), после чего решил, что автор явно не пролетарского происхождения. Господин Любомудров тоже пишет о страшных и всемогущих внешних силах:

"Установка на геноцид русского народа, принятая в октябре 1917 года, продолжает действовать. Быть может, в годы застоя темпы геноцида перестали удовлетворять те силы, которым служила брежневская шайка. И тогда был принят новый курс -на перестройку, смысл которой, как теперь уже отчётливо видно - в ускоренном перемалывании нации... Нет ничего случайного или стихийного в том, что происходит - всё совершается по хорошо продуманному и просчитанному плану - плану уничтожения России и русского народа. Заговор этот возник не вчера и не сегодня".

О заговоре господин Любомудров сообщает с помощью Достоевского, который всё, как оказалось, предсказал в "Дневнике писателя" за 1876 год. Цитату я, признаться, проверять не стал мне лень, но я ещё и верю господину Любомудрову: он так ненавидит демократию, что сам, по всей видимости - из хорошего дворянского рода, такие люди цитаты не передёргивают, разве что карты. Итак, цитата из великого провидца:

"Интернационал распорядился, чтобы европейская революция началась в России, и начнётся, ибо у нас нет для неё подходящего отпора ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств, начнут низлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла... Евреи сгубят Россию и встанут во главе анархии... Предвидится страшная, колоссальная революция, которая изменит лик мира всего. Но для этого потребуется 100 миллионов жертв. Весь мир будет залит кровью".

Нет, я слукавил: не по лени, я сознательно не проверял

цитату - я боялся, что не окажется этого кошмарного пророчества, а Любомудров строит именно на нём свои пронзительные дальнейшие выкладки. Эту цену мы уже заплатили, пишет он, а сейчас идёт третий этап той мировой войны, которую ведёт против России "Интернационал" (кавычки Любомудрова) на протяжении всего двадцатого века. Русская нация, пишет он, уже на краю уничтожения, на грани полной гибели. И вспоминается ему в этой связи участь индейцев в Америке, и пишет он чуть ниже: "Всю страну превратили в гигантский концлагерь, что-то вроде Дахау или Освенцима, где вместо крематориев работают очаги межнациональных конфликтов в разных регионах страны".

Тут явно благородное происхождение взяло верх, и карты господин Любомудров всё-таки передёрнул: вражда постигла бывшие братские народы, и специально россиян ещё никто не изводил. Неважно! Главное сейчас (чтоб коренную Русь от гибели спасти) - собрать национальное ополчение по типу 1612 и 1812 годов и победить. Кого же, угадайте? Этот же самый русский народ, ибо на последних выборах, с омерзением и болью пишет автор, за патриотов голосовало только ничтожное число избирателей, а остальные (цитирую) - "побежали за сверкающими голыми ляжками заморской шлюхи под названием "демократия". Народ уподобился блудному сыну из евангельской притчи, и его сразу отправили жрать помои из одного корыта со свиньями" (конец цитаты).

Что-то не упомню я такого поворота событий ни в одной евангельской притче, только дело ведь не в этом. Ясно, что такое национальное ополчение должно призвать к порядку и образумить собственных блудных сыновей.

Однако дальше - пуще. Эстафета звона ещё только набирает звук.

Дмитрий Балашов - известный автор жгуче достоверных исторических романов о великой и несчастной древней Руси. На фотографии - длинные седые волосы, клочковатая седая борода, сумрачные большие глаза - изнурённое тяжёлыми раздумьями лицо аскета и философа. Лицо такое, что Толстой и Достоевский могут отдыхать. А тема полностью обозначена заголовком - "Ещё раз о покаянии". Здесь кульминация всей колокольной службы номера, апофеоз мятущегося духа. И к евреям ненависть высокая, пламенеющая, словно готика того же названия. Хотя в зачине - то же самое словесное месиво. С ним даже глупо спорить, только процитировать и вздохнуть.

"Мы знаем, что и в создании коммунистической идеологии роль евреев была исключительной. Маркс - крещёный еврей; вся верхушка ленинской гвардии на 98% была еврейской, евреи

составили, в основном, правительство страны после победы революции, еврей Свердлов уничтожил казаков, Тухачевский топил в крови восстание тамбовских крестьян, Френкель организовывал лагеря, в коих изгнили миллионы русичей, и так далее".

А ещё упоминается таинственный американский миллиардер Шифф, без денег которого не удалась бы революция, и еврей-масон Парвус, который всё, как известно, завязал и устроил.

Только далее - аккорд не банальный, а вполне достойный аскета-мыслителя. Зная всё это, пишет Балашов, я скажу (выделено курсивом): "евреям каяться не в чем".

И поясняет: "Ежели тот, кто делал все эти мерзости, делал их, опираясь на древнюю, отражённую в Талмуде идею национальной исключительности, единственности еврейского народа, - то он лишь исполнял (и блестяще выполнил) свою религиозную установку".

А перечислив злодеяния евреев под водительством Ленина более подробно ("уничтожили русскую империю, развалили страну, истребили все активные классы русского общества, включая трудовое крестьянство"), доходит мыслящий Балашов до высшей ноты:

"И вообще слуги сатаны ответственны перед сатаной, а не перед Господом! Так возникает вопрос: - в чём же им каяться?"

Так что только православных призывает Балашов к покаянию, ибо незряче исполняли они (и посейчас так же слепо исполняют) все злоумышленные планы врагов рода человеческого. Которых следует судить и либо изгонять из страны, либо подвергать смертной казни. (Чуя именно такой исход, пишет Балашов, развернули сейчас хитрые злодеи такую бешеную борьбу за отмену смертной казни.)

Почитал я дивный текст этого саблезубого гуманиста и подумал с грустью и тревогой: почему же мы, евреи, отравители душевных колодцев - ополчились именно на Россию?

Но настолько мелодически полон оказался этот номер газеты, что немедля я нашёл ответ и на последний свой немой вопрос. Ничуть не только на Россию ополчились евреи, а на весь без исключения подлунный Божий мир. Который давным-давно уже мы покоряем планомерно и тщательно, в разное время окучивая разные страны. Объяснила это мне статья Геннадия Шиманова - "О тайной природе капитализма". Мне досталось в номере газеты только окончание этого блестящего труда, но и его вполне достаточно для ясности картины, и я в меру сил моих перескажу леденящий кровь детектив о плетении всемирной паутины.

Оказывается, было так: в середине прошлого века иудейские

финансовые магнаты облюбовали Соединённые Штаты Америки. Они решили превратить эту страну в "ведущую державу всего капиталистического мира, должную распространить своё экономическое, политическое и духовное влияние на всё человечество". И не стоит, читатель, принимать всерьёз ту чушь, которую написали с тех пор всякие экономисты, историки, социологи и прочие слепые учёные о причинах и путях развития и процветания Америки. Эти профессора кислых щей были специально наняты, чтоб затемнить истинные пружины и механизмы. А на самом деле - Америка была секретно запланирована евреями, чтоб стать такой, как есть сейчас, и потекли туда по тайным каналам несметные деньги европейских банкиров. Главным образом - из Швейцарии, ибо именно там евреи с давних пор таили и копили свои сокровища. Почему же именно в Швейцарии? - спрашивает сам себя проницательный Шиманов. И отвечает, по-моему, просто и гениально. Во-первых, потому что история швейцарских банков ("равно, как и история самой Швейцарии") окутана глубокой тайной - что с несомненностью означает тесную причастность к этому евреев. А во-вторых, по утверждению Еврейской энциклопедии, том 4, еврейские финансисты появились в районе Берна уже в 6 веке нашей эры.

В жизни своей ничего убедительнее я не читал. Вот какие страшные мы люди, думал я, и горестная гордость распирала мою грудь. И тут я вдруг сообразил, что я могу помочь Шима-нову - он поленился полистать энциклопедию дальше - а ведь текли ещё, конечно же, и французские деньги, потому что в томе на букву "П" написано чёрным по белому (о, местечковая гордыня наша, побуждающая выбалтывать такие ключевые тайны!), что Париж хоть и столица Франции, однако же - "евреи здесь жили ещё до завоевания Галлии франками".

Я покурил, остыл немного, выпил кофе и уныло занялся исторически предначертанным мне делом - сел вычитывать текущие инструкции из книжки "Протоколы сионских мудрецов". Я ещё тоже напишу о нас со временем полную правду, тщеславно думал я. Не зря ведь самые заядлые антисемиты - из картавых.

Забытые стихи

Был у меня как-то краткий разговор с литературным профессором Романом Тименчиком, благо живет он тут же в Иерусалиме и преподаёт в университете. На случайной пьянке встретившись и мне желая что-нибудь приятное сказать, Роман спросил:

- У вас ведь, Игорь, есть черновики? Отдайте нам их, мы бы изучали ваше творчество, уже пора.

Я был польщён безмерно и, неловко восхищение скрывая, горестно признался:

- Нету, милый Рома, я как книжку кончу, сразу всё выбрасываю, не держу архива никакого.

- Жаль, - ответил мне профессор с облегчением, - а то бы изучали.

Через какое-то недолгое время я наткнулся в ящике стола на уцелевший по случайности блокнот со множеством стишков. Вот настоящие литературные черновики, обрадовался я. И на случившейся такой же пьянке я как бы мельком и со скромностью, присущей ситуации, сказал Тименчику:

- А знаете, Роман, я тут нашёл один блокнот довольно старый, там черновики большого сборника стихов...

А так как профессор явно не вспоминал, к чему я гну, я пояснил стеснительно:

- А то ведь изучать пора...

Роман просиял и доверительно сказал мне:

- Я это самое всем аспирантам говорю, а никто не хочет!

Я дивный этот разговор недавно вспомнил, ибо мне довольно крепко повезло. Это была как бы награда за неряшество. Я не храню архив, а та огромная помойка, что растёт на полках и в шкафу, в ящиках стола и под столом, такого названия не заслуживает ни по виду своему, ни по сроку сохранения. Ибо как только предвидятся гости, я всю внешнюю часть помойки выбрасываю, а до внутренней добираюсь лишь частично - всегда находятся забытые листки, над которыми я с интересом безнадёжно застреваю. Но однажды для гостей понадобились даже полки шкафа, тут я с силами душевными собрался и дня за два выбросил вообще всё. А за прилежность был вознаграждён: нашлась тетрадь, которую когда-то контрабандой вывез я в Израиль, уезжая. Там были стишки, которые писались с самого начала перестройки. Большую их часть я напечатал сразу по приезде, а оставшиеся бросил и забыл. Теперь найдя, я обнаружил, что они имеют прямое касательство к теме

российской свободы, а значит - пусть живут в этой книжке.

Из дневника 86-87 гг.

***

Услышав новое решение,
мы по команде, ровным строем
себя на вольное мышление
беспрекословно перестроим.

***

Я сыт по горло первым блюдом
разгула гласности унылой,
везде так люто пахнет блудом,
что хлынет блядство с новой силой.

* * *

На днях мы снова пыл утроим,
поднимем дух, как на войне,
и новый мир опять построим,
и вновь окажемся в гавне.

* * *

Много раз я, начальство не зля,
обещал опустить мои шторы,
но фальшивы мои векселя и
несчастны мои кредиторы.

* * *

Сплелись бесчисленные нити
в нерасторжимые узлы,
и, не завися от событий,
капустой ведают козлы.

* * *

Случаем, нежданно, без разбега,
словно без малейшего усилья

но летит российская телега,
в воздухе сколачивая крылья.

* * *

Временно и зыбко нас украсила
воля многоцветьем фонарей;
гласность означает разногласие,
а оно в России - как еврей.

* * *

Трудно жить в подлунном мире,
ибо в обществе двуногих
то, что дважды два - четыре,
раздражает очень многих.

* * *

Питомцы лагерной морали,
на воле вмиг раскрепостясь,
мы рвались жить и жадно крали,
на даже мизер жалко льстясь.

* * *

Менее ли хищен птеродактиль,
знающий анапест, ямб и дактиль?

* * *

Так меняются от рабства народы,
что опасны для такого народа
преждевременные роды свободы,
задыхающейся без кислорода.

* * *

Хорошо, что ворвался шипучий
свежий воздух в российское слово,

от него нам не сделалось лучше,
но начальникам стало хуёво.

* * *

Усталы, равнодушны и убоги,
к мечте своей несбыточной опять
плетёмся мы без веры и дороги,
мечтая перестать о ней мечтать.

* * *

Судьба рабов подобна эху
рабы не в силах угадать,
мёд или яд прольётся сверху и
сколько длится благодать.

* * *

Душа не призрак-недотрога,
в душе текут раздор и спор:
в ней есть бурчание, изжога,
отрыжка, колики, запор.

* * *

Еврей живёт пока неплохо,
но век занёс уже пращу:
- Шерше ля Хайм, - кричит эпоха,
сейчас я вмиг его прощу!

* * *

Сокрыто в пьянстве чудо непростое,
столетия секрет его таят,
оно трясёт российские устои,
которые на нём же и стоят.

* * *

Я горе хотя и помыкал,
но пробыл недолго в тюрьме,
а вылетя, вновь зачирикал,
копаясь в любимом дерьме.

* * *

Судьба разделится межой,
чужбина родиной не станет,
но станет родина чужой,
и в душу память шрамом канет.

* * *

Ещё на поезд нету давки,
ещё течёт порядок дней,
ещё евреи держат лавки,
где стёкла ждут уже камней.

* * *

Власть невольно обездолила
наши души вольных зэков,
когда свыше нам позволила
превращаться в человеков.

* * *

Под сенью пылкой русской дерзости
и с ней смыкаясь интересом,
таится столько гнусной мерзости,
что мне спокойней жить под прессом.

* * *

Китайцы Россию захватят нескоро,
но тут и взовьётся наш пафос гражданский,
в России достанет лесов и простора
собраться евреям в отряд партизанский.

* * *

Он мерзок, стар и неумён,
а ходит всё равно
с таким лицом, как будто он
один лишь ел гавно.

* * *

Когда протяжно и натужно
Рак на берёзе закукует,
мы станем жить настолько дружно,
что всех евреев - ветром сдует.

* * *

Смотрю, как воровскую киноплёнку,
шаги моей отчизны к возрождению;
дай бог, конечно, нашему телёнку,
но волк сопротивляется съедению.

* * *

За личных мыслей разглашение,
за грех душевной невредимости
был осуждён я на лишение
осознанной необходимости.
Потом прощён я был державой
и снова вышел на свободу,
но след от проволоки ржавой
болит и чувствует погоду.

* * *

Скисает всякое дерзание
в песке российского смирения,
охолощённое сознание
враждебно пылу сотворения.

* * *

Когда укроет глина это тело,
не надо мне надгробие ваять,
пускай стоит стакан осиротело
и досуха распитая ноль пять.

* * *

Еврей, возросший в русском быте,
не принял только одного:
еврей остался любопытен,
и в этом - пагуба его.

* * *

Скудно счастье оттепелъных дней:
вылезли на солнце гнусь и мразь,
резче краски, запахи гавней
и везде невылазная грязь.

* * *

Какие бы курбеты с антраша
искусство ни выделывало густо,
насколько в них участвует душа,
настолько же присутствует искусство.

* * *

Моя еврейская природа
она и титул и клеймо,
она решётка и свобода,
она и крылья и ярмо.

* * *

Раньше вынимали изо рта,
чтобы поделиться с обделённым,
русская былая доброта
выжглась нашим веком раскалённым.

* * *

Мираж погас. Огонь потух.
Повсюду тишь недужная.
В дерьме копается петух,
ища зерно жемчужное.

* * *

Увы, с того я и таков
на склоне лет,
что время учит дураков,
а умных - нет.

* * *

Слухи с кривотолками,сплетни, пересуды,
вязкие потоки пакостных параш
льют пустопорожние скудные сосуды,
злобясь, что е соседних пенится кураж.

* * *

Я знаю дни, когда нечестно
жить нараспашку и заметно,
когда всё мизерно и пресно,
уныло, вяло и бесцветно.
В такие дни, умерив резвость,
лежу, спиной касаясь дна.
Периодическая мерзость
в те дни особенно вредна.

* * *

Майский фейерверк брызжет в декабре,
начат новый опыт, веет свежий дух;
дождики в четверг, раки на горе,
клёваные жопы, жареный петух.

* * *

В нашей почве - худородной, но сочной
много пользы для души и здоровья,
и на дружной этой клумбе цветочной
лишь евреи - как лепёшки коровьи.

* * *

Сменив меня, теперь другие
опишут царственную Русь,
а я очнусь от ностальгии
и с Палестиной разберусь.

Забавно мне, что в те же годы, когда я писал эти стишки, не веря, что такое счастье как свобода - может наступить даже в России, были поэты, заклинавшие Бога (и православного, и Бога вообще), чтоб ничего не изменилось. Ужасно интересно вспоминать сегодня один трогательный стих того времени достославного Станислава Куняева:

От объятий швейцарского банка,
что мечтает зажать нас в горсти,
ты спаси нас, родная Лубянка,
больше нас никому не спасти.

Я теперь часто читаю этот стих на выступлениях, и мне со сцены ясно видно, что не только смех высветляет лица зрителей, но и какая-то тёплая ностальгическая дымка - так, наверно, запах костра влияет на все чувства бывшего заядлого туриста. Очень пахнет нашим прошлым этот стих, а в любом минувшем совершенно независимо от его качества содержится неуловимая приятность. Я же лично - вспоминаю сразу чьё-то дивное двустишие по поводу как раз этого стиха:

Вчера читал Куняева
мне нравится хуйня его.

И общий смех сдувает эту тёплую волну приятства.

Ужасно глупо, разумеется, начинять собственную книжку чужими стихами, но придётся мне украсить эту главу гениальным (иного слова нет, и потому обидно мне вдвойне) четверостишием о том же времени поэта Фомичева (а если спутал я фамилию,

прошу прощения, не записал). Думаю, что от такого четверостишия не отказался бы и Тютчев, хотя побрезговал бы его писать.

Пустеет в поле борозда,
наглеет в городе делец,
желтеет красная звезда,
у ней растёт шестой конец.

Уже пятнадцать с лишком лет прошло с поры, как я писал стишки, приведенные тут в начале, но странная и грустная созвучность этих виршей дню сегодняшнему (если я не ошибаюсь, разумеется) заставила меня, презревши лень, восстановить и некую давным-давно написанную мной поэму. Когда явился на российском небосводе новый, явно долгоиграющий президент, я вспомнил вдруг, что я уже некогда пытался описать чувства, что возникли ныне в моей пустой (и потому отзывчивой для современности) голове. А так как я в те годы писал только о евреях, то поэма эта даже и названием своим (точней двумя) привязана к любимой мною русской литературе.

СКАЗКА О ЦАРЕ НАТАНЕ, или БЕДНЫЙ ВСАДНИК

Посвящается актёрам Всероссийского Гастрольно-концертного Объединения (ВГКО)

Где море лижет горы,
невидимый врагам
возрос огромный город,
прижатый к берегам.
Дома из камня белого
о прочности поют,
мужчины сделки делают,
а женщины - уют.
Снабженцы с сигаретами
толпятся на трамвай,
висят листы с декретами:
"Купив - перепродай!"
Сопят младенцы в садике,
раввины спят в метро,
сидят седые цадики
в справочных бюро.
Бесплатные советы
желающим дают,
петраркины сонеты
страдающим поют.

На стыке главных улиц
в неоновом огне
сидит верховный Пуриц
на вздыбленном коне.
Всеобщим, тайным, равным
любить и устрашать
он выбран самым главным,
чтоб город украшать.
Но полон день заботами,
справляться нелегко,
и всадником работает
актёр ВГКО.
По лысине и гриму
стекает мелкий дождь...
Спешат евреи мимо,
сидит промокший вождь.
А из окошка рядом
пылает нервный свет:
за каменной оградой
галдит Большой Совет.

* * *

Встал Натан, высок и плотен:
- Если партия не против,
я бы съездил за границу,
где коктейли и девицы.
Чтобы связи нам расширить,
буду пить и дебоширить.
А по Франции, как мушки,
сонно бродят потаскушки,
и летят, как комары,
сутенёры и воры.
Знак любви и знак доверия,
даст мне деньги бухгалтерия,
где сидит Иван-царевич,
а по матери - Гуревич.
Шевелит Совет усами:
бардаками славен запад,
соберём налоги сами,
отдыхай, наш вождь и папа.
Пусть летит! Лететь не ехать!
Нарастает шум и гам,
рикошетом плещет эхо

по окрестным берегам.
Мимо кромки океана
самолёт везёт Натана,
а внизу на площади
сидит актёр на лошади...

* * *

Но проснулся в час рассвета
Клары Цеткин дряхлый внук,
непременный член Совета
анархист Ефим Генук.
Заглянул к жене в покои,
стал чему-то рад,
свой гормон легко настроил
на бунтарский лад.
Чёрным флагом развевая,
вышел вон из дома...

* * *

Революция (любая)
начинается с погрома.
Бьют Трибунера и Пульта,
горлопанов - трепачей,
бьют Инфаркта и Инсульта
(все болезни - от врачей).
Балалайка бьёт Ноктюрна,
рвёт Сольфеджию Гармонь,
скачет уличная Урна,
масло брызгая в огонь.
И от часа к часу злее,
словотренъем пламя вызвав,
бьют самих себя евреи
за несходство фанатизмов.
Плачут идолы и бонзы,
тьмой и страхом воздух скован.
Конь заржал! Но голос бронзы
был неверно истолкован.
Хрустнул хряснутый хрусталь,
лес о щепках плакал,
закалялась наша сталь,
выжигая Шлака.

* * *

Стук стаканов, звон бокалов,
отпущенье арестантам,
ночью жёны генералов
дезертируют к сержантам.
Разбегаются солдаты,
ходят пить и ночевать,
и темны военкоматы,
стало некем воевать.
В унитазе (дверь направо)
тонет План Мероприятий,
всё светлее быт и нравы,
всё угрюмей обыватель.
Щели трещин вдоль по стенам,
ждут поливки баобабы,
но разрушена система
и не трудятся арабы.
И с оглядкой, воровато
говорят среди народа,
что печалями чревата
чересчурная свобода.
Так что гул аэроплана
всё желаннее и ближе...
Самолёт везёт Натана,
похудевшего в Париже.
И восторги исторгая,
ликованье в горле комом...
Революция (любая)
завершается погромом.
Бьют Трибунера и Пульта,
горлопанов-трепачей,
бьют Инфаркта и Инсульта
(все болезни - от врачей).
В клочьях пуха ветер свищет,
каждый прячется в дому,
лишь Шерлок-Алейхем (сыщик)
выясняет, что к чему.
Знает: в битвах за Коня,
там, где трудно дышится,
дым возможен без огня,
нет огня без Дымшица.
Власть летит в автомобиле,

выступать имея страсть:

* * *

- Вы актёра истребили,
а в Натана - не попасть!
Не попасть веков вовеки,
ваш мятеж - самообман,
ибо в каждом человеке
дремлет собственный Натан.
Он аморфен и кристален,
он во всех, и каждый - с ним,
он, как мысль, материален
и, как тень, неуловим.
Разберитесь, осознайте,
затвердите как урок,
приходите, примыкайте,
зачисляйтесь на паёк...

* * *

Вот и всё. Развязку драме
понемногу ищут люди,
ищут цадики и сами
кто в бутылке, кто в Талмуде.
Все пошли служить послушно,
добывая детям хлеба,
прикупая всё, что нужно,
в мавзолеях ширпотреба.
И сидит Натан сурово...
Жить привычно и легко...
Говорят, под гримом снова
спит актёр ВГКО.

Часть V. ТРОЕ В ОДНОМ ВЕКЕ

Что наша жизнь?

"Игра", - ответит любой, кто слышал знаменитую арию, а кто её не слышал, всё равно ответит то же самое. И будут правы. Только до какой степени наша жизнь - игра, навряд ли они могут себе даже представить. Сегодня это более всех понимают учёные, которые исследуют устройство и работу мозга.

На моём столе лежит книга, изданная в 1990 году в серии "Классики мировой науки". Это труды великого российского учёного Николая Александровича Бернштейна. В послесловии академически сдержанно говорится, что его работы - "оказали большое влияние на развитие физиологии, психологии, биологии, кибернетики, философии естествознания". Не слабо, правда же? Лет пять назад в Америке и Германии прошли большие международные конференции в честь столетия этого учёного. Уже несколько научных книг и несчётное количество статей посвящено его идеям. На обеих этих конференциях был его ученик, которого молодые учёные издали оглядывали с почтительным изумлением, довольно различимо шепча друг другу: "Он знал его при жизни, это фантастика!" Только Россия, похоже, всё ещё не может осознать, что в ней родился и жил загнанный и непризнанный при жизни гений, идеи которого уже давно проходят во всех университетах мира как классические.

Гений жил в Москве, в густо населённой коммунальной квартире на улице Щукина. Жил очень бедно, ибо был давным-давно уже уволен отовсюду. Все лаборатории его (он основал их несколько) были закрыты ещё в пятидесятом году. Пенсия была ничтожно маленькой. Он почти всегда был весел и похоже, что счастлив. Он работал, и работа подвигалась.

Никак я не могу сообразить, с чего бы мне начать, чтоб соблюсти какую-нибудь иллюзорную последовательность изложения. Несколько последних лет жизни Николая Александровича я к нему довольно часто приходил, и это мне сейчас мешает. В памяти всплывает длинный и запущенный коридор коммуналки (вся эта квартира некогда принадлежала его отцу, очень известному московскому психиатру - вот и начало).

Психиатр Бернштейн основал в Москве лечебное заведение, позже ставшее зловещим символом советской психиатрии под именем Института Сербского. Но интересно, что основан он был с прямо противоположной целью - для психиатрической помощи больным, оказавшимся почему-либо в полиции. Потому и квартира отца была неподалёку от этой клиники. Николай Александрович закончил медицинский факультет университета,

служил военврачом в Красной Армии, а в начале двадцатых пошёл работать в Институт Труда, созданный романтиком и энтузиастом поэтом Гастевым для научной подготовки прекрасного светлого будущего (убит, как и такие же другие). Начинающий физиолог Бернштейн занялся изучением движений (а конкретно - ударами молотка по зубилу). Ибо как именно строит мозг и нервная система любое человеческое действие - известно ещё не было (а досконально - не известно и посейчас). Николай Александрович изобрёл несколько методик изучения движений, занялся тем, что проще именовать биомеханикой. И преуспел: в тридцатые - он уже доктор наук, профессор, основатель нескольких лабораторий. В тридцать шестом он пишет книгу, в которой обсуждает все известные гипотезы работы мозга и - со спокойной твёрдостью вступает в резкую полемику с идеями своего великого коллеги Павлова. Книга эта света не увидела совсем не потому, что Павлов был уже канонизирован как единственный и непререкаемый авторитет, эта беда произошла чуть позже. Книга не вышла в свет из-за немыслимого (на сегодняшний наш взгляд) благородства её автора: Павлов умер в том году, полемизировать с покойным оппонентом молодой Бернштейн считает для себя непристойным и задерживает выход книги, уже доведенной до вёрстки, оставалось только сделать переплёт. В этом виде сохранилась книга до сегодняшнего дня.

Очень обидно, потому что ещё в конце двадцатых, изучая всякие движения, молодой физиолог походя делает открытие, пятнадцатью годами позже принесшее мировую славу Норберту Винеру, отцу кибернетики. Он вводит понятие обратной связи - непрерывного сообщения в мозг о результате каждого мельчайшего действия. Сегодня - это классические азы любого управляющего устройства. Под названием "сенсорная коррекция" (слова понятны, правда же?) это впервые было введено в научный обиход.

А теперь я сделаю довольно длинный экскурс в историю познания мозга, чтобы очевидней стало, как велик прорыв вперёд, совершённый изгнанным отовсюду затворником с улицы Щукина. Я просто-напросто надёргаю куски из своей давней книжки "Чудеса и трагедии чёрного ящика" - она и привела меня когда-то к Николаю Александровичу Бернштейну, за что я до сих пор благодарю судьбу и тех приятелей-учёных, что меня туда отправили.

Если совсем издалека, то следует начать с Декарта. Это он в своём семнадцатом веке внёс в познание мозга первую очень значимую идею. Он наткнулся на неё, гуляя в парке, где стояли

статуи-автоматы. В гроте фигура купальщицы, убегающей при приближении человека; а если к некоторым статуям приближаться спереди, они окатывали водой. Простейшие механические автоматы натолкнули Декарта на понятие (впервые) о рефлексе. Что означает отражение, и наши действия - это отражение, реакция на те события, что происходят во внешнем мире. Так, ощутив жар от огня, некие жизненные силы, передаваясь по нервам, как вода - по трубкам садовых статуй, сообщают мозгу о том, что руку следует отдёрнуть. С помощью давления тех же жизненных сил (замените это современными словами "нервный импульс", и всё станет на свои места) мозг заставляет руку отдёрнуться. Точно так же Декарт трактует и все человеческие поступки. При виде страшного предмета, изображение которого возникает в мозгу, пишет он, жизненные силы направляются в ноги, двигая их так, чтоб убежать. У людей с другим характером (иным устройством) эти жизненные силы приводят в действие руки с целью защиты.

Так возникла первая основа, первый, но фундаментальный камень наших представлений о мозге. Надо ли говорить, что одновременно его познавали, как планету, только на карты наносили не острова, пустыни, реки и хребты, а извилины, выступы, бугры, впадины, отверстия и щели. Гадая и безуспешно докапываясь, где и в каком виде квартирует сознание, таятся способности, протекает мышление, гнездятся пороки и наклонности.

К концу прошлого века завоевала окончательное первенство теория, согласно которой деятельность мозга - это слаженное взаимодействие четырнадцати миллиардов нервных клеток - нейронов. Сочетанием и связью цепей нейронов шифруется и воспроизводится всё, что знает, умеет, делает и ощущает человек. Как шифруется? До сих пор неизвестно. А назначение наших органов чувств - перекодирование в нервные импульсы всех сведений из внешнего мира и передача этих сигналов в мозг по цепочкам нервных отростков - кабелей связи. Мозг моделирует мир. Он создаёт какие-то очень полные и точные образы, модели явлений, вещей, событий - всего, что совершается и происходит во внешнем мире. Игра с миллионами таких моделей и есть величайшая пока загадка мышления, творчества, памяти, действий, движений и поступков.

И почти тогда же, почти полторы сотни лет назад появилась книга Сеченова "Рефлексы головного мозга". Автор писал о полной машинности мозга, слово рефлекс - отражение, реакция - становилось ключевым в познании работы этого верховного органа управления. Сеченов оптимистически писал: "Чувствуете

ли вы теперь, любезный читатель, что должно придти, наконец, время, когда люди будут в состоянии так же легко анализировать внешние проявления деятельности мозга, как анализирует теперь физик музыкальный аккорд или явления, предоставляемые свободно падающим телом?"

Книга Сеченова сполна определила жизнь сына одного рязанского священника. Однако же сначала он занимался изучением физиологии пищеварения. В 1903 году имя лауреата Нобелевской премии Павлова стало известно всему миру. Но среди его наблюдений оказался небольшой факт, лежавший в стороне от столбовой дороги тогдашних интересов учёного: у его подопытных собак появлялась слюна не только от вида и запаха пищи, но и при звуке шагов экспериментатора. Так и говорили: появляется "психическая слюна". Только что это такое и откуда? В непроходимой чаще явлений психики просветов ещё практически не было. У Павлова нашлось мужество отказаться от уже проторенной им дороги и врубиться в эту девственную чащу - да ещё с грубым по тогдашним понятиям топором физиолога. Так и появилось вскоре понятие об условном рефлексе.

Нервная система любого живого существа от рождения оснащена инстинктами - программами поведения, без которых обладатель не выжил бы в борьбе за существование. Сами названия инстинктов исчерпывающе говорят об их предназначении: оборонительный, пищевой, родительский, продления рода. Есть ещё ориентировочный инстинкт - рефлекс "Что это такое?". Любое событие во внешнем мире вызывает у живого существа реакцию, определяемую одним из этих инстинктов: нападение или бегство, заботу о потомстве, настороженное любопытство, половое стремление. Таких реакций множество, поскольку жизнь немыслимо разнообразна. Но если с неким событием, вызывающим вполне определённую (основанную на инстинкте) реакцию, совпадает по времени какое-нибудь другое, порой незначительное, лежащее в стороне от главных интересов существования, то теперь и оно может вызвать такую же реакцию. Спасая глаз от струйки воздуха, мы на мгновение закрываем его -инстинкт безопасности работает безотказно и стремительно. Если вдуванию воздуха будет предшествовать какой-либо звук, наш мозг довольно быстро это совпадение уловит, и теперь уже только при звуке мы будем привычно закрывать глаза. Установилась временная связь - условный рефлекс.

Павлов работал с собаками. Дают мясо - у собаки выделяется слюна. Перед кормлением несколько раз вспыхивает лампочка. А после только вспыхивает лампочка - у собаки течёт слюна. Из

цепочек (порой - очень сложных) таких временных связей и состоит значительная часть взаимоотношений мозга с внешним миром. Значительная, но не вся. И притом самая элементарная.

Павлов и его соратники говорили: жизнь любого живого существа - это непрерывные ответы и реакции на запросы и требования окружающей среды. Меняющийся мир воздействует на органы чувств, и эта информация, пробуждая многочисленные временные связи (образованные ранее), определяет поступки и действия животного или человека.

Мозг уподоблялся телефонному узлу: поступил сигнал, телефонистка соединила с соответствующим номером (соответствие - результат жизненного опыта), и абонент ответил - совершается действие. Связь чёткая, многообразная и жёстко определённая. Жизнь выглядела набором превосходно налаженных ответов на воздействия внешней среды, а мозг - панелью управления с богатым набором кнопок. Жизненная ситуация через органы чувств по нервным проводам нажимает одну из кнопок, и выдаётся заученное действие.

Это и в самом деле объясняло многие проявления работы мозга. Только далеко не все. С какими, например, инстинктами могла установиться временная связь (предполагающая прошлый опыт), когда человек впервые совершал какие-либо новые действия: учился ездить на велосипеде, бежал по незнакомой пересечённой местности, осваивал балетный этюд или балансировал на канате?

На ковре два борца. Мгновенные перехваты, броски, обманные движения, стремительные перемены поз. Великое многообразие действий, каждое из которых имеет сиюсекундную цель: захват, подножку, уход. Кто же подсказал эту цель? Ведь сознание явно не участвует в каждой мелочи схватки, оно просто не поспевает за её темпом, всё происходит как бы машинально.

А как угадывает мозг, какие мышцы надо срочно включить, чтоб удержать в равновесии человека, поскользнувшегося на льду? Осваивающего незнакомое сложное движение - в воде ли, на земле или в воздухе?

Исследователи называли свою тему очень точно: двигательная задача. Как её решает мозг в каждом конкретном случае, можно было только гадать. И записывать, фиксировать все видимые движения человека при решении поставленной задачи. Этим и занимались сотрудники Бернштейна в нескольких его лабораториях.

Сам Павлов прекрасно понимал, что его работами положено только начало. На одной из своих знаменитых сред, когда сотрудники, специально собираясь, обменивались идеями, он как-

то говорил: "...Когда обезьяна строит вышку, чтобы достать плод, то это условным рефлексом назвать нельзя. Это есть случай образования знаний, уловление нормальной связи вещей..." Павлов ещё не знал (а если бы узнал, то очень бы расстроился), что вскоре после смерти его имя превратят в икону, а одновременно - в дубину, которой будут бить всех, кто думает хоть чуть иначе и продвинулся вперёд. У советской империи был один вождь, одна идеология, один признанный лидер в каждой науке.

А что же Николай Александрович? Была война и голод в эвакуации, возобновление работы в Москве, быстрое написание книги "О построении движений". Его даже торопили: книга была подспорьем и для врачей, восстанавливающих навыки движения у раненых. Книга вышла в 47 году, в следующем году профессор Бернштейн стал за неё лауреатом Сталинской премии. Открывались замечательные перспективы новых исследований, но уже маячила на горизонте дикая и страшная кампания по борьбе с безродными космополитами. Сначала появились наглые ругательные статьи в специальных журналах, а потом этот визгливый хор коллег весомо поддержала газета "Правда" - в те года авторитет в последней инстанции, после её хулы можно было ожидать даже ареста. Суть обвинения проста: Бернштейн порочит достижения Павлова и "расшаркивается перед многими буржуазными учёными". Перед тем, как выгнать изо всех лабораторий, профессора Бернштейна ещё всячески шельмовали на коллегиальных собраниях. Мне очень запомнился его рассказ о наивной девочке - аспирантке; не в силах понять, что происходит, она выступила и со слезами на глазах сказала:

- Вы, наверное, так ругаете Николая Александровича, потому что думаете, что он еврей, да?

И в зале засмеялись даже самые матёрые хулители, вчера ещё являвшие почтение и преданность. Директор одного из институтов, где была лаборатория Бернштейна, лично разбивал молотком стеклянные таблички на дверях. А очень многие при встрече больше не здоровались, а то и шмыгали на другую сторону улицы. Один из друзей Бернштейна как-то раз ему сказал, ища согласия, что время наступило - кошмарное. На что Николай Александрович ему решительно и непреклонно возразил: "Что вы, время - замечательное: все люди - как в проявитель опущены: сразу видно, кто есть кто!"

Отовсюду изгнанный, он несколько лет жил тем, что делал рефераты иностранной научной периодики - благо, знал языки. После наступило время нищенской пенсии. Весь этот период - полный провал в перечне его публикаций. Но думать ему никто

не мог помешать. Кто-то из приятелей, встретив его как-то на улице, спросил: вы до сих пор нигде не работаете? Что вы, ответил Николай Александрович, я всё время работаю, я просто до сих пор нигде не служу.

Если верить классической формуле, что вся русская литература вышла из гоголевской "Шинели", то всё советское естествознание тех лет проистекало по сюжету "Герасима и Муму". В угоду взбалмошной идиотке-барыне (а точней её бесчисленной челяди) немые учёные топили своё самое заветное: картину мироздания, представления о жизни, научную свою честь, достоинство профессии, идеи и мысли.

Естествоиспытатели всего мира познавали мозг тем более интенсивно, что стремительно совершенствовались инструменты и приборы познания. А ни один всадник, как заметил некогда поэт, не может нестись на скачках быстрее своей лошади. Двигалась вперёд техника, это приносило новую аппаратуру и дарило новые возможности. Уже записывались биотоки мозга, это сильно продвинуло понимание его работы; тонкие электроды вживлялись подопытным животным в разные отделы мозга, и искусственное их возбуждение приносило новые знания о функциях этих отделов. Уже изучалась деятельность отдельных нервных клеток и целых структур. Шло вовсю инструментальное познание, а вместе с тем копились факты, вытекающие из новых опытов.

Когда ещё только начиналась запись биотоков мозга, скептики сравнивали это с той несвязной разноголосицей, которую произвели бы все телефонные разговоры большого города, попади они все вместе в одну отводную трубку. Но если представить себе, что в определённом настроении большая часть жителей одновременно станет напевать один и тот же мотив, то его уже возможно будет выделить из общего шума. У мозга такое состояние существует. Слившиеся, одинаковые волны заполняют у спокойного, ни на что не нацелившего внимание мозга многие нервные провода. Нейроны сразу нескольких областей сливают голоса в едином колебательном хоре. Мозг на что-либо обращает внимание хор замолкает. Это альфа-ритм, признак спокойствия.

А теперь обратимся к кошке (обезьяне, собаке, крысе), спокойно сидящей в клетке. От головы её тянутся тонкие проводки, и по экрану прибора чётко пляшут волны альфа-ритма, то есть кошку ничего не беспокоит. Вспышка света! Альфа-ритм немедленно исчез. Ещё одна. Вторая. Третья. Снова появляются волны альфа-ритма: кошка успокоилась, вспышки ей ничем не угрожают и уже более не интересуют. Вспышка изменилась -стала чуть ярче или темнее. Или изменился промежуток времени между

двумя вспышками. Меняли размер, цвет, положение в пространстве источника света - на каждое изменение следовала настороженная реакция, а после нескольких повторов животное успокаивалось.

Эту историю рассказал мне человек, некогда чудом уцелевший в немецком концлагере. Однажды их вывели долбить лёд на старом аэродроме, и несколько сот пленных оказались на опушке леса под охраной двух пулемётчиков, вскоре задремавших на своих вышках. Вышки стояли на узкой заснеженной поляне, отделявшей работавших от леса. Часовые спали, не реагируя на стук сотен ломов о лёд, покрывавший бетонную площадку аэродрома. Двое молча переглянулись и поползли через поляну. Часовые спали, но в разнобой ударов вклинился новый звук. Друзья этих двоих, зачарованно глядя то на них, то на вышки, машинально начали бить ломами в такт. Часовые проснулись мгновенно, вернуться невредимым успел только один из беглецов.

Мозг реагирует на одно лишь качество любого раздражителя - на новизну! На какое-нибудь даже крохотное изменение в этом раздражителе. Странные факты реакции мозга на новизну скапливались на уровне исследования отдельных нервных клеток, при записи миллионного оркестра, рождающего альфа-ритм, и на уровне тонких наблюдений за поведением живого существа.

Собаке открыли кормушку и показали издали положенный туда аппетитный кусок хлеба. Кормушку закрыли. Собака облизнулась и туго натянула поводок. Но за то время, что её спускали с поводка, в кормушке через заднюю стенку хлеб поменяли на мясо. Собака добежала до кормушки, деловито и привычно открыла её лапой. Мясо! Ведь оно ещё вкуснее, чем хлеб. Но собака несколько секунд оторопело стоит, не трогая любимую пищу. Что же произошло? На что были нацелены собачьи помыслы, когда она бежала к кормушке?

Из великого множества подобных экспериментов я выбрал для изложения простейшие, легко доступные моему пониманию. А опытов таких, очень разного уровня сложности и хитроумия, прошли по разным лабораториям - многие сотни.

В Монте-Карло, знаменитом своими игорными домами, издаётся единственная, вероятно, в мире газета, состоящая из одних только цифр. По утрам её жадно читают люди с серыми от бессонницы лицами. Напечатанные в газете цифры - данные о вчерашних выигрышах и номера полей, против которых застывало накануне прихотливое колесо рулетки. Игроки пытаются найти закономерность счастья - номера, на которых выигрыш наиболее вероятен.

Вероятность! Это великое слово. Им пользуются самые разные люди - от прожигателей жизни до тех, кто спасает её другим. Известна замечательно печальная и честная фраза: "Хорошо, если я за свою жизнь хоть треть диагнозов поставил правильно". Это сказал великий врач, изумительный диагност Боткин. Ибо симптомы, обнаруженные у больного, могут сопутствовать разным болезням, и диагноз - это повышенная вероятность одной их них.

Гипотеза звучала так: мозг живого существа впитывает все сигналы, текущие из внешнего мира, на основе этих данных предсказывает наиболее вероятный облик ближайшего будущего и настраивает поведение хозяина соответствующим прогнозу образом. А в случае ошибки, несовпадения прогноза с наступившей реальностью - мозг отвечает мгновенным повышением внимания. Чтоб разобраться в новой ситуации и выработать новый прогноз.

Органы чувств живого существа - не окна, таким образом, для произвольного втекания информации, а тончайшие приборы непрерывного слежения, активного анализа и отбора существенных сигналов. Чтобы мозг имел возможность постоянно предвосхищать ближайшее будущее и строить вероятностный прогноз того, что в нём произойдёт. (Кстати, этот точный термин -вероятностный прогноз - придумал уже ученик Бернштейна, тот самый, что был в Америке и Германии на столетии памяти учителя).

Активность мозга - это поразительное его свойство. Неподвижный глаз ничего не видит - глаз проходит по пространству обзора, как прожектор, обшаривающий небо, и поступающие сигналы падают не на чистую доску наших восприятий, а на готовую программу встречи и реагирования. То предвосхищение, которым непрерывно занимается мозг - постоянная программа этой изумительной вычислительной машины. Открытие этого свойства живого мозга - не только ключ ко многим тёмным проблемам психологии и психиатрии, но и реальная конструкторская задача создателям искусственного разума и всяких управляющих систем.

А теперь - небольшое отступление с лёгким философским оттенком. Как возник и развился этот механизм непрерывного автоматического прогноза будущего?

Чтоб уцелеть в безостановочной и беспощадной борьбе за существование, каждое живое существо должно было как-то научиться охранять себя от капризов непрерывно меняющейся среды. Это не только чередование тепла и холода, но и колебания в количестве пищи, и враги-хищники, и стихийные силы, и

множество других смертельных опасностей - контролирующее оружие естественного отбора. Один из простейших выходов - паразитное существование. Гарантия собственной безопасности обеспечивалась внутри, в организме (или на теле) другого живого создания. И уже только хозяин боролся с природой за свою сохранность, попутно содержа на иждивении паразитов.

Но паразитное существование - жизнь трудная и более рискованная, чем это может сначала показаться. Прежде всего необходимы гибкость, смирение и неприхотливость. Отсюда червеобразность многих из них - червеобразность как вида, так и поведения. А затем - полная зависимость от хозяина: смерть покровителя означает гибель всех питающихся его соками и охраной паразитов. Отсюда - крайняя заинтересованность паразитов в благополучии и сохранности хозяина: многие из них даже включаются в его систему обмена веществ, помогая ему жить. Это не выручает: слишком уж далека борьба, которую ведёт за жизнь хозяин, от его закосневших в паразитизме иждивенцев. Поэтому класс паразитов так недалеко продвинулся по лестнице эволюции - хоть они есть, их мириады, но развитие их застыло на первобытном уровне. Добровольное рабство спасает жизнь временно, а отучает жить - навсегда.

Я переписываю эти строки из своей давней книги со стеснительной и горделивой усмешкой. Наверняка внимательный читатель обратил внимание на лёгкую публицистичность этого текста. И вполне справедливо: что бы я в те годы ни писал, я уже старался изо всех сил хоть как-нибудь высказать свои мысли о советской власти и её охранителях. И дальше будет то же самое, поскольку я ещё немного выпишу на эту тему.

Промежуточный способ сохранения от капризов и превратностей существования - панцирь. Но броня, которой отгораживается живое существо от реальных или мнимых опасностей, - это тоже не абсолютно лучший способ выживания, ибо сам посильный размер панциря кладёт предел развитию вида. Кроме того, нельзя не отметить, что все эти черепашки и рачки-отшельники составляют любимую пищу тех, кто знает, как они соблазнительно беззащитны внутри мало надёжной скорлупы.

Поэтому основной способ, постоянно культивируемый эволюцией и утверждаемый естественным отбором - борьба. Бегство - это, кстати, тоже разновидность борьбы. Существа, нашедшие этот способ, продвинулись по лестнице эволюции до высшей ступени развития - до человека, способного к осознанной борьбе. Или игре, что то же самое.

Ярчайший образ игровой борьбы - фехтовальщик, живое и подвижное воплощение понятия игры. В арсенале его средств есть

нападение и отступление, непрерывное слежение за противником, стремительный анализ его приёмов и характера - чтобы успеть и суметь прореагировать, ответить выпадом, уходом или защитой. Главное в такой игре - быстрота ответа. Как же уменьшить это время, как перейти за положенную природой границу быстроты реакции? А очень просто: ответить ещё до того, как завершено действие, на которое реагируешь! Предвосхитить это будущее и заранее привести себя в готовность к ответу. То есть ответить мгновенно, ещё не разобравшись наверняка, верно ли было предугадано действие. Риск значительно повышается, но насколько же возрастает выигрыш!

И естественный отбор закрепил незримым штампом о жизнеспособности те виды живых существ, которые научились на основе прошлого опыта составлять вероятностную картину ближайшего будущего - через мгновение, секунду или час. Жизнь одобрила игровые механизмы мозга. А на уровне человека это выросло до осознанного предвидения (тоже вероятностного, разумеется).

Обсуждая эту игру-борьбу, естественно спросить теперь о главном: как же мозг решает каждый раз (и непрерывно) ту проблему, о которой мы уже упоминали - двигательную задачу? Как включаются нужные мышцы (это именуется очень красиво - кинетическая мелодия), чтобы привести тело в нужное положение, совершить мгновенное новое действие? Откуда будущая цель заранее известна мозгу?

Эту будущую цель физиолог Бернштейн назвал "потребным будущим". Мозг строит модель этого потребного будущего, и в соответствии с моделью разыгрывает мелодию включающихся мышц. Так родились и стали развиваться идеи совершенно новых представлений о работе нервной системы - это было названо физиологией активности.

Три десятилетия спустя в послесловии к академическому изданию работ Бернштейна будет сухо и спокойно сказано, что, по всей видимости, с его имени будет вестись начало "возникающей науки - теоретической нейрофизиологии, подобно тому, как начало теоретической физики связывается с именем Максвелла".

А в начале шестидесятых годов нечто поразительное для истории науки (и для видавшей всякое России) совершалось тихо и негромко: в коммунальную квартиру на улице Щукина тонким ручейком текли люди. Это были физиологи и математики, невропатологи и биофизики, различные другие специалисты, включая инженеров и кибернетиков. Идеи непрерывной игровой активности мозга сулили удивительные новые перспективы в

самых разных областях познания и техники. И Николай Александрович беседовал со всеми. Все приходили к нему порознь, и лишь однажды он собрал всех своих учеников одновременно. Это было за год до его смерти, и он единственный знал точно этот срок. Он сам себе поставил безошибочный диагноз, снялся с учёта в поликлинике, чтобы никто не помешал работе над книгой (она вышла уже после его смерти), а ученикам напористо и непривычно строго обозначил направление их изысканий.

Я помню очень хорошо тот день в холодном январе шестьдесят шестого года, когда стояли тесной группкой несколько учёных средних лет и обсуждали, как им лучше поступить. В некрологе, который отнесли в вечернюю газету, соглашались только на эпитет "известный", потому что для эпитета "выдающийся" требовалось специальное разрешение горкома партии. А времени уже не было, да и такого разрешения не дали бы наверняка. И кто-то вслух сообразил, как засмеялся бы над этой незадачей сам Николай Александрович, и вся проблема мигом рассосалась в воздухе.

Судьба человека

Осенью сорокового года в лагерь для польских военнопленных в Ламсдорфе приехала высокая комиссия. Сюда давно уже собирали украинцев из лагерей, разбросанных по всей территории Третьего Рейха. Были здесь даже те, что когда-то эмигрировали в разные европейские страны, а теперь сражались в армиях этих стран и попали в плен. Всего тут собралось около шестидесяти тысяч украинцев. Обращались с пленными настолько прилично, что давно уже поползли смутные слухи: скоро отпустят жить на завоёванных территориях, ибо немцы планируют восстановить в огромных былых размерах когдатошнюю независимую Украину. Соблазнённые этим слухом, к украинцам стали примыкать польские пленные. Чтоб их найти, изобличить и отделить, прибыла из Берлина эта комиссия Центрального Украинского Комитета, озабоченного национальной чистотой будущей самостийной Украины.

В лагере непрестанно ходил ещё один слух - быть может, именно он привлекал молодых поляков сильнее, чем улучшенное содержание украинцев. Поговаривали о неких специальных поселениях - "рассенлагерях", затеянных для физического укрепления арийской расы. Якобы уже отбирались красивые юные немки, преимущественно высокие блондинки с голубыми глазами, а также норвежки, датчанки и голландки таких же отменных статей. А мужчин для производства безупречно качественных детей решили выбрать среди украинских пленных.

У дверей барака, где заседала комиссия, в толпе царило нервное возбуждение. Нескрываемо волновался даже писарь, занимавшийся учётом пленных, огромного роста смуглый красавец с висячими по-казацки усами, уважаемый всеми за силу и добродушие Тимофей Марко. Он не выпускал изо рта трубку с длинным чубуком и не принимал участия в общем воспалённом разговоре. А на шутки, обращённые лично к нему (насчёт улучшения арийской породы), только улыбался и молчал.

Кстати, именно на его воспоминания я опираюсь, рассказывая об этой комиссии. Тимофей Марко вошёл в комнату и выбросил руку вперёд, приветствуя сидевших за столом.

- Слава Украине! - громко сказал он.

- Слава вождю, - последовал ответ. Тимофей Марко приблизился к столу.

- Перекрестись, - последовал первый приказ.

На этой символике проваливалось много поляков, забывавших от волнения, что по православному обряду осенять

себя крестом следует от правого плеча к левому, а по католическому ритуалу - наоборот.

Далее Тимофей Марко отвечал на многочисленные вопросы о православных праздниках и святых, не побоялся сознаться (ничего не зная о святом Себастьяне), что в церковь ходил редко и то лишь для того, чтобы заигрывать с девушками, и что молился, когда мать драла его за уши. Но в этой груди, сказал Марко, и простодушно ударил себя в грудь, бьётся чистое украинское сердце, и за независимую Украину он хоть сейчас готов прыгнуть в огонь.

Председатель комиссии встал и, выйдя из-за стола, пожал Тимофею Марко руку.

- Если бы ты знал, сынок, - растроганно сказал председатель, - как нашей земле сейчас нужны такие дети.

Экзамен кончился, и Тимофей Марко вновь уселся за гору документов и списков: выявилось много украинцев среди пленных французской армии.

Лагерные слухи оказались реальностью. В ведомстве Гиммлера действительно был разработан план, по которому высоких и безупречно здоровых славянских мужчин следовало придирчиво отобрать, признать арийцами и с их помощью улучшить породу немецких сверхчеловеков. Первые опыты и первый отбор было решено проделать с украинскими националистами, собранными в лагере Ламсдорф. Далее - цитата из воспоминаний Тимофея Марко:

"Украинским пленным начали выдавать сладкий кофе, мармелад и маргарин к хлебу, кусочек сала к обеденному гороховому супу. Приступили к обмену изношенных мундиров. За короткий срок украинский лагерь уподобился скорее какой-то опереточной армии, чем лагерю польских военнопленных. На нас надели французские береты и плащи, чешские мундиры, английские брюки, можно было даже увидеть мундиры пожарных из какой-то оккупированной страны".

Однажды утром все были выгнаны на плац, выстроены в одну шеренгу (процедура длилась несколько часов, каждый барак строился отдельно), и группа офицеров СС принялась медленно ходить вдоль шеренги.

- Выйди ты, - время от времени говорил один из офицеров, и вышедшего из строя немедленно отводили в сторону. Явно выбирались высокие широкоплечие здоровяки, уже пронёсся по рядам пугливый слух, что это отбирают пленных для работы в шахтах. Все нервничали и напряжённо молчали.

- О, вот где настоящий казак, - один из офицеров указал на Тимофея Марко. Остальные согласились, и Тимофею Марко

приказали выйти из строя. Всего из почти шестидесяти тысяч украинцев было отобрано к вечеру шестьсот человек. Их отвели в барак, где стояли скамейки и столы, а в уборных были отдельные кабинки, что поразило пленных более всего. Утром их накормили так отменно, что даже ярые оптимисты заподозрили неладное в своей дальнейшей судьбе.

А пару дней спустя в одной из комнат их барака обосновалась комиссия, состоявшая из эсэсовцев и нескольких врачей в белых халатах и с медицинскими инструментами - нечто вроде комиссии по приёму в армию, как немедленно согласились пленные.

В комнату входили по одному. Держали коротко, не более минуты. Вышедшие рассказали, что им заглядывали в рот, измеряли головы, осматривали руки, плечи и ступни, испытывали крепость зубов, смотрели уши. Как лошадям на ярмарке, злобно сказал кто-то. Чего хотят?

День был холодный, многие сходили за одеялами, чтоб не окоченеть в очереди, но дрожали всё равно - уже от волнения. Тимофей Марко, когда пришла его очередь, на своём слабом немецком извинился за свою дрожь от холода.

- Да, да, - согласился врач, подходя к нему ближе и тут же залезая пальцами ему в рот. - О, какой здоровяк! - восхитился он, показывая коллеге дёсны и безупречно крепкие ровные зубы. Коллега восхитился тоже и с дружелюбным одобрением потрепал Тимофея Марко по могучему крутому плечу.

А ближе к ночи выяснилось, что судьба шестисот отобранных действительно решалась этой комиссией: их признали полноценными арийцами с правом жениться на немецких женщинах и обзаводиться детьми. Чем больше, тем похвальней. Они были отобраны, как племенные кони или быки. Соответственно это означало свободу и совершенно иную новую жизнь.

Выйдя из комнаты, где заседала комиссия, Тимофей Марко, не разговаривая ни с кем, быстро ушёл в глубь барака. Там он заперся в уборной и с боязливой аккуратностью (руки ещё дрожали) разрезал бритвой незаметную тонкую нитку, больно впившуюся ему в кожицу члена. Перед самой комиссией, минут всего за десять (но сейчас уже невыносимо было больно), он в этой же кабинке натянул кожу на головку члена и, сжав зубы, натуго захлестнул её ниткой. Ибо на восьмой день своего рождения юный Саломон Штраус, как и полагается в приличных еврейских семьях, был обрезан, и сегодня это могло стоить ему жизни.

Молодой портной из Львова, офицер Добровольческой роты

польской армии, Саломон Штраус был тяжело ранен в сентябре тридцать девятого года и прямо с поля боя доставлен в госпиталь для военнопленных. Где-то далеко позади была учёба в еврейской религиозной школе, а после - театральная студия, где он играл казаков и украинских парубков-красавцев. Как он был теперь благодарен режиссёру Ионе Зингеру, который неукоснительно требовал знания всех обрядов и ритуалов, чтобы никакая неточность жестов не испортила роли! Позади было давнее вступление в коммунистическую партию.

Забавно, что именно последнее побудило Саломона Штрауса с первых дней плена думать о перемене личности. Как-то получилось, что о поголовном уничтожении евреев он ещё не знал (точнее - слышал краем уха, но разум отказывался верить), а об отношении к коммунистам - уже знал. Именно это заставило его придумать себе новое имя, вспомнить все казацкие и украинские песни, что когда-то пел со сцены, и конечно - отпустить висячие усы и закурить классический чубук.

Уже давно среди военнопленных были выловлены все евреи: кто объявился сам по приказу выйти из строя, кого выдала внешность, кого - оставшиеся документы, кого - соседи по бараку, кого - баня. Однажды, чтобы не идти в баню со всеми, Саломон Штраус имитировал случайное падение с трёхметровой высоты с мешком зерна в руках. Чудом он тогда не покалечился, но ведь и всё его теперешнее существование было сплошным и зыбким чудом. А комиссия в Ламсдорфе была, похоже, последним из смертельных испытаний. Теперь он числился не только полноценным арийцем, но и улучшателем породы сверхлюдей - за эту роль молодой портной Саломон Штраус вскоре взялся с немалым усердием. Однако же вернёмся к изложению событий по порядку.

Дальнейшая жизнь новоиспеченных арийцев была продумана пунктуально и педантично: прежде всего, им предстояло обрести какую-нибудь рабочую профессию, чтобы достойно и усердно трудиться на благо рейха.

Итак, Тимофей Марко прилежно и успешно обучается ремеслу токаря, избирается старостой общей группы украинцев и белорусов, тоже ставших арийцами, даже порою забывает о своём еврейском происхождении. Но счастлив он не от того, что спасся, и не от успеха у немецких девушек, а от того (сейчас это смешно и странно), что находит среди немцев тайных единомышленников-коммунистов. Не нам, впрочем, иронизировать над высоким повальным заблуждением тех лет. Ибо люди эти жизнь готовы были положить (и клали) за свою приверженность идее.

И Тимофей Марко в один из последних дней февраля сорок первого года снова решился на смертельный риск. В их школу приехал человек для вербовки добровольцев в тайно формируемую украинскую армию.

- Ибо, - доверительно сообщил он старосте украинцев Тимофею Марко, через несколько месяцев Германия нападёт на Советский Союз, план молниеносной кампании уже разработан. И мы, украинцы, - сказал он Тимофею Марко, - мы должны пойти с Адольфом Гитлером против москалей и жидов. Я говорю вам это строго по секрету, ибо вижу вас насквозь и доверяю, как самому себе.

В тот же вечер группа коммунистов единодушно решила, что они обязаны предупредить советское правительство. Рискнуть собой, поехав в Вену в консульство, вызвался Тимофей Марко. Зная, что за этим зданием наверняка следят, и понимая, чем рискует именно он, Саломон Штраус мысленно успокаивал себя в поезде замечательной фразой: "Это необходимо, а значит нечего бояться". Он твердил эту нехитрую мысль, как заклинание, и она поддерживала его.

Советскому консулу он сразу сказал, что он член коммунистической партии Западной Украины, что он еврей, попавший в плен в сентябрьских боях и чудом уцелевший. Консул молча слушал и записывал его слова, а после встал и пригласил в кабинет ещё одного сотрудника, тот тоже принялся записывать услышанное. Когда Саломон Штраус им сказал, что имеет достоверные сведения о скором нападении Германии на Советский Союз, оба они бросили свои авторучки и ошарашенно уставились на него. Саломон Штраус продолжал невозмутимо излагать подробности недавнего разговора и закончил тем, что именно ему предложено формировать отряд в освободительную украинскую армию "СС - Галиция". Ни один из собеседников не улыбнулся необычности ситуации.

Так бывший портной Саломон Штраус оказался одним из первых, кто пытался предупредить Советский Союз о неминуемой и скорой войне. Выйдя из консульства и отойдя на безопасное расстояние, он ощутил такой невероятный прилив счастья от выполнения партийного долга, что ещё много лет помнил это острое чувство.

Дальше было всякое и разное в его причудливой и неспокойной жизни. Отряд сформировали без него, а он закончил школу и был послан в город Винер-Нойштадт, где на авиационных заводах работало несколько тысяч пленных и перемещённых украинцев, белорусов, русских и поляков. Спустя год ариец Тимофеи Марко был уже освобождённым от работы

официальным опекуном всех этих рабочих разных национальностей (а были ещё сербы, хорваты и другие). Он так и назывался - опекун, такая была должность по защите интересов этих свезенных сюда рабов, он мог просить и жаловаться от их имени. Сперва он был выдвинут на эту должность по желанию украинцев, а после потянулись остальные: у Тимофея Марко была репутация человека безупречно отзывчивого и неукротимого заступника. Немецкая администрация не возражала: Тимофей Марко знал несколько языков (немецким, в частности, уже владел свободно), был умён, энергичен, сообразителен, внушал доверие и оправдывал его. Теперь у Тимофея Марко было своё бюро, секретарша и помощники, право ездить по всем странам Третьего Рейха (включая саму Германию) и постоянный пропуск во все лагеря, откуда привозили рабочих. Однажды Тимофей Марко лично давал пояснения маршалу Герингу, когда тот приехал осматривать подопечное ему производство, и стоял, отвечая на вопросы, в густой толпе сопровождавших маршала высоких лиц и офицеров охраны.

Честно сказать, когда я впервые услышал историю Саломона Штрауса, я не поверил, что такое возможно. Выдумщик, подумал я, тоже мне Арон Мюнхгаузен. Среди евреев сочинителей хватает. После я увидел его книгу о приключениях тех лет, и не столько даже фотографии документов, приведенные в книге, сколько некий явственный запах безыскусной подлинности убедил меня, что я наткнулся на чудо, бывшее на самом деле.

Он, по счастью, оказался жив. Сидя в его квартире в Тель-Авиве и неторопливо расспрашивая спокойного худого старика (переводила с польского его жена, скрипачка филармонического оркестра), я перебирал, уже почти не всматриваясь, кипу разных удостоверений и документов, не поместившихся в книге, благодарственные и поздравительные письма тех, кто рядом с ним прошёл сквозь эти годы. А от его лаконичных рассказов жёсткая реальность того времени начинала распадаться и крошиться на ежедневные будничные детали быта и ситуаций, из которых человек этот неизменно выходил победителем, поскольку изначально был готов к самому худшему, но не уставал сопротивляться.

- Я потому и взялся после войны, - сказал мне Саломон Штраус, - за историю польских евреев-партизан, что весь мир знал, как мы безропотно погибали, а как мы воевали и как выстаивали - не знал никто. И вовсе не постыдная у нас история тех лет, ведь женщин и детей не убивали ни у какого народа, а что касается мужчин, то, как у всех людей, у нас героев, трусов и подонков было в той же пропорции.

После войны Саломон Штраус написал книгу "Польские евреи в лесах". Книгу эту запретила цензура, а вёрстка её была конфискована. Впрочем, до той поры мы дойдём чуть позже.

Тимофей Марко, видный и уважаемый работник авиазаводов в городе Винер-Нойштадте, взял однажды недельный отпуск и уехал в город Львов по каким-то личным делам. Поздний вечер следующего дня застал его в далёком пригороде Львова, где находилось еврейское гетто. Он разыскал адрес своей семьи, и смертельная опасность разоблачения не остановила его. В гетто были его братья и сестры, ещё живы были мать с отцом, в их убогом полуразвалившемся домишке было холодно, темно, и густо клубился страх. Он помог им с едой, оставил всё, что было у него с собой, и клятвенно пообещал скоро приехать снова.

Через месяц с небольшим он уже опять был во Львове. В портфеле у него лежало множество подлинных и поддельных документов. У него было разрешение на выезд всей семьи, он собирался их устроить где-нибудь неподалёку от себя и спрятать с помощью друзей, в которых был уверен.

Уже во Львове на вокзале он узнал, что гетто более не существует. В ресторане за соседним столом, неторопливо потягивая пиво, разговаривали местные полицейские: кто из евреев как себя вёл во время расстрела, что делали с молодыми еврейками, пытавшимися убежать или спрятаться, как ещё три дня шевелилась земля над оврагом, куда падали убитые. Произносились знакомые имена, угадывались знакомые люди.

Ночью Тимофей Марко жёг уже ненужные документы и разрешения. Ему очень хотелось заплакать, ему казалось, что тогда спадёт с души невыносимая тупая тяжесть. Заплакать не удавалось.

О подробностях того дня и ночи Саломон Штраус отказался со мной разговаривать. Он просто замолчал, глядя прямо перед собой куда-то в пространство, жена умоляюще посмотрела на меня, и я переменил тему расспросов.

В своё бюро Тимофей Марко вернулся через несколько дней такой же спокойный, улыбчивый, доброжелательный и быстрый в решениях. Под его опекой состояло несколько тысяч рабочих, сутки его были заняты до отказа, а ему ещё многое приходилось делать тайно.

Про то, как группа антифашистов скопировала планы подземного авиазавода в Рорбахе, можно было бы снять незаурядный приключенческий фильм. Жалко, прошла мода на такие фильмы. Только авторитетный даже среди гестаповцев, ежедневно появляющийся в сотне мест чиновник Тимофей Марко мог себе позволить однажды вечером заснуть от непомерной

усталости прямо на стуле в одном из служебных кабинетов и оттого остаться на ночь в здании дирекции заводов. А ключ от сейфа он уже давно носил с собой, ловя удобный случай.

Спустя полгода Тимофей Марко лично отдавал эти планы генералу Родиону Малиновскому, командующему Вторым Украинским фронтом.

Когда в Польше много лет спустя вышла книга Саломона Штрауса о его жизни, то заканчивалась эта книга как раз тем, что советские войска входят в город Винер-Нойштадт. Не было там написано, что планы подземного авиазавода из рук в руки передавал генералу Малиновскому заключённый городской тюрьмы Тимофей Марко, фашистский прихвостень по определению следователя.

Ибо он был арестован, содержался в одиночной камере, и ночные допросы сильно изматывали его. Немецкий сотрудник крупного масштаба, оставшийся, несомненно, в целях шпионажа, он со дня на день ждал расстрела. Следователь не верил людям, приходившим свидетельствовать, что Тимофей Марко помог им выжить - они были донельзя скомпрометированы собственным пленом.

Благодарность Малиновского за планы авиазавода была очень щедрой по возможностям армейского генерала: загадочный арестант был переведен из тюрьмы в местный лагерь. Теперь ему предстояла Сибирь, как и всем прочим рядовым предателям, перебежчикам и пособникам фашистов.

Но появился новый следователь, и допросы продолжались. От Саломона Марко теперь допытывались, кем именно был он послан в марте сорок первого года, когда явился в советское консульство, провокационно предупреждая о тайно готовящемся вторжении.

Голова шла кругом, всё было непонятно и зловеще. Арестант шестым каким-то чувством, обострившимся за эти годы чутьём опасности ощущал, что на сей раз попался и обречён. А вот за что - никак не мог понять. Он так и оставался чистым и наивным коммунистом.

- Знаете, - сказала мне его жена Ева, - у него в детстве Бог был на небе, а с тех пор, как вырос, Бог у него был в Кремле. Вы не поверите, как он поздно спохватился, что всю жизнь прожил в самообмане.

Однако, если разум Саломона Штрауса был слеп, то поступки диктовались ему чутьём, и он решил немедленно бежать. Что и сделал в одну из ночей после допроса. А потеряться в тысячных толпах, кочевавших в это время по Европе, не составляло никакого труда.

Его никто не искал. Он ещё успел вступить в польскую армию. Он закончил юридический факультет университета в Лодзи. Он работал много лет юрисконсультом в Министерстве внутренних дел в Варшаве. Он собрал огромный архив документов о евреях-партизанах. Он написал одиннадцать книг.

А глаза у него открылись - сразу и навсегда - в тот день, когда Гомулка после студенческих волнений в Польше обвинил во всей происходящей смуте евреев и назвал их пятой колонной. Тогда Саломон Штраус, уважаемый и известный к тому времени писатель и общественный деятель, пришёл в свой комитет и молча положил на стол партийный билет. Без объяснений, без надрыва и ажиотажа. Коммунистом он к тому времени был уже сорок два года.

А потом уехал в Израиль. С деловитой и спокойной хваткой опытного нелегала переправив туда весь архив о партизанах-евреях.

И до самого ухода на пенсию (было уже два инсульта) работал в Тель-авивском университете. Прочной ряской забвения подёргивалось прожитое былое. Только книга оставалась памятью о годах, когда Саломон Штраус стоял - и выстоял - один на один с могучей и всеведущей системой сыска и уничтожения именно таких, как он.

Эфраим, праведник-авантюрист

Нигде я не снабжал главы эпиграфом, а тут он бы совсем не помешал. Поскольку про всё то, что далее хочу я рассказать, отменно сказано Экклезиастом: "Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы".

Двадцать второго апреля сорок восьмого года из морского порта в Венеции вышло потрёпанное торговое судно под итальянским флагом. Всю его палубу наглухо занимали штабеля досок, а трюм был доверху набит мешками с картошкой. Это судно под названием "Нора" было уже много лет известно таможенникам чуть не всех портов Средиземного моря. Сейчас оно держало курс на Югославию, но конечным местом рейса в судовых документах обозначена была Палестина. Было часов пять утра, ещё только-только наступил рассвет. Попрощавшись с капитаном, легко сбежал по трапу молодой мужчина и долго смотрел вслед уходящей "Норе". После он бесцельно шлялся по набережным вдоль каналов, а когда началась утренняя служба, тоже вошёл в одну из церквей, поставил свечку и молился в общей толпе.

Я жутко волновался, рассказывал потом Эфраим Ильин, а где в Венеции синагога, я не знал, и я тогда подумал: если Бог всё же есть, то Он есть в любой церкви, и меня услышит отовсюду.

Волноваться было из-за чего: сильно траченная временем "Нора" под мешками с картошкой везла шесть тысяч винтовок, четыреста пятьдесят пулемётов и шесть миллионов патронов. Это оружие решило исход сражения за Иерусалим, и неизвестно, что было бы с Израилем вообще, если бы оно не дошло.

Через двенадцать дней оно дошло. Первой об этом радостно сообщили жене Эфраима, а от неё как раз он более всего скрывал свои опасные занятия, чтобы поберечь её нервы. Именно она ему и позвонила. Вслед за "Норой" пришли ещё три таких же транспорта.

Писать об Эфраиме Ильине мне легко и приятно, потому что я его люблю и всякий раз радуюсь нашей совместной выпивке.

Писать об Эфраиме Ильине мне очень трудно, потому что я живу сейчас в стране, историю которой он делал собственными руками - я таких людей доныне не встречал.

Поэтому начну я по порядку. Он родился в Харькове в двенадцатом году прошлого века (обсуждая с нами, как повеселей отпраздновать свои девяносто, пьёт он водку, и лишь после переходит на вино). Богатая семья и благополучное детство ничуть не предвещали последующую бурную жизнь. Иврит он

учил в школе, которую основал его отец, а меняющиеся в доме учителя преподавали языки - всего Эфраим знает их семь, а понимает - ещё четыре. В двадцать четвёртом году их семья переехала в Палестину, им никто препятствий не чинил. Отец купил апельсиновую плантацию, а юный Эфраим поступил в гимназию "Герцлия". Тут он чуть было не сошёл с намеченного родителями пути, поскольку очень уж хорошо играл на валторне и собрался стать музыкантом, но папаша возник вовремя, и музыка осталась лишь пожизненной любовью.

Только осенью двадцать пятого года случилось нечто, чего никак не мог предусмотреть заботливый отец. И для Эфраима это было полной неожиданностью, а что просто прозвучал голос судьбы, он понял много позже. В один какой-то день ученикам гимназии объявили, что в актовом зале после занятий состоится лекция некоего заезжего болтуна, романтика и фантазёра, посещение отнюдь не обязательно. Такое заведомое отношение к лектору заставило Эфраима с друзьями заглянуть туда из чистого любопытства. В зал вошёл маленького роста щуплый еврей с живыми выразительными чертами некрасивого лица и неказисто одетый. Всё преобразилось с той секунды, когда Жаботинский заговорил. Он говорил для всех, но у Эфраима было впечатление, что обращается этот человек лично к нему. Всё, что смутно бродило в мыслях и ощущениях подростка, Жаботинский выражал словами точными настолько, что Эфраима трясла мелкая дрожь. Впоследствии он о такой же реакции слышал от многих. А одну тогда услышанную фразу он запомнил на всю жизнь: "В огне и крови Иудея пала, в огне и крови Иудея восстанет!". Восторженно хлопали учителя, задававшие лектору каверзные вопросы и получавшие блистательные лаконичные ответы. Ох, недаром сожалел некогда Корней Чуковский, что с отъездом Жаботинского из России она лишается возможного великого писателя!

Сразу после лекции Эфраим с двумя друзьями вышли в сад возле гимназии, написали на тетрадном листке клятву следовать за Жаботинским всю жизнь, скрепили эту клятву кровью, сделав на руке надрез, после чего вложили свой листок в бутылку, которую тут же закопали. Вам это не напоминает, читатель, клятву Герцена и Огарёва на Воробьёвых горах в Москве? Тем тоже было по тринадцать лет.

Вскоре Эфраим становится рядовым подпольной еврейской армии - я не берусь описывать внутренние разногласия в ней, ибо вижу сегодняшнее кипение страстей в любых еврейских дискуссиях, и ёжусь, представляя себе, что творилось тогда. Это описано во многих книгах о самых разных временах, еврейская

идеологическая нетерпимость всюду и всегда кипела одинаково. А Эфраим был ещё настолько молод, что его наверняка кидало из крайности в крайность. Но судьба уже наметила его и сдерживала от любого лишнего шага. Я об этом как-то слышал от него в виде простой и чуть мистической истории. Девятого ава двадцать девятого года он стоял в цепи охраны евреев, молившихся у Стены Плача в память о разрушении Храма. Было поздно и темно. Сверху над Стеной был виден человек в арабском одеянии, молча наблюдавший за евреями внизу. Давай-ка я его сниму, предложил Эфраим, вытаскивая револьвер. Не надо, шум поднимется, остановил его приятель. И Эфраим - это не в характере его - послушался. Они узнали утром по случайности, что наверху всю ночь стоял, свои тяжёлые прожёвывая думы, сам Верховный муфтий мусульманского Иерусалима, злейший враг евреев (тот, который так приветствовал позднее всё, что делал Гитлер). Чуть повернулась бы история с его убийством? Не исключено. Только Эфраиму не назначено было стать исполнителем - тогда же утром выяснилось, что патроны им в ту ночь случайно выдали отсыревшие.

Я так спокойно и уверенно пишу о некой предначертанности этой жизни, потому что знаю и другие мелкие побочности его деяний. Вот ещё один пример. Когда "Нора" уже готовилась к отплытию, на пристань привезли свежеукраденную у англичан радиоаппаратуру. Чтобы "Нора" могла сообщать во время рейса, всё ли в порядке (всюду шныряли английские эсминцы), и чтобы за дни её пути не сошли с ума от волнения те, кто её ждали. А о том, каков он был, накал этого волнения, свидетельствует некий мелкий факт: узнав о прибытии "Норы", Бен-Гурион заплакал, и признались в этой слабости ещё несколько посвященных. Так вот в тот день и час эту маленькую краденую радиостанцию уже собрались грузить, когда на пристани показался итальянский патруль. Кидайте её в воду, холодно распорядился Эфраим. И радиостанцию мгновенно утопили. Если бы её поставили, то "Нора" просто не дошла бы (я напоминаю, что речь шла об оружии, которое спасло Иерусалим) - это выяснилось позже. Оказалось, что морская пограничная охрана быстро навела справки о плывущем судёнышке: его хозяином числился по-прежнему негоциант, владевший "Норой" уже много лет (Эфраим упросил его при покупке не снимать своё имя с судовых документов), и решили судно зря не останавливать (это чревато при необоснованности задержки возмещением убытков). Если бы с этой жалкой торговой посудины был перехвачен хоть один радиосигнал - затея провалилась бы немедленно: "Норе" по её чину просто не полагалось радио.

Однако же вернемся к его молодости. Отец настаивал на продолжении образования, Эфраим уезжает в Бельгию и заканчивает университет в Льеже. Экономика, финансы, бизнес - что весьма скоро это пригодится для великого обилия подпольных операций, Эфраим пока не знает. Он по-прежнему предан Жаботинскому, часто видится с ним (слово "дружба" он из почтения к этому имени не употребил ни разу), а с середины тридцатых начинает заниматься воплощением идей учителя: переселением евреев в Палестину. В Греции приобретались чахлые рыбацкие судёнышки, покупались (и изготовлялись фальшивые) транзитные визы, и под самым носом англичан евреи Польши и Литвы переправлялись через море. Несколько лет жизни отдал Эфраим этому святому делу. Ему обязаны своим приездом около четырнадцати тысяч человек. А что они ещё ушли от верной смерти, все они узнали позже. Высаживали их в Нетании - это был район Эфраима, только один раз по его идее пароходик подошёл прямо к пляжу в Тель-Авиве, и среди бела дня беженцы мгновенно растворились в городе. Тут - мелкая деталь. Эфраим подружился с англичанином - офицером береговой охраны, и тот исправно сообщал ему о ситуации - когда можно и когда нельзя высаживать людей. И я, естественно, спросил:

- Вы ему много платили?

- Никогда и ничего, - ответил мне Эфраим, - мы дружили.

- А он знал, чем вы занимаетесь? - настаивал я.

- Конечно, - подтвердил Эфраим, - только он так к нам хорошо относился, что поверил в праведность наших затей.

Эфраим любит говорить (я слышал сам неоднократно), что не верит в человеческие добрые черты, а верит в мотивы и интересы, которые побуждают человека (и народы) поступать именно так, а не иначе. В этом изрядно циничном (ибо очень достоверном) убеждении есть один только логический прокол, который интересно высветляет личное мировоззрение Эфраима: и дружбу он уверенно считает одним из важных интересов и мотивов человека.

Раскололись взгляды сионистов, и Жаботинский создал новую организацию (Ильин был делегатом на её первом конгрессе), после раскололись мнения руководителей еврейского подполья. Трещина раскола шла по разногласию: считать врагами немцев или англичан. Эфраим понимал, что ничего страшней фашизма быть не может, и поехал поступать на курсы офицеров английской армии. Автомобильная авария надолго уложила его в постель со множеством переломов. Судьба жестоко не спускала с него глаз. А из еврейского подполья он вышел ещё раньше - душа его не вышесла обоюдной яростной вражды вчерашних друзей.

И началась история другая (до поры): Эфраим Ильин занялся бизнесом и вознамерился разбогатеть. И хорошо бы быстро, думал он, опасливо ощущая в себе явное биение авантюрной жилки. Он присматривался к миру торговли и предпринимательства, он листал журналы и газеты, связанные с бизнесом, расспрашивал бесчисленных друзей. В Египте после войны скопились невероятные запасы хлопка, прочитал он однажды. А в Италии, чтобы создать рабочие места, было построено при Муссолини множество текстильных предприятий, ныне задыхающихся без сырья. Это он прочитал уже в другом месте (или от кого-то услыхал). А денег для реализации мгновенно вспыхнувшей идеи - не было достаточно у бизнесмена Ильина (двадцать тысяч у него было - что это за деньги?), но и этой малостью следовало рискнуть. О самой операции Эфраим говорит так снисходительно, что тают в воздухе вопросы о попутных трудностях: я нанял корабли и перевёз хлопок из Египта в Италию. Идея пришла ему в голову в декабре сорок пятого, а в мае сорок шестого у него был миллион фунтов стерлингов (что в долларах, хочу напомнить - много больше).

Уже была семья, двое детей, старший учился в Англии. В ноябре сорок седьмого года Эфраим и его жена поехали навестить сына и отпраздновать его еврейское совершеннолетие. Дни эти совпали с неким торжеством в английском королевском доме, в силу чего на корабле недалеко от Дувра учинён был паспортный контроль. И с удивлением (и не без тайной радости) Эфраим обнаружил, что давно уже внесен в список опасных королевству террористов. В те не забытые благословенные времена подполья Ильина два раза арестовывали, но отпускали за отсутствием прямых улик. Оказывается, это не было забыто и англичанами. Их отвели в каюту, обыскали до белья, разворошили весь багаж и отпустили. Респектабельный и процветающий предприниматель с бурным прошлым - частое и неопасное уже явление. И только в колледж, где учился сын, звонили чуть не каждый день: не взялся ли за разное былое этот симпатичный темпераментный господин?

Нет, не взялся, он отныне будет жить спокойно и благополучно, горько думал Эфраим. Целую неделю он так думал, а двадцать девятого ноября услышал по радио, что принято решение о создании государства Израиль. Ну вот и кончились мои забавы с бизнесом, радостно сказал Эфраим жене, поеду я сегодня же в Париж налаживать старые связи. Одного оружия понадобится сколько, нам никто не даст существовать, это война.

Старые связи искать не пришлось. Эфраиму уже звонили, где он и готов ли. Началась история Израиля.

В тех смертельно опасных играх, которые разворачивались незримо и стремительно, у Эфраима Ильина вскоре появилась репутация разрешителя неразрешимых проблем. И его срочно призывали всюду, где была безвыходная ситуация. Вот например: Чехословакия согласна продавать оружие Израилю (Эфраим: они его продавали и Сирии, но оно, правда, всё равно оказывалось у нас), его удобнее всего отправлять из Югославии, но как с ней сговориться? И бывший бизнесмен Ильин усаживался размышлять о государственных проблемах Югославии. Одна из них была вполне заметна: Югославия хотела возродить свою металлургическую промышленность. Для этого был совершенно ей необходим эксперт-консультант. Такого знали: жил в Америке некий великий инженер, которого если привлечь, то всё бы двинулось и прояснилось - инженер Брассерт был ведущим в мире специалистом. Только и денег таких не было у Югославии, чтобы его пригласить, и сам бы он ни за какие деньги не поехал: запрещён был выезд американцев в коммунистическую Югославию. Эфраим Ильин сумел уговорить инженера Брассерта настолько, что инженер Брассерт, в свою очередь, сумел уговорить кого-то в Госдепартаменте, чтобы ему не просто разрешили ехать, но даже послали в эту поездку. Аргументы были простые, но крайне веские: восстановленная металлургия резко уменьшала зависимость Югославии от длинных рук Москвы. А чуть позднее Эфраим привёз для Тито двенадцать автомобилей. Югославия разрешила пользоваться всеми своими портами, а когда в Чехословакии было куплено пятьдесят самолётов, то не только предоставила аэропорт, но и одолжила ввиду срочности бензин для этих самолётов.

Теперь пора нам обратиться к словарю. Напомнив, что слово авантюра из французского (приключение, похождение), словарь Ожегова определяет это понятие как "беспринципное, рискованное, сомнительное по честности дело, предпринятое в расчёте на случайный успех". Словарь иностранных слов усугубляет: это "дело, предпринимаемое без учёта реальных возможностей и обречённое на провал". Думая об авантюрах Ильина, читать эти наивные слова смешно и приятно.

И однажды денег не хватило. Продавались мессершмиты, надо было срочно внести в банк аванс в два миллиона долларов, а у людей, которые этим занимались, средства иссякли. Эфраим сидел среди них, молча выслушивая несвязные горестные восклицания.

Я вдруг себя почувствовал прозрачным, позже рассказывал Эфраим, ни один из них не обратился ко мне лично, только я сидел и понимал: ведь у меня есть деньги, заработанные так

недавно.

- Я сейчас вернусь, - сказал Эфраим и вышел в холл гостиницы. Оттуда он позвонил жене.

- Фира, - сказал он, - ты ведь знаешь, в каком банке у нас лежит миллион с четвертью долларов.

- И что? - спросила жена.

- Я сейчас их должен все отдать, - медленно сказал Эфраим, то ли оповещая, то ли советуясь.

Жена уже давно была в курсе его дел и сразу поняла, о чём он говорит, если ничего не объясняет.

- Зачем ты мне звонишь? - ответила она. - Ты что, забыл номер нашего счёта?

Купленные самолёты прослужили долго и надёжно.

- Но Эфраим, - некорректно спросил я при случае, - ты ведь всё-таки давал в долг?

- Да уж конечно в долг, - охотно откликнулся бывалый бизнесмен, - а только, если бы мы проиграли нашу войну, то кто бы мне вернул те деньги?

Мне очень нравится в иудаизме странная и смутная легенда о постоянном наличии в мире тридцати шести праведников. Их число неизменно: как только один умирает, тут же рождается другой. Их существование угодно Богу, как-то примиряя Его с загульным и греховным человечеством. И половина их известна людям, а вторая половина - праведники скрытые. Они себя обнаруживают в острые и трудные моменты, делая необходимое добро. Поскольку развивалась эта легенда множество столетий, то и прочитал я как-то, что праведники скрытые до неких пор могут заниматься чем угодно: дровосеками работать, мукомолами и водовозами, ни в ком не вызывая мыслей - кто они на самом деле. А поскольку это были очень давние столетия, никто не написал, что могут они быть и бизнесменами. К тому же в личной жизни склонными ко всем земным удовольствиям.

В одном из шумных застолий (к ним Эфраим расположен до сих пор) забавную туманную историю хвастливо повестнул по случаю давний приятель. Будто бы в войну у итальянской армии были какие-то уникальные моторные лодки. Скорость у них достигала тридцати пяти узлов (что более пятидесяти километров в час), а на борту у них имелся мощный запас взрывчатки. Человек такую лодку разгонял, направив на корабль, и обычно успевал выпрыгнуть до столкновения и взрыва. А порой не успевал. И молодые люди из аристократических семей - буквально дрались за честь исполнить роль такого камикадзе. И потопили эти лодки несколько американских кораблей, а после как-то кончилось, заглохло и исчезло это предприятие. И не

сыскать его теперь, там был какой-то чуть подвинутый изобретатель-инженер, уже давно пропавший в неизвестности.

Спустя неделю Эфраим Ильин разговаривал с изобретателем, стоя возле убогого сарая среди разрушенных временем и недоделанных лодок. Тот был угрюм и жаловался на полное разорение - хоть объявляй банкротство, ибо задушили неотложные долги. Несколько дней Ильин потратил, чтоб уладить все его дела - они и впрямь были в ужасном состоянии. Тут инженер повеселел и с жаром принялся за лодки. Вскоре ими были потоплены два больших египетских корабля. Возникшая легенда о сверхтайном оружии израильтян послужила веским доводом для выхода Египта из войны.

Ужасно хочется ещё раз процитировать словарь на букве "а", где сказано об авантюре. Только я иную лучше расскажу историю - уже о мирном времени. Эфраима Ильина срочно привлекли к решению очередной неразрешимой проблемы, и теперь он вдумчиво читал статьи об экономике коммунистической Румынии. Там было множество евреев, жаждавших уехать в Израиль, но те, кто осмеливался подать заявление, получал немедленный безоговорочный отказ. Следовало как-то сговориться на правительственном уровне, однако же о доступе туда не было ни единой идеи. Явятся к нам сами, надо только разыскать их интерес, - бормотал Эфраим ради собственного ободрения.

Румыния после войны остро нуждалась в восстановлении своих нефтепромыслов, разрушенных бомбами союзников. Но оборудование ей никто не продавал, с ним и без того было трудно в послевоенной Европе, а с коммунистическим государством из чёрного списка связываться и вовсе никто не хотел. Поэтому, когда некая посредническая контора "Катарина" (Ильин организовывал её с азартом и тщанием) объявила, что готова поставить всяческие дефицитные трубы, с Ильиным охотно согласились встретиться какие-то высокие румынские люди. А что плата за это - выезд евреев, их нисколько не смутило. Вообще надо заметить, что Советский Союз был последним, кто понял, что евреями можно и нужно торговать, а коммунисты братских республик это сообразили много ранее.

- Они ещё и деньги заплатили, - сказал Эфраим, - до чего порядочные люди! Их на это, правда, вынудил один итальянский банк, там были у меня приятели, но они почти не уворачивались.

Оборудование закупили в Германии и переправили в Швецию, румыны даже съездили удостовериться, что это чудо совершилось, и сполна выполнили своё устное обещание: в Израиль было выпущено из Румынии сто пятьдесят тысяч евреев.

И здесь весьма немаловажная деталь: в самом начале всей этой затеи посольство Израиля в Румынии получило тайную телеграмму от тогдашнего руководителя израильской разведки.

Он уведомлял, что всё мероприятие Ильин должен делать на свой страх и риск: если случится что-нибудь, Израиль от него откажется. Ибо уж очень велико было количество различных незаконных действий, которые не мог не совершить Ильин, прокручивая эти авантюры. По законам нескольких стран, в которых эти игры проходили, зарабатывал Ильин и его напарники - десятки лет тюрьмы.

Я спрашивал Эфраима уже не раз: а как его воспринимали - нет, не крупные коммерческие или политические люди, а всё то отребье человеческое, с коим он не мог не связываться в разные периоды и в разных затеях. Эфраим от меня отмахивался, но не отрицал, что было много этого отребья. Они меня уважали, коротко отвечал он, я всегда исполнял свои обещания. Но мелочи какие-то просачивались изредка в его историях, и ясно становилось, как непросто жил он в эти годы.

Колеся по Европе во время Войны за Независимость, те несколько людей, с которыми сотрудничал Ильин, попутно не отказывались от покупок или сделок, приносивших доход - на приобретение оружия тратились несметные деньги, и порой их удавалось добывать на месте. В этом помогал время от времени их группе один бывший нацист (единственный, кого в своих рассказах Ильин назвал "грязным типом"), которому даже купили паспорт гражданина Чили - чтобы он мог повсюду ездить. И как-то этот тип предложил купить задёшево в какой-то немецкой деревне партию бриллиантов и картины. Ехать явно выпадало Ильину (о его осведомлённой страсти к живописи я ещё потом расскажу). А в холле гостиницы он встретил своего старинного приятеля, одного из лучших в мире специалиста по бриллиантам, и тот немедля согласился ехать вместе. А в деревне бриллианты запросто к ним принесли в двух шапках, а ещё были скатанные в трубку холсты. Глянув на камни, спутник Эфраима схватился за сердце и упал без сознания. Эфраим на машине скорой помощи довёз его до Брюсселя, он пришёл в себя только через сутки, но лежал в больнице много дольше. Он узнал бельгийскую огранку бриллиантов, ранее принадлежавших знакомым ему евреям - все они сгинули бесследно в газовых камерах. Картины, очевидно, были того же происхождения.

А разных продавцов награбленного еврейского имущества встречал Эфраим и потом - бывали среди них даже евреи, добавил он с омерзением.

Закончилась Война за Независимость, Израиль выстоял,

солдат невидимого фронта Ильин получил награду с исчерпывающе лаконичным названием - "Орден героизма".

- Почему металлурги Югославии не поставят мне памятник? - как-то на выпивке задумчиво и скромно спросил Ильин. - Ведь я на столько лет обеспечил их работой!

- А нефтяники Румынии? - согласился я в ответ.

Принять участие в создании своей страны с нуля Эфраим собирался медленно и основательно: он думал и осматривался вокруг. Тем более, что оставались ещё разные дела, которые держали его в Европе. За что приняться, он пока что не решил. Но он того не знал (а понял это - много позже), что уже давно он был любимцем у судьбы. За то, быть может, что всегда умел услышать её самый тихий голос. Потому и уцелел ведь, потому и жив был, а не валялся где-нибудь в тюрьме или ещё хуже - бездыханный и простреленный насквозь. А случаи - они посыльные судьбы, они её курьеры, надо только обладать талантом их увидеть в той толпе случайностей, что сопровождают жизнь любого человека.

Сосед Эфраима по вагонному купе был американцем, он ехал в Грецию по поручению патрона. Шеф его был некий Кайзер, и поскольку это имя было мне лично до поры неизвестно, то я предположу то же самое и про тебя, читатель, и про Кайзера немного поясню. Это американский миллиардер, владелец судостроительного концерна. В годы мировой войны с его верфей почти ежедневно сходил в воду пароход большого водоизмещения, построены им были тысячи судов, огромный флот. А, кроме того, был у него большой автомобильный завод, и спутник Ильина ехал сейчас в Грецию присмотреть возможности постройки такого же завода там. Наверняка уже читатель догадался, что после недлинного разговора с Эфраимом Ильиным этот посыльный изменил маршрут, и они принялись искать такое место в Израиле. Оставалось две мелочи: убедить самого Кайзера и найти в себе решимость заново рискнуть всеми собственными средствами. Во всех своих былых мероприятиях Эфраим поступал довольно одинаково: советовался с грамотным банкиром, после чего всё делал вопреки. Но тут (уже он прилетел в Америку) решил он испросить благословения у самого Любавического ребе. И ребе сказал ему совершенно неожиданные слова:

- Смотри, - сказал он, - Бог никогда не оставлял тебя, тебе всегда везло, а значит, повезёт и сейчас. Но главное, что даже, если ты прогоришь и разоришься - деньги ведь останутся не где-нибудь, а в Израиле. И Богу это безусловно интересно.

А с Кайзером сумел Эфраим сговориться очень быстро. Человек этот вложил в послевоенный, только-только становящийся на ноги Израиль - сто миллионов долларов. А сам

Ильин туда добавил всё, что имел - играть, так играть.

Затея оправдалась с блеском. Нам сегодня странно даже думать, что в начале пятидесятых годов, полвека назад Израиль поставлял отменные автомобили (джипы) - в добрый десяток разных стран. Доходы от машин составляли чуть не треть доходов от израильского экспорта. Двадцать джипов в день выпускал завод "Кайзер - Ильин".

Куда всё это делось? Тёмная история, и я о ней подробней не расспрашивал. По некоей простой причине - по простой тактичности, ибо Эфраиму об этом явно больно говорить. Все люди, о которых он по ходу разговора вспоминает, удостаиваются замечательно высоких оценок (о соратниках по еврейскому подполью, например: "Сейчас уже матери таких детей не рожают, испортилась машина"), и только о социалистах тех годов он даже говорить не хочет, на лице его - брезгливость и обида за страну. Каким-то образом это его детище было задушено, и вмиг Израиль перестал быть автомобильной державой: один завод Эфраим продал армии (там сейчас делают танки), а второй - неслышно захирел.

Избыть обиду и тоску Ильин отправился в Европу. И судьба, следившая за ним пристально и пристрастно, позаботилась о новой случайности. В небольшой журнальной статье Эфраим прочитал, как несколько состоятельных людей в самом начале двадцатого века скинулись по небольшой сумме и закупили множество полотен у молодых и неизвестных художников. Они договорились десять лет беречь эти полотна, а потом только пустить в продажу. И называлось это предприятие отменно: "Шкура неубитого медведя". А когда минул договорный срок, то оказалось, что стоимость хранимой живописи повысилась в пятьдесят раз.

Спустя несколько дней Ильин разговаривал с директором одного из крупнейших банков Женевы. Для такого рода авантюры нужны были не только деньги, но и понимание живописи, вкус к ней и незаурядное художественное чутьё. Такого эксперта искать было не надо, ибо именно таким был сам Ильин.

Это давно уже случилось с ним - я имею в виду высокую манию коллекционерства. Он даже помнит самое начало: он тогда учился в Бельгии, но часто приезжал в Париж. Они обедали с приятелем в дешёвом ресторане (за пять франков - борщ мясной и хлеб в неограниченном количестве), когда пришли мальчишки с кипой рисунков. Это была давняя в Париже технология: молодые художники выбрасывали свои наброски, хозяйки и хозяева их студий подбирали всё подряд и отдавали уличным ребятам. Доход был мелочен, но был: в тот день, к примеру, некий юный и

безденежный студент купил за тридцать франков (пять, как минимум, обедов) маленький рисунок, где значилась даже подпись художника, ещё явно не приобретшего известности (судя по цене рисунка) - Модильяни.

Знаете, Эфраим, почему-то я всё время вам стесняюсь рассказать, что и у меня пожизненная любовь к живописи началась с Модильяни. В пятьдесят седьмом году - я помню это, как сейчас - я впервые увидел репродукцию Модильяни в магазине "Книги стран народной демократии", в нём единственном, по-моему, такое было в те удивительные времена, и испытал потрясение. Я эту репродукцию прикнопил в доме на стене, и жизнь моя переменилась.

За много лет Ильин собрал изумительную коллекцию живописи. Имя его как эксперта значится во множестве мировых каталогов. Но пока вернёмся к тем дням, когда Эфраим Ильин, уповая на своё художественное чутьё, собирал деньги для художественной авантюры. Я даже если бы решился, то наверняка не смог бы написать что-нибудь внятное о его обаянии, поскольку это качество некий талант, а описать талант словами - просто невозможно. А к этому ещё и ум надо прибавить, и иронию, и полную осведомлённость о предмете разговора, если он затеян - словом, я просто напомню, что его бесчисленные по жизни собеседники его напору неизменно уступали. А тот дух готовности к авантюре, та душевная лёгкость, что и поныне от него исходит - несомненно подкупали и склоняли самых недоверчивых и прожжённых.

В собирании пяти миллионов на приобретение живописи участвовал даже Ватикан. О результате убедительней всего свидетельствует благодарственное письмо папы римского (кажется - Павла Пятого, лень перезванивать Эфраиму по пустякам). Кстати, Эфраим Ильин в течение нескольких лет был советником Ватикана по искусству. Папа римский неоднократно сокрушался, что художники оставили чисто религиозную тему и увлеклись другими сюжетами. Не знаю, что Эфраим говорил в защиту и хвалу художников текущего времени, но если вам, читатель, доведётся, будучи в Ватикане, походить по великолепному музею современной живописи - вспомните, пожалуйста, что основал его тот немолодой израильский еврей, о котором вы сейчас читаете.

Затея удалась блестяще, но гораздо интересней чисто денежного в ней успеха - нечто важное для разговора об Ильине: по ходу этой авантюры он отыскал, помог стать на ноги и обрести весомое имя - нескольким художникам, которые до появления его в их мастерских жили непризнанно и зябко. Достаточно назвать

известнейшее ныне имя художника де Кунинга. На розыски художников, на выставки, шедшие по всему миру, на аукционы и каталоги - без сожаления потратил Эфраим Ильин много лет.

Ещё года три-четыре тому назад Эфраим накрывал стол для гостей сам, несуетливо, но быстро двигаясь по своей квартире. Сейчас это уже трудно для него, и стол обслуживает нанятый помощник. Ужинать или обедать у Эфраима невероятно вкусно, ибо одна из ярких граней его житейского таланта страсть к кулинарии. Думаю, что привела его к кулинарии та же самая острая любовь к жизни, что руководила им во всех поступках и делах. Когда он разговаривает с Сашей Окунем (а художник этот ушиблен на всю голову своими кулинарными идеями), то я, хотя и понимаю все отдельные слова, но чувствую себя то варваром, то дикарём, то просто инвалидом вкусовых сосочков. Чтоб это скрыть, я смотрю на них снисходительно и молча прихлёбываю крепкие напитки. В меню многих ресторанов мира (тех, куда приходят озарённые гурманы) есть блюда с пометкой "а ля мод Ильин" - Эфраим либо автор, либо усовершенствователь их. А если вас, читатель, спросит кто-нибудь при случае, кто именно ввёл в Израиле майонез - отвечайте смело, я ручаюсь.

Эфраим кутил всю жизнь - со вкусом и размахом. На его шумных пированиях и дружеских застольях побывали тысячи людей. А сколько женщин помнили Эфраима до смерти или помнят посейчас - писать я не берусь. Ведь обаяние - на то оно и обаяние. А сам Эфраим полон благодарной памяти к тем женщинам, которых он не называет никогда, да и не помнит, вероятно, все их имена.

Лично для меня любое посещение его дома - радость по ещё одной причине: я бесцеремонно трогаю руками прикладные вещи, сделанные великими мастерами. Эфраим утверждает, что все стулья, на которых мы сидим, столы, на которые мы проливаем за обедом соус, ложки, вилки и ножи, тарелки и светильники - должны изготовлять художники, и наша жизнь тогда освещена будет иначе, и мы сами будем лучше, интереснее и содержательней. Я впервые в жизни трогал в этом доме торшер, изготовленный любимым мною Джакометти, и его же работы женский торс. Нет, я и в музеях часто нагло трогаю украдкой экспонаты, только в частном доме это совершенно иное ощущение. А как фамилия художника, изготовлявшего столовую посуду, я забыл, поскольку, сев за стол, я занимаюсь лучшим в нашей жизни делом - наливаю.

Я осмотрительно и быстро миновал кулинарную область, в которой я полный профан, и с лёгким страхом приступаю к теме, где темнота моя ещё гуще и беспросветней. Ибо моя мама некогда

закончила консерваторию, однако же Создатель по неведомым причинам поступил с моими музыкальными генами, как Ван-Гог однажды - с собственным ухом. А Ильин - заядлый меломан, он слышит, понимает, чувствует и знает музыку. Он и дома у себя уже многие годы устраивает музыкальные вечера, а на концерты, где играют талантливые исполнители, ходит непрерывно и подряд. Не зная ничего об этой великой, для меня закрытой начисто области человеческого духа, я никогда и не расспрашивал его о дружбе с музыкантами, хотя однажды краем уха слышал его усмешливый рассказ о некоем великом артисте, дома у которого на скрипке Страдивари спала кошка. Только тема музыки меня вплотную подвела к одной из самых поразительных сторон его сегодняшнего существования.

Я убеждён, что Эфраим всю свою жизнь делал подарки. Очень разные и очень разным людям. Но сейчас он дарит так активно, что невольно вспоминается имя Гая Мецената - того римлянина, имя которого стало нарицательным. Только Гай Меценат (насколько я осведомлён) помогал жить кружку поэтов (между прочих завывали там свои стишки Вергилий и Гораций), а Эфраим - давний и отъявленный меломан. Поэтому, когда возник полюбившийся ему камерный оркестр "Камерата" (в основном, евреи из России), то Эфраим Ильин запросто смотался на аукцион и купил двум музыкантам отменные старинные скрипки.

- Это я из чисто шкурных интересов, - пояснил Эфраим, - очень уж мучительное дело - слушать, как талантливый артист играет на плохом инструменте.

Я уже страницы две назад легонько спохватился, что употребляю для сегодняшнего Ильина очень уж елейные и сусальные краски, хотя помню, что пишу о человеке с очень непростым характером. Так вот, поссорившись однажды с кем-то из начальства этого оркестра, Эфраим осерчал и эти скрипки отобрал. Мне этот поступок почему-то очень симпатичен.

А в эти дни как раз, когда сижу я и пишу об Ильине свои посильные слова, в Беэр-Шеве при университете состоялось только что открытие удивительного музея. Не зря и не для красного словца Эфраим часто повторял, что человек должен с юности видеть красоту - он вырастет тогда совсем иным. Так вот Эфраим Ильин подарил университету огромную коллекцию живописи и прикладного искусства. Чуточку мне жаль, что я уже не поглажу при случае работы Джакометти - разве только будучи в Беэр-Шеве. Выставлена была при открытии только малая часть экспонатов - для музея строится специальное помещение. Стоимость подарка по оценкам экспертов - несколько миллионов долларов. А уточнять мне эту сумму ни к чему, такие числа для

меня величественная и голая абстракция.

Я убеждён, что четверо правнуков Эфраима, когда они подрастут одобрят щедрость прадеда, такая в них хорошая заложена генетика, что они и без наследства сами встанут на ноги.

Наслаждайтесь этой жизнью ещё много лет, Эфраим, и спасибо за страну, в которой я сейчас живу.

Часть VI. О ВСЯКОМ И РАЗНОМ

Сумерки всего

Сегодня утром я, как всегда, потерял очки, а пока искал их - начисто забыл, зачем они мне срочно понадобились. И тогда я решил главу о старости всё-таки написать, поскольку это хоть и мерзкое, но дьявольски интересное состояние. Я совсем недавно пролетел над ровно половиной земного шара, чтобы выпить на юбилее старого приятеля. А перед этим сел и горестно задумался: что можно утешительного сказать на празднике заката?

- Я объясню это тебе, старина, - говорил я тремя днями позже, - на примере своей собаки Шаха. Я провожу с ним целый день, а вечером мы ходим с ним гулять. Ты не поверишь, но он ещё старше тебя: по человеческому измерению ему далеко за семьдесят. Я даже загадку про нас придумал: старикашка ведёт старикашку положить на дороге какашку. Так вот он, безошибочным животным инстинктом ощущая возраст, резко сузил круг своих притязаний к жизни, за счёт чего резко обострились оставшиеся удовольствия. Он хорошо покакал - счастье, сочную сосиску дали - полное блаженство. Он, правда, полностью охладел ко встречным сукам, но на то ведь мы и люди, старина, чтобы лелеять свои пагубные влечения. Зато как изменились женщины по отношению к нам! Сперва у женщины в глазах мелькает ужас, но потом она благодарит, не скрывая восхищённого удивления. И тогда ты упоённо смотришься в зеркало, и - Боже мой, что ты там видишь! Но об этом тоже грех печалиться. Судьба обтёсывает наш характер, а промахнувшись оставляет на лице зарубки - что с того? Зато о жизни ты уже знаешь столько, что периодически впадаешь в глупую иллюзию, что можешь быть услышан, и даёшь советы молодым. Тебя посылают с разной степенью деликатности, но ты не унываешь и опять готов делиться опытом. Какая это радость - быть всегда готовым чем-нибудь делиться! А сколько в жизни обнаружилось смешного - того как раз, к чему вокруг относятся серьёзно, а вчера ещё всерьёз воспринимал ты сам.

И я поздравил его со вступлением в период мудрости, которой всё до лампочки и по хую, лишь были бы здоровы дети.

Говорил я искренне вполне, однако многое осталось умолчанным, о том я и решился написать.

Всю жизнь мы очень мало знаем о себе, а старость благодетельно окутывает нас ещё более непроницаемой пеленой. Заметил, например, по множеству выступлений: на моих смешных стишках о старости взахлёб хохочут старики, сидящие обычно в первых рядах. Я ожидал обиды, раздражения, упрёков - только не

безоблачного и беспечного смеха. И довольно быстро догадался: каждый потому смеётся, что стишки совсем не о нём, а о его знакомом или соседе. И кокон этих благостных психологических защит окутывает нас тем плотнее, чем опаснее реальность для душевного покоя и равновесия. И бывшим палачам отнюдь не снятся жертвы, они помнят лишь, что время было да жестокое, но справедливое, и жили они в точности, как все что примиряет память с совестью стремительно и прочно. Над памятью о поражениях любых - такой уютный холмик вырастает из последующей любой удачи, что с невольной благодарностью судьбе старик приятно думает: всё к лучшему, пословицы не врут.

У возраста, осеняемого душевным покоем, возникают мысли и слова, которые, возможно, в молодости не явились бы. Помню до сих пор своё немое восхищение, когда моя тёща, поздравляя свою дочь с получением паспорта, задумчиво сказала, отвернув страницу регистрации брака:

- И пусть у тебя на этой странице будет много штампов.

А слова, которые услышал много лет назад поэт Илья Френкель, просто стали бытом в нашей семье по множеству поводов. Война застала Френкеля в Одессе, и он кинулся на почту утром рано сообщить, что жив и выезжает. К окошечку для дачи телеграмм толпилась чудовищная очередь. И вдруг какой-то невзрачного вида мужичок, кого-то отодвинув, а под кем-то проскользнув, стремительно просочился к оконцу и успел дать телеграмму ещё прежде, чем вся очередь возмущённо загудела и зароптала. Он уже исчез, а громогласное негодование всё длилось. И только стоявшая невдалеке от Френкеля ветхая старушка тихо и привычливо произнесла в пространство:

- Каждый думает, что он кто-то, а остальные - никому.

На одной автобусной остановке в Тель-Авиве стоял панк обычнейшего и типичного вида: копна волос, покрашенных в ярко красный цвет, с левого края головы побритый (крашено зелёным), и точно так же - с правой стороны (крашено синим). С панка не сводил глаз некий старик, тоже ожидавший автобуса. Такое бесцеремонное смотрение панку надоело, и он спросил у старика:

- Ну что вы на меня уставились? Вы в молодости что - не совершали никаких необычностей?

- Совершал! - старик откликнулся охотно и мгновенно. - Я в молодости переспал с попугаем и вот сейчас смотрю, не ты ли мой сын?

Но главный старческий порок, и нам его никак не миновать - горячее и бескорыстное давание советов. Как на это реагируют молодые, можно не распространяться, ибо помню я одну московскую историю, которая сполна исчерпывает тему. Около

заглохшей машины возился взмокший от бессилия водитель. То копался он в моторе, то с надеждой пробовал завестись напрасно. Разумеется, вокруг уже стояли несколько советчиков. Из них активным наиболее был старикан, который, кроме всяческих рекомендаций, одновременно и выражал сомнение в успехе. И советовал без устали и громче всех. И наконец, молодой парень-шофёр, аккуратно отерев со лба пот, изысканно сказал ему, не выдержав:

- Папа, идите на хуй!

Эту фразу я бы посоветовал всем старикам держать если не в памяти, то в книжке записной, и изредка туда заглядывать. Поскольку опыт наш житейский, как бы ни был он незауряден - абсолютно ни к чему всем тем, кто нас не спрашивает. Или спрашивает из чистой вежливости, что является пусть бескорыстной, но опасной провокацией с их стороны.

Печалиться по поводу количества прожитых лет довольно глупо ещё и потому (я это где-то прочитал), что если эти годы перевести на любые деньги, то получится смехотворно мало.

Ко мне лично старость заявилась в девяносто восьмом году, двадцатого четвёртого октября в одиннадцать утра в маленькой гостинице в Вильнюсе. Мы накануне выпили изрядно, был большой и получившийся концерт, и я, хотя в похмельном, но отличном настроении проснувшись, подошёл к большому зеркалу. И душа моя уязвлена стала. Боже мой, что я увидел там! Она пришла, подумал я, не зря я так не люблю утреннее время, она знала, когда придти. Я вспомнил одного своего давнего приятеля, который уже раньше меня заглянул таким же образом в зеркало. Только теперь я осознал сполна его прекрасные спокойные слова, которые он произнёс в ответ на приглашение зайти на некое застолье, которое будут снимать для телевидения.

- Наш народ столько пережил, - сказал он мягко, - стоит ли ему ещё и видеть моё лицо?

С годами мы становимся весьма искусны в самоуспокоении, поэтому я вспомнил про артиста одного, с которым после крепкой выпивки вообще произошла чудовищная вещь: он утром не увидел себя в зеркале. Покуда он соображал, что, очевидно, уже умер, его образ медленно вплыл на поверхность зеркала -это по пьянке у него расфокусировались глаза, как объяснили ему сведущие люди.

Она пришла, подумал я, и следует вести себя достойно. А для этого обдумать следовало сразу, что хорошего приносит с собой старость, и за что ей надо быть благодарным. Я ещё очень многое могу, но уже почти ничего не хочу - вот первый несомненный плюс. И человеческое общество уже не может предъявить мне

никаких претензий за то полное наплевательство на злобу дня, которое всегда вменялось мне в вину. И оптимизм, который свойствен даже не душе моей, а в целом - организму, теперь будет толковаться как простительное слабоумие дряхлости. Шутки мои - старческое недержание речи, брезгливое незамечание подонков - нарастающий склероз, а легкомыслие с беспечностью - клинически естественны на пути впадения в детство. А с этими психологическими льготами ещё немало лет можно тянуть до света в конце туннеля. Я успокоился и выпил за её приход большую рюмку. Нет, наслаждение ничуть не изменилось, а старикам вполне простительно то бытовое пьянство, кое осуждают в зрелом возрасте, назначенном для дел и всяческих свершений. А старость между тем уже неслышно просочилась внутрь, и я подумал с острым удовольствием, что нынче на закате непременно следует поспать - я это заслужил и полное имею право. Нет, я спал и раньше (даже в ссылке умудрялся убегать с работы), но раньше было у меня смутное ощущение вины перед Божьей заповедью трудиться, а теперь я чист, как херувим.

Тут мысли мои приняли воспоминательный характер. Время краткого правления Андропова застало меня в Сибири. В те года российские верховные правители менялись часто. Многие полагают, что это следствие того, что были они дряхлыми старцами, но я-то знаю истинную причину той быстрой пересменки. Дело в том, что при объявлении каждого нового вождя моя тёща всякий раз меланхолически замечала: "не отпустит Игоря - сдохнет", а они ведь этого не знали! Я оставался в ссылке, а они -таки дохли. В поисках путей спасения империи от распада Андропов принялся внедрять строжайшую трудовую дисциплину. Было это глупо ещё и потому, что ведь люди преспокойно пили и на работе, но приказ (или указ?) неукоснительно принялись выполнять всякие активисты, которым в свою очередь это позволяло отвлечься от пустого и постылого безделья на рабочем месте. В городах тогда людей отлавливали в дневное время где ни попадя - в банях, парикмахерских, пивных и просто в магазинах. А у нас в посёлке Бородино перед перерывом на обед и перед окончанием рабочего дня у проходных всех предприятий стояла группка комсомолок-активисток, записывая тех, кто вышел за ворота раньше срока. Но они заступали на свой контрольный патриотический пост минут за пятнадцать до законного времени, а я-то убегал за полчаса или за час, такое им и в голову не приходило. Благодаря этому я и дожил до старости, благодарно подумал я. И Черчилля припомнил с пониманием. Черчилль сказал когда-то, что до столь преклонных лет дожил, потому что никогда не стоял, если можно было сидеть, и никогда

не сидел, если можно было лежать.

Я выпил ещё рюмку - больше в бутылке не было, пора было идти в магазин - и снова глянул в зеркало. Черты мои слегка разгладились - старость окончательно и навсегда ушла вовнутрь меня, оставив на лице пометы и следы. Они отнюдь не красили меня. Ну что ж, подумал я, на склоне лет у каждого лицо, которое он заслужил. Теперь мне с этим жить, и надо подготовиться по возвращении домой немедленно решил я прочитать знаменитое сочинение Цицерона "О старости". Оно давно было припасено, но ждало неминуемого часа - он настал.

Вернувшись, я решение осуществил. О Боже, как я был разочарован! Цицерон писал о старости деятельной, активной, умудрённой и всеми уважаемой - мне это явно не светило. Кое-какие выписки я всё же сделал. Цицерон (ему в то время было чуть за шестьдесят) говорил от имени Марка Катона Старшего - так было красивше и убедительней, ибо Катону было в это время уже восемьдесят четыре. Это эссе (как мы назвали бы его сегодня), написанное почти две тысячи лет назад, содержало те же боязливые вопросы, что и ныне задаём мы себе, ощутив близость сумерек. Некий длинный пассаж я процитирую поэтому немедленно:

"... Всякий раз, когда я обнимаю умом причины, по которым старость может показаться жалкой, то нахожу их четыре: первая - в том, что она будто бы препятствует деятельности; вторая - в том, что она будто бы ослабляет тело; третья - в том, что она будто бы лишает нас всех наслаждений; четвёртая - в том, что она будто бы приближает нас к смерти" .

Всё перечисленное было справедливо, а хитроумное ораторское "будто бы" так явно обещало опровержение перечисленного, что я было понадеялся на утешение. Увы! На память Цицерону то и дело приходят всякие выдающиеся старцы, отчего он пишет, что великие дела вершатся - "мудростью, авторитетом, решениями, и старость обыкновенно не только не лишается этой способности, но даже укрепляется в ней". И что из этого? Спросите у любого старика, и он ответит вам: он таки да и мудростью наполнен до ушей, и не утратил даже вроде бы авторитет (не надо только спрашивать - у кого, а то старик насупится и замолчит), а что касаемо решений - у него их есть на все случаи жизни. Но его никто не спрашивает, вот ведь в чём беда! Наглая самонадеянная молодёжь (а им уже под пятьдесят обычно) только снисходительно посмеивается, вежливо выслушивая мудрые советы. А между тем - читали б они лучше Цицерона: "Величайшие государства рушились по вине людей молодых и охранялись и восстанавливались усилиями стариков".

Однако же тут как не вспомнить Пушкина - "а Цицерона не читал"! А я, старый дурак, засел его читать и то и дело вздрагиваю грустно от его наивных утверждений: "Молодые люди ценят наставления стариков, ведущие их к упражнениям в доблести". Как же, как же, думаю я про себя, смеши меня и дальше.

Обсуждая справедливую донельзя мысль, что старость "будто бы ослабляет тело", великий Цицерон уже открыто переходит к словоблудию и подтасовкам. Старость не обладает силами? - спрашивает он, и отвечает как бы утешительно: "От старости сил и не требуется. Поэтому законы и установления освобождают наш возраст от непосильных для него обязанностей". Далее он пишет, что слабосилие - недостаток, вообще свойственный людям со слабым здоровьем, эдакое может с человеком приключиться даже и в совсем нестарые годы. "Что же, в таком случае, удивительного в том, что старики иногда слабосильны, если этого не могут избежать даже молодые люди?" Тоже мне утешение! Удивительного в этом нет и в самом деле ничего, но много печального. Тут я невольно вспомнил мудрого Зиновия Ефимовича Гердта, который на склоне лет мечтал, чтоб наконец изобрели лекарство под простым названием - "отнетусил". И снисходительно вернулся к Цицерону. В этом месте наш оратор ввиду полного отсутствия утешительных аргументов опустился до медицинских рецептов, которые за две тысячи лет ничуть не изменились: надо, дескать, "следить за своим здоровьем, прибегать к умеренным упражнениям, есть и пить столько, сколько нужно для восстановления сил, а не для их угнетения". Спасибо за совет, подумал я, мне это бабушка и в молодости говорила.

На пункте третьем Цицерон впадает в ханжество, вполне простительное для людей преклонных лет. Тут речь пошла о том, что старость нас лишает плотских наслаждений. Что, вы думаете, пишет Цицерон? Стараясь, очевидно, заглушить свою по этому поводу печаль, он восклицает: "О, превосходный дар этого возраста, раз он уносит у нас именно то, что в молодости наиболее порочно!" Ибо, утверждает он (прошу заметить, как он от бессильной горечи становится похож на советских моралистов), всяческие пагубные страсти, кои нас обуревают, требуют утоления - "отсюда случаи измены отечеству, отсюда случаи ниспровержения государственного строя, отсюда тайные сношения с врагами". А значит - "мы должны быть глубоко благодарны старости за то, что она избавляет нас от неподобающих желаний". Зато поэтому старость и не знает (опрометчиво пишет Цицерон) "опьянения, несварения и

бессонницы".

Ох, как она это знает! - злобно подумал я. А что до пагубных страстей любого вида, то природой или Богом тут ужасная сотворена подлянка и ловушка: страсти вянут медленно и неохотно, и ещё терзают нас, когда на утоление уже нет сил - ни душевных, ни физических.

С четвёртым пунктом этого эссе я ощутил хотя и вынужденное, но согласие. Настолько ничего не знаем мы о смерти, что ничуть суждения древних не отличаются от наших нынешних убогих упований.

Цицерон пишет красиво и категорично: "О, сколь жалок старик, если он за всю свою столь долгую жизнь не понял, что смерть надо презирать! Смерть либо надо полностью презирать, если она погашает дух, либо её надо даже желать, если она ведёт туда, где он станет вечен...Чего же бояться мне, если после смерти я либо не буду несчастен, либо даже буду счастлив?"

Дальше Цицерон сообщает, что его лично душа "всегда направляла свой взор в будущее, словно намеревалась жить тогда, когда уже уйдёт из жизни". Поэтому же, пишет он, все мудрейшие люди умирают в полном спокойствии - их души как бы проницательно чувствуют, что отправляются в некий лучший мир. И далее наткнулся я на благородную, достойную великого римлянина фразу: "Если я здесь заблуждаюсь, веря в бессмертие человеческой души, то заблуждаюсь я охотно, и не хочу, чтобы меня лишали этого заблуждения, услаждающего меня, пока я жив".

Я благодарно и разочарованно простился с Цицероном. И почти немедленно наткнулся на лукавый чей-то афоризм, что старость - штука неприятная, но это единственный способ жить долго. Говорить излишне, как унизительно старение пакостным обилием телесных недугов - словно тело начинает мстить за многолетнюю беспечность, а то и полное пренебрежение к нему. Мы все покорно платим этот возрастной налог - отсюда, может быть, и любопытство стариков к болезням сверстников: мы словно проверяем наше равенство перед безжалостной природой.

И всё-таки необходимо помнить, что уже есть радости, в которых, безусловно, мы должны себе отказывать. Я говорю о несомненном удовольствии со вкусом и подробно излагать, где именно, когда и как у тебя что-то болит, свербит, шпыняет, ноет или дёргает. Или какая именно физиологическая нужда вдруг остро прихватила тебя в самом неудобном месте и в неподходящее время. Не забывать о чувствах собеседника - завет целебный для растущего склероза.

Однако же, заговорив о неминуемых недугах, я с надеждой

вспомнил дивную давнишнюю мысль, что все болезни - от нервов. Сегодняшняя медицина подтверждает эту старинную мудрость. К болезням чисто телесным, говорит наука, нас ведут все неприятные переживания: горе, тоска, страх, тревога, ненависть, обида, гнев, подавленность, печаль, отчаяние, утрата надежд, чувство вины, унижение, озлобленность, тягостная зависимость... Легко продолжить этот список, но пора сказать о следствии: что-то расстраивается в слаженном биохимическом оркестре организма, открывая дорогу самым разным заболеваниям. Знаменитый физиолог Ганс Селье, который много этим занимался, вынужден был написать туманно и поэтически, что происходит иссякание некой жизненной энергии (о, как это знает каждый пожилой!), но что это такое, объяснить Селье не смог. И честно развёл руками. Два других известных исследователя опросили множество пациентов об их настроении и переживаниях накануне болезни (сердечной, желудочной, гипертонии, многих других), и отыскали общее во всех услышанных историях. Это странное общее проявилось в некоем душевном состоянии, выражающем отказ от жизненной борьбы, сдаче на милость судьбы, полной утрате всех надежд, азарта, куража и желаний. "Опустились руки, ничего не хочется, будь что будет" - вот их настроение после перечисленных переживаний, накануне болезни.

Доктор Ротенберг (Москву сменивший на Израиль) совместно с физиологом Аршавским выдвинули интересную гипотезу. Они предположили, что у живого организма есть некое особое свойство (они назвали его поисковой активностью), понукающее этот живой организм избегать пассивности и покорства, непрерывно и настойчиво искать - выхода, перемен, новизны. Так замечательно устроены мы Творцом, что, если нету в нашей жизни игры, целей, устремлений, надежд, азарта, перспектив и динамики, словно скисает биохимия нашего организма, в результате приводя к депрессии, упадку и болезням. Мы запрограммированы двигаться, стремиться и искать, а душевное и телесное здоровье - награда за исполнение программы. Пассивная отдача течению гибельна для живого организма. Даже, если нету вредоносных внешних обстоятельств - болезни покарают за пассивность изнутри.

И, хотя это относится ко всем возрастам, на склоне лет это особенно существенно. Поэтому полезно всё, во что играют старички, целебны все их интересы и азарты. А благостный и дремлющий покой - опаснее любого увлечения и даже пьянства. Нет, упаси Бог, я никому не даю медицинские советы, я просто вслух, научно и старательно планирую своё закатное

существование. Ибо на склоне лет блаженны те, в ком азарт участия в жизни плавно меняется на интерес к ее течению.

Мне только жалко стариков, которые упрямо хорохорятся и петушатся, забывая о неминуемой возрастной исчерпанности. С этим очень трудно примириться. Если высохла в голове твор ческая чернильница, а ты ещё по привычке макаешь туда перо, то ничего уже кроме боли не чувствуешь. Ну, попадётся иногда дохлая муха или пепел от давно сгоревшей сигареты. Разумеется, большое нужно мужество души (и ум), чтоб вовремя осознать свои реальные возможности и осмотреться в остающемся пространстве.

И тут я сел прикинуть, что за карты оставляет нам природа для этой новой игры.

Чревоугодие - почти что полностью, по счастью. Лишь теперь я с новой силой осознал, как было глупо и безжалостно записывать его когда-то в смертные грехи, лишая старость её последнего утешения и развлечения! Недаром было сказано давно уже (а мной - украдено и зарифмовано), что желудок - это орган наслаждения, который изменяет нам последним. Недавно ещё где-то прочитал, что некий российский жулик лечит "грех гортанобесия" так было названо стремление удержать во рту вкусную пищу, дабы продлить от неё удовольствие. Кроме чисто анатомического невежества (гортань ведь место дыхательное и голосовое), каким же надо быть ханжой-садистом-человеконенавистником, чтоб это в нас искоренять! Короче, слава Богу, давшему нам эту страсть пожизненно!

Некто, оставшийся неизвестным мне (забыл выписать его имя), заметил утешительно и туманно: "Вечер жизни приносит с собой свою лампу". Я закурил и сел сообразить: а что ж это за лампа? Думаю, что догадался верно: речь идёт о неком ночничке, дающем сумеречный свет невозмутимого спокойствия. Так один мой пожилой дальний родственник сказал в ответ на паническое сообщение, что меня арестовали:

- Что страшного? Посидит и выйдет. Лишь бы не было войны. Столь же замечательно сказала старенькая Рина Зелёная (собираясь ехать в Питер) Зиновию Гердту:

- Зямочка, я отвезу твоё письмо, конечно, только ничего, что этот человек уже три месяца, как умер?

В старости такое благостное спокойствие, затмевающее пагубную остроту любых эмоций, к нам заявляется само, а как мучились древние стоики, чтоб воспитать его в себе заранее!

Спасая душу от уныния (вот уж действительно, опасный для здоровья грех), мой разум извергал идеи, как вулкан. Даже потери становились благом под натиском несокрушимой логики.

Поскольку ясно, что единственный смысл жизни - в самом факте зрячего существования, то старость - наиболее осмысленный период бытия, ибо она чиста от ослепляющего вожделения.

Злословие нам оставалось безусловно. Любопытство к миру - тоже. Более того, жить будет явно интересно от иллюзии, что всё уже понимаешь. Плохая память - лучшее лекарство от уколов совести и едкого стыда за изобилие сделанных глупостей. Книг остаётся много более, чем можно прочитать. А сколько в воздухе витает мыслей, до поры мне не пришедших в голову! Я стал приободряться. Некий неотвязный вопрос теперь висел передо мной - о тех границах, кои следует себе заранее поставить. И я вспомнил, что уже наткнулся некогда на размышления об этом Джонатана Свифта. И даже смог их отыскать. И, сократив по личной мелкой мерке, выписал себе в тетрадь:

"Когда я состарюсь, то обязуюсь:

Не водить дружбу с молодёжью, не заручившись предварительно её желанием.

Не быть сварливым, угрюмым или подозрительным.

Не критиковать современные нравы, обычаи, а также политиков, войны и т. д.

Не рассказывать одну и ту же историю по многу раз одним и тем же людям.

Не скупиться.

Не навязывать своё мнение, давать советы лишь тем, кто в них заинтересован.

Не болтать помногу, в том числе и с самим собой.

Не хвастаться былой красотой, силой, успехом у женщин и т. д.

Не прислушиваться к лести...

Не быть самоуверенным или самодовольным.

Не браться за выполнение всех этих обетов из страха, что выполнить их не удастся".

Строка последняя понравилась мне более всего. А пункты остальные перебрал я тщательно и вдумчиво. Я почти по всем оказывался безупречным стариком. Мне так нетрудно это доказать, что даже неудобно несколько, однако надо.

Никак я не могу и не хочу водить дружбу с молодёжью. Ибо эти распущенные донельзя юнцы, и знать не знавшие тех бедствий, что пришлись на нашу долю, эти наглые, упрямые, избалованные и сумасбродные мальчишки и девчонки, аж по самый зад залезшие в свои компьютеры, - как они могут быть мне друзьями? С их безумными дискотеками и самоуверенной слепотой во всём, что в жизни важно и существенно. А эта спесь?

Они ж меня в упор не видят! А когда случайно замечают, то один-единственный вопрос они имеют - как здоровье? Я столько мог бы рассказать им и предостеречь от множества ошибок, только им это не нужно, им охота ударяться лбом самостоятельно. И ради Бога! А когда ударятся, я тоже их спрошу при встрече -как здоровье? Тут они однажды моего хорошего знакомого - он лет на двадцать меня старше вдруг спросили, не жил ли он при крепостном праве. Тоже мне вопрос! Не знаю, правда, что он им ответил, потому что неудобно спрашивать, а лично я уже не помню, жил он или нет. Какая же тут дружба?

Что касается второго пункта, то я вовсе не сварлив и не угрюм. Но если что не так, я что - не должен это замечать? А если я заметил, то молчать? Я ж не предмет домашней мебели, я член семьи. И замечания я делаю приветливо и весело, угрюм я не был никогда, хоть радоваться и смеяться - просто нечему при нынешнем упадке всего, что может упадать. И я ничуть не подозрителен к тому же, это живая осмотрительность бывалого и тёртого ума. Все просто забывают, как часто я оказывался прав. А молодежи - лишь бы клюнуть червячка, об удочке с крючком им думать недосуг и неохота. Я же лично их ни в чём не подозреваю - кроме легкомыслия и слепоты, конечно. А от кишенья мыслей на лицо всегда ложится тень. Однако думать я обязан.

Что там третье? Я не критикую современных нравов и обычаев. Они чудовищны настолько, что я их тихо презираю. То же самое относится к политикам. Уму непостижимо, как народ наш выбрал себе этих тёмных и своекорыстных болтунов. Критиковать их - трата времени и сил. Их надо гнать грязной метлой. И я всегда могу обосновать своё к ним отношение. Не критиковать, а высказать, что я думаю о них. На это я имею право? И не моя беда, а ихняя, что в голову приходят только бранные слова.

Теперь насчёт рассказывания одной и той же истории по многу раз одним и тем же людям. Конечно, это и назойливо, и глупо, и утомительно. А если эти люди сами просят? А если всплыли в памяти нюансы и детали, в дивном новом свете представляющие то, что было? А если так сейчас эта история созвучна теме разговора, что звучит как притча? И всегда в компании к тому же есть хоть один человек, который раньше этого не слышал. Значит, он не должен это знать лишь потому, что он отсутствовал все предыдущие разы? Где справедливость?

А скупым я не был никогда. Я бережливым был, и расточительность пустая мне всегда была душевно неприятна. Вот у вас в кармане завалялась, например, некрупная монета - вы разве её выбрасываете? Нет. А почему тогда не гасите вы свет в

уборной, если вы уже ушли оттуда? Вообще бросать на ветер деньги мне не нравится, а молодые этим заняты с утра до вечера. А когда выбросили всё - к кому они приходят? То-то же.

Не навязывать своё мнение и давать советы только тем, кто в них заинтересован, - мой девиз и принцип с давних лет. Я своё мнение не всовываю никому насильно, я его только высказываю, ибо прям и честен. А если кто-то возражает мне, то я не вправе (ибо прям и честен) утаить от собеседника, что всё, им говоримое, - собачья чушь. И пусть он на здоровье после этого продолжает думать так же. И к советам это относимо в полной мере. Вот я вижу, как слепой человек спокойно идёт к пропасти - финансовой, моральной, юридической - любой. Заинтересован ли он в моём совете? Безусловно, только он не знает этого. И что, я должен промолчать? А кто ж ему тогда глаза откроет? И что я буду после думать о себе промолчавшем? А совет ради совета, чтобы просто навязать кому-то свою волю - упаси Господь! Разве только в случае, когда нечто важное именно мне доподлинно известно. А ему, бедняге, неизвестно, что я жизненно могу ему помочь.

А насчёт того, чтоб не болтать помногу - это вообще не для меня. Я раскрываю рот только по делу, и на говорение само я трачу ровно столько времени, сколько потребно для донесения мысли. Да, иногда путь донесения её - весьма окружный, но зато она полнее постигается. И то же самое касается болтания с самим собой - мы так устроены природой, что по мере говорения рождаются новые мысли, а мудрец Декарт ещё когда заметил справедливо, что я мыслю - следовательно, существую. И вряд ли следует на старости лет искусственно лишать себя этого благотворного ощущения.

Я, кстати, в перечне, что выше мной приведен, решил сначала упустить обязательство не прислушиваться к глупым сплетням, болтовне прислуги и так далее. Но тут подумал: а к чему же, как не к этому прислушиваться? Ибо сплетня (глупая она или не глупая - решает время) - это кусочек бытового мифа, миф - это элемент картины мира, как же можно жить на свете, ничего о современности не зная? Тут у Свифта просто нелады с мышлением какие-то.

Это действительно смешно и глупо - хвастаться на склоне лет былой силой, красотой, успехом у женщин и прочими радостями былого счастья. Хвастаться вообще зазорно и неприлично. Но в прошлом было многое настолько хорошо и даже ослепительно порой, что замолчать такое - грех неблагодарности Фортуне. И нисколько этим хвастаться не надо, надо просто рассказать, поскольку всё, что интересно и приятно, собеседник (если он заслуживает этого) узнает с радостью и пользой для души. У кого-

то прочитал я дивную идею, что чем люди старше, тем они, оказывается, лучше были, когда были моложе. Я копаюсь в памяти и нахожу, что это правда. Как же мне не рассказать о новых находках?

Не внимать коварной лести следует не только в старости, и я с этим вполне согласен. Только как отличить заведомую и неправедную лесть от похвалы, заслуженной и справедливой? Одним и безупречным способом: хвала незримо и неслышно совпадает с тем, что думаешь о себе ты сам, и пустую лесть поэтому мы распознаем сразу и легко. Не надо заведомо плохо относиться к лести (в этом была бы истинно пагубная подозрительность), а стоит в ней расслышать воздаяние твоим достоинствам, которые и в самом деле есть. К тому же льстящий собеседник может быть и проницательней тебя (а почему бы нет?), и хвалит нечто, что ты сам в себе не в силах в полной мере оценить. Разумная хвала необходима человеку, как дыхание, а просто лесть конечно, пошлая забава. Но на то и опыт жизни, чтобы мы умели безошибочно их различить.

А самоуверенность с самодовольством - безусловно пакостные и опасные черты, но только в молодом и зрелом возрасте. А в старости они необходимы, ибо кошмарно трудно без них жить. Выказывать, конечно, их не следует, однако именно они - те последние корни, что ещё поят скудным соком старческое прозябание. И жалко тех, в ком эти корни усыхают. Лично я в себе их прячу, но благословляю и лелею. Тут, по-моему, ошибся или недодумал Свифт.

Всё это рассмотрев и обсудив, я безмятежно окунулся в свою светлую и непогрешимую старость. И, ни минуты не кручинясь, признаю, что это омерзительный сезон. А если кто-то думает иначе, пусть он позвонит, и я легко могу его разубедить.

Ах, люди, люди...

Всегда ли люди сами слышат, что они говорят? По-моему, далеко не всегда. В одном немецком городе ко мне после концерта подошёл очень пожилой мужчина и молча протянул папку со стишками. Я её покорно и привычно взял и начал всовывать в сумку, когда старик мне требовательно и категорически сказал, что он уже весьма немолод и поэтому настаивает, чтобы я его стихи прочёл немедленно при нём. Я водрузил очки и наскоро пробежал глазами его творения. Опять чистейший мне попался графоман, но с чувством юмора, и я был рад ему сказать, что его стишки (четверостишия, конечно, он поэтому и выбрал меня в жертву) могут пригодиться в дружеском застолье, но тратить деньги на их напечатание я ему просто не советую. Старик обиделся и помрачнел.

- А между прочим, - гордо и заносчиво сказал он мне, - я кандидат наук и был заведующим сектором в большом научно-исследовательском институте!

- Что же вы уехали от такой хорошей работы? - с чисто машинальной вежливостью спросил я.

Старик приосанился и важно пояснил:

- Я уехал от антисемитизма!

- В чём он выразился лично к вам? - спросил я (завсектором всё-таки).

Старик мне с пылом объяснил:

- Смотрите-ка, они мне в шестьдесят пятом году объявили строгий выговор. Я им в семьдесят четвёртом году говорю: отмените выговор, товарищи, уже прошло ведь столько лет. А они мне отвечают: нет, уважаемый, ещё рано отменять ваш выговор. Тогда я на них плюнул и в девяносто первом году уехал.

Я сумел не рассмеяться, но так выразительно задёргал ногами, что старик великодушно отпустил меня в сортир. И там немедленно я записал услышанное.

Когда же начал я таскать в кармане записную книжку для таких удач? Первую - в семнадцать лет, по-моему. Я был тогда прыщав, застенчив до наглости и одомашнен, как таракан. Всё время я читал, и всё прочитанное безо всякого разбора западало в душу. Не было в те годы никакого у меня отборочного вкуса, а по правде говоря, его и посейчас у меня нету. Помирал же я, буквально от восторга помирал - читая стихи Есенина. Поэтому я приобрёл себе блокнот и на первой же странице крупно написал: "Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок". Потом он долго у меня валялся в ящике стола, я натыкался на него и снова

клал туда же. Так что первая записная книжка появилась много позже. Всё услышанное, что казалось мне достойным сохранения, я ревностно туда писал. Но вот беда: я не учился в первом классе и чистописание не проходил. Неясно почему, но мама отдала меня в школу сразу во второй класс. Я помню, мне устроили экзамен, я был должен под диктовку написать несколько фраз. А я забыл, как пишется заглавная буква "д", и горько заплакал. Во второй класс меня всё же приняли, но пробел в образовании сказался впоследствии на всей моей жизни: у меня чудовищный почерк, а на закате неудержимо хочется выпить. Да, так вот о почерке - я много записывал, но почти никогда не мог понять, что именно занёс я на карманные скрижали. Отчего периодически отчаивался и бросал попытки зафиксировать прекрасные мгновения.

А начавши писать рассказы и стихи, уже таскал я всюду записную книжку, многое заимствуя из устного застольного творчества. О почерке своём всё время помня, тщательно выписывал я какое-нибудь ключевое слово в услышанном, так что одну-две записи из десяти мог разобрать наутро. А бывало и такое, что врезалось в память навсегда. В начале шестидесятых я услышал, например, гениальное двустишие мне неизвестной восьмилетней девочки - его я помню посейчас:

> У верблюда два горба,
> потому что жизнь - борьба.

А за столом тогда было записывать не просто неудобно, а скорей даже опасно для репутации - никто из самых забубённых собутыльников не жаждал, чтоб фиксировались его устные речения. Поэтому повадился я бегать как бы по нужде, и там коряво, но записывал. При обыске и аресте забрали у меня большую гору записных книжек - я о них жалею до сих пор. Никто в них ничего не прочитает, ведь менты не знали, что я не учился в первом классе. А недавно мне попался коллективный сборник фантастических рассказов, был там и мой, одну историю я из него прочёл как заново, уже не помня напрочь, где услышал. Ясно только, что её мне излагал завзятый алкоголик.

По России ходит, всюду пребывая одновременно, некий невидимый тип, которого зовут Аркадий Иванович. Он появляется везде, где люди выпивают. Аккуратно и разборчиво он пишет в записную книжку, кто и сколько выпил. Это ему нужно потому, что утром он (опять-таки незримо, ибо изнутри) приходит к каждому и требует свою долю от вчерашнего. Общается он непосредственно с душой любого выпивохи, понукая утром

выпить эту долю. Ибо достаётся она внутреннему Аркадию Ивановичу, а должник испытывает облегчение и даже некое блаженство: исчезает полностью плохое самочувствие от выпитого накануне лишка. Этот высокий миф облагородил, без сомнения, нашу потребность опохмелиться после вчерашнего.

И ещё одна там есть забавная история. Один матёрый журналист спросил у своего такого же коллеги, не читал ли тот его вчерашнюю статью. На что коллега, оскорбившись, заявил:

- Вы хулиган, я Льва Толстого не читал!

В те годы я подряд и безо всякого стыда вставлял услышанное мной во всё, что я писал. Я и сейчас так делаю, хотя порой бывает стыдно. Я тогда борюсь с собой и непременно побеждаю. Ведь, как давным-давно уже сказал философ Эпиктет в беседе с Гераклитом: люди с совестью и люди без неё - все поступают одинаково, только люди с совестью вдобавок мучаются от содеянного. Но пишущий да обрящет, как говорил Нерон, отравляя писателей.

Рассказов я тогда штук десять написал. И жалко, что я некогда их утопил в помойном ведре вместе со всей любовной лирикой и письмами ответами из журнальных редакций, где советовали мне работать над собой и читать побольше классиков.

А я читал их и читаю посейчас. Настолько вдумчиво, что, ежели мне надо, с лёгкостью цитирую при случае по памяти. И никогда потом цитату в тексте не ищу, чтобы проверить, потому что знаю точно: её там нет. Однако же по звуку и по содержанию она вполне могла там быть, поэтому я привожу её, не сомневаясь и не мучаясь раскаяньем. Когда-то у меня приятель был, заметный публицист из самиздата. Он по пьянке мне признался грустно, что давно уже ничего не читает - просто не в состоянии прочесть больше страницы любого текста - тут же его тяиет возражать и дискутировать.

Я же лично - я не только письменные, я и устные почитаю очень тексты, потому что человеческая наша дивная натура сплошь и рядом в них просвечивает ярко и мгновенно. Мне недавно позвонила родственница (я её не видел отродясь и, даст Бог, не увижу), чтобы похвалить меня за помощь одной другой родственнице:

- Вы абсолютно правы, - с жаром сказала она, - и мой пожизненный девиз такой же: отдавать и отдавать! Вот у меня в Америке есть брат, так он мне постоянно помогает.

Как-то в одном американском городе у меня был домашний концерт. Публики собралось много, но была она какая-то вся снулая, надменно вялая, и моя приятельница (привезшая меня туда) очень за меня страдала. Но в антракте вдруг увидела она

тесно сгрудившуюся кучку женщин и услышала слова:

- Это потрясающе! Он просто потрясающий! Он - феномен!

Приятно удавившись и обрадовавшись, моя приятельница подошла поближе. Речь держала яркая блондинка очень средней моложавости и выговаривала с пафосом последние слова:

- Он гений! И я только у него делаю по пятницам причёску!

Люди постоянно и великодушно подкидывают щепки в костёр моего восхищённого изумления перед великим разнообразием наших душевных проявлений. Как-то после выступления в Москве ко мне вальяжно и величественно подошла очень корпулентная женщина и, сладко улыбаясь, протянула мне столь же пухлую книгу.

- Я жена поэта Ерухимовича, - с ласковой интимностью сказала она, - он так любит ваше творчество, он даже вам немного подражает. Это его книга, напишите ему здесь какие-нибудь тёплые слова.

Я наугад раскрыл книжку и тихо ахнул.

- Это не подражания, - сказал я сдержанно, - это просто мои четверостишия.

- Вот видите, - нежно ответила жена поэта Ерухимовича, - он так любит ваши стихи, что они ему как свои. Напишите ему тёплые слова!

Я бы ему лучше вслух сказал, подумал я, но взял себя в руки и с елейной вежливостью отказался.

Мог ли я не записать такое? А дивные и грустные слова той пожилой женщины, что как-то в Ашкелоне специально пришла за сцену, чтобы рассказать, как она скучает по родному городу Виннице? И по еде, которую она там ела. А разве здешняя хуже? - спросил я. И женщина сказала, оживившись:

- Что вы! Все молочные продукты там у нас намного и вкуснее, и нежней! И намного дешевле!

После чего запнулась и добавила:

- Только немного радиоактивные.

Художник Миша Туровский мне рассказывал, как на его какой-то выставке подошёл к нему изысканный интеллигент, с невыразимой упоённостью задавший ему чисто художественный вопрос:

- Это у вас пейзаж или акварель?

От подобных фраз и историй у меня теплеет где-то глубоко внутри (душа у меня есть), и освежается неизбывная любовь и жалость к человечеству. Я б собирал, ни на что не отвлекаясь, целые сборники таких нечаянных речений, и поверьте - это было бы не менее интересно, чем высказывания знаменитых, которые повсюду издаются и читаются взахлёб.

А случаи, которые сверкающими блёстками так украшают декорации нашего земного прозябания? В любом почти застольном разговоре вдруг они мелькают успевай записывать, надеешься на память, но наутро... Пить, конечно, надо было меньше. Вот почему я так ценю любые записные книжки. То, что смог я разобрать в своих, и составляет эту мало связную главу.

У моего приятеля есть один знакомый, мужичок лет сорока, большой любитель и ходок. Однажды он поставил свою машину в неположенном месте, а когда вернулся, молодая полицейская женщина уже прилаживала ему на ветровое стекло квитанцию со штрафом. Погоди, закричал он, вот же я, сейчас уеду. Но ты уже давно тут стоишь, возразила она, и оба вступили в естественные и пустые препирательства. Но вдруг он заметил, как хороша эта фурия дорожного движения, и предложил ей выпить чашку кофе, что на израильском арго означает прямое и недвусмысленное предложение пойти в постель. А почему бы нет? -меланхолически ответила полицейская, у меня есть часок, и я живу неподалёку. И всё было очень хорошо, и они вышли на улицу, слегка обнявшись, и договорились скоро повидаться снова, обменялись телефонами и стали расставаться. Но, садясь в машину, он увидел с ужасом, что эта молодая женщина, только что стонавшая в его объятиях, спокойно вынула из сумки ту злосчастную квитанцию и ловко всунула ему на ветровое стекло под щётку дворника. Любовь и долг никак не вытесняли друг друга в её незамутнённом сознании.

А дипломат один мне рассказал в ответ историю, случившуюся в Риме. Он чудовищно превысил скорость, торопясь из аэропорта, и полицейскому, его остановившему, ничуть не возражал. Тот покачал головой и принялся выписывать штрафную квитанцию. А позади сидела пожилая еврейка, жарко и безостановочно спрашивая на идише, что случилось и почему так долго. Полицейский дописал квитанцию, вручил её и вежливо спросил:

- А кто это у вас там так кудахтает?

- Я встретил тёщу и везу её домой, - на том же итальянском объяснил попавшийся дипломат. Полицейский молча взял у него из рук квитанцию, порвал её и с мягкостью сказал:

- Сегодня в семье достаточно одной неприятности.

Всё то, чем собираюсь я начинить эту главу, никак не связано ни содержанием, ни временем, ни местом, отчего я далее абзацем только буду их разъединять, хоть как-то отмечая их отдельность.

С волнением и торжеством рассказывала мне в Нью-Йорке женщина (в былом - искусствовед, а ныне - по кондитерскому делу), как она однажды изготовила необыкновенной красоты и

вкуса торт. Он удался настолько, что его поверхность она украсила двумя большими буквами из крема - ПП, что означало Полный Пиздец. И все сотрудницы пришли в восторг (они-то знали в этом толк), и лишь владелица кондитерской сказала, что не может допустить такую надпись из-за слишком ей известного ханжества приличных покупателей, и надпись стала расшифровываться в товарной этикетке как Полночный Поцелуй.

Один немыслимой известности артист (да что я, собственно, темню Александр Ширвиндт) как-то вспомнил молодые, чуть ли не студенческие годы. Они стояли возле поезда, провожая приятеля - того позвали в Питер сниматься в кино, и ехал он в спальном вагоне, где купе на двоих, и вообще всё было прекрасно. Но приятель резко скис, увидев, что в купе ему предстоит ехать с неким знаменитым средних лет актёром яркой гомосексуальной ориентации. Приятель не на шутку испугался, сник и боязливо лепетал, что просто он не знает, как себя вести, если маэстро к нему станет приставать. И Ширвиндт ему бодро предложил:

- А знаешь, что? В вечернем вашем разговоре ты упомяни как будто невзначай и мельком, что у вас в семье есть давняя традиция на ночь сыпать в жопу толчёное стекло!

А к неизменному партнёру Ширвиндта - к Державину я приставал, как банный лист, я умолял его мне рассказать хоть что-нибудь о маршале Будённом, зятем которого он был какое-то время. Державин отнекивался, врал, что ничего не помнит, но одну историю я всё-таки услышал. Как-то маршалу Будённому прислали пригласительные билеты на какую-то театральную премьеру, и он взял с собой зятя. Маршал был в штатском одеянии, благодарно реагировал на все сценические шутки, и Державин вдруг услышал, как на ряд позади них один зритель сказал другому:

- Посмотри, вон если того усатого мудака одеть в мундир - вылитый получится маршал Будённый.

Очень люблю историю, рассказанную мне приятелем-музыкантом. У них в оркестре был один немолодой еврей, мечтавший хоть раз в жизни посетить настоящий западный бордель. И в первую же зарубежную поездку, не надеясь, что он долго будет выездным, свою мечту решил осуществить. Но по неграмотности он зашёл в довольно дорогое заведение, в котором было некое ступенчатое обслуживание клиентов. Девушку себе он выбрал по альбому фотографий, но вместо неё в комнату вошла вдруг симпатичнейшая молодая китаянка с тазиком душисто пахнувшей воды. Приятно улыбаясь и по- птичьи что-то вереща, она помогла ему улечься на диван, сняла с него штаны и с нежной аккуратностью омыла его уды сладострастия тряпочкой,

обмокнутой в тёплую ароматическую воду. Бедный музыкант был так взволнован и обескуражен этой предварительной услугой, что ему стало хорошо в эту тряпочку, он надел штаны и ушёл очень довольный.

Записные мои книжки полнятся уже семейными историями, каждую из которых невыразимо приятно переписывать сюда. Так маленькая внучка наша Гиля как-то раз мечтательно сказала:

- Вырасту когда большая, красиво оденусь и женюсь на бабушке.

На какую-то мою свежемороженную глупость Тата укоризненно покачала головой. Я уже крепко был поддавший и поэтому обиделся.

- А ты за умного хотела выйти замуж, да? - спросил я заносчиво.

Тата ответила печально и душевно:

- Нет, не хотела, умный бы на мне не женился.

Но вообще-то Тата меня хвалит иногда. Она однажды мне сказала:

- Знаешь, у тебя в стихах стало больше смысла в первых двух строчках.

Я хотел было обрадоваться, но Тата честно добавила:

- А в двух вторых - меньше.

Я бы с удовольствием цитировал и собственные шутки, потому что изредка я что-то говорю, и все смеются. А над шуткой или надо мной - мне всё равно. А так как мне записывать обычно лень, то всё уходит в воздух или кто-то вспоминает без меня. Обычно это жуткая херня, и я бы ни за что такое не сказал, но утешаюсь, думая печально и возвышенно: каков Гёте, таковы и Эккерманы. А бывают шутки, от которых явная выходит польза. Упасая, например, писательницу Дину Рубину от табачного дыма (у неё астма), я всем тихо говорю, что рядом с ней курить нельзя - она от дыма моментально беременеет. И теперь если кто-нибудь на пьянке машинально закуривает от неё неподалеку, то спохватывается, гасит сигарету, и такое у него лицо становится, как будто он уже подсчитывает алименты.

Или вот ещё пример высокой пользы лёгкого отбреха. Как-то с той же Диной вышли мы из нашего Иерусалимского Общинного дома и присели на ступеньках лестницы, чтобы спокойно потрепаться о текучей и сумбурной жизни. Вдруг возник какой-то старикан (года на три меня помладше) чрезвычайно жантильного вида (если я верно понимаю это слово) и заверещал, что два такие юмориста не должны сидеть в пыли на лестнице, а должны выступить в каком-то клубе на организованном им вечере.

- Вы что-то спутали, - сказал я ему холодно и грустно, - я

давно уже не юморист, я уже два года, как пишу трагедию, и вот рассказываю из неё куски, и Дина плачет.

И старикан от сострадания ушёл на цыпочках, а честная и человеколюбивая Дина меня стала было укорять, но я и ей ответил холодно, что пусть она мне будет благодарна: я ведь мог сказать, что она от ужаса уписалась, и старикан бы это всюду растрезвонил. Кстати, с той поры он на свои мероприятия уже меня не приглашает - очевидно, опасаясь, что я стану вслух читать трагедию.

А художник Миша Туровский рассказал мне подлинную маленькую трагедию. Как-то в Киеве молодые художники готовили свои работы для выставки, которую им обещали. Рисунки надо было остеклить, и позвали они к себе в мастерскую старого еврея-стекольщика с Подола, с рынка. Он принялся за работу, но его явно раздражали шумные споры молодых талантов (а таланты они были все, и уверяли в этом все друг друга), он заметно волновался, а потом не выдержал. А это, кстати, был тот год, когда все восторгались сказкой про советского героя Штирлица и с упоением смотрели каждую очередную серию фильма "Семнадцать мгновений весны". Старик оставил резанье стекла, надменно выпрямился и сказал:

- Вы, молодые люди, просто не знаете, с кем вы имеете дело. И, хотя об этом ещё рано говорить, я вам скажу. Перед вами - оберштурмбанфюрер СС Курт Варкман. Я всю войну проработал советским разведчиком в германском Генеральном штабе!

Всё это он произнёс, немилосердно картавя - не картавя даже, а просто начисто не выговаривая букву "р", да ещё с невероятным местечковым акцентом. Художники невежливо заулыбались, и старик величественно добавил:

- Я понимаю, почему вы смеётесь, но по-немецки я не картавлю!

С особенным, естественно, удовольствием записываю я истории о евреях, ибо мы, по свету хлынув, много принесли нежданной радости всем собирателям психологически занятных баек. Так в Италии американский консул некогда спросил молодую женщину, почему она так рвётся именно в Америку, когда в Израиле уже давно живут её сестра и мать. И женщина ответила прекрасно:

- Я с этими людьми не могу жить в одной стране!

А в Вашингтоне, заполняя во въездной анкете графу "религия", советский многоопытный клиент такую сделал запись: "атеист с уклоном в иудаизм".

Там же в Америке один крупный некогда армейский политработник так рассказывал о своей пожизненной

причастности к еврейству:

- Мы каждый день по вечерам читали Тору, а ближе к ночи каждый день моя жена пекла мацу.

О нашей, кстати, здешней израильской обездоленности в смысле запрещаемой еды - кошмарные в Америке гуляют слухи. Как-то в Чикаго на домашнем концерте молодая женщина меня спросила с явным вызовом:

- А если я хочу свинины? Что, я прямо так могу её купить и съесть?

- Нет, - ответил я смиренно, - лучше её всё-таки сперва поджарить.

Смех раздался, но какой-то недоверчивый.

Много из того, что люди говорят и пишуг, я на выступлениях использую, прокладывая этими байками стишки. Так мне пожилой один профессор рассказал: к ним в клинику в Москве однажды привезли больного с таким первичным диагнозом: "Ушиб мошонки о Каширское шоссе".

А на израильское наше радио как-то пришло письмо. Почтовый адрес радио такой: улица Леонардо да Винчи, два. А на конверте (и письмо дошло!) было написано: Микеланджело, три. И смех, который в зале поднимается - высокая хвала неиссякаемой нашей способности смеяться, если кто-то поскользнулся. А когда такого номера не показали, возникает чувство грустное -как у одного из слушателей Зиновия Ефимовича Гердта, как-то написавшего ему в записке: "Не получил никакого удовольствия, кроме эстетического".

Чтоб не забыть. По Питеру среди старушек-богомолок уже года три-четыре шелушится некий слух (миф, ежели хотите) о невиданном явлении в Летнем саду. А на самом деле этот слух содержит нечто, бывшее на самом деле (что для слуха, как известно, - редкость). У нас в Израиле в городе Назарете живёт семья бывших питерцев, где мальчик лет пяти (теперь уже побольше) сохранил - хвала родителям! - свой русский язык, для пущего развития которого (и чтобы повидаться с бабушкой и дедом) был как-то на лето отправлен в город своего рождения. Гулять его пустили по Летнему саду, где увидел он, как на скамье сидит и плачет ветхая старушка. Мальчик по общительности нрава подошёл к ней и спросил, о чём она так плачет. И старушка объяснила, что болеет, маленькая пенсия, и ту задерживают, и вообще на старости лет жить очень тяжко.

- Не плачь, бабушка, - сказал ей сердобольный мальчик, - ты ещё поправишься, и пенсию пришлют, всё будет хорошо.

- Спасибо тебе, милый, - растроганно произнесла старушка. - Сам-то ты откуда будешь, такой добрый и красивый?

Мальчик, надо сказать, был и вправду очень симпатичным образцом юного иудея: длинные золотистые локоны, голубые ясные глаза - не зря в наших краях когда-то долго жили северные рыцари-крестоносцы. И на вопрос, откуда он, мальчик ответил честно и прямо:

- Я из Назарета.

И старая старушка упала в обморок. Когда она очнулась, золотоволосого мальчика уже, естественно, не было. Так и возник этот правдивый миф.

Я лично, на источники какого-нибудь мифа натыкаясь, более испытываю грусть, чем радость, потому что горестная мысль - "ах, люди, люди" делается от таких находок ещё более пронзительной. Мне как-то в Киеве показали деревянное пасхальное яйцо, расписанное искусно и в весьма личностной манере. Объяснив, что стоит оно дорого, ибо так разрисовывает яйца некий старик-отшельник. Он ни с кем из православного мира не общается, живёт укрыто, и никто, кроме привозчиков его искусства, никогда его не видел лично ни в России, ни на Украине. Это оказалось правдой, только чуть иного освещения. И год спустя в Нью-Йорке показали мне дом, где на шестом этаже одиноко проживает старый еврей, когда-то даже член Союза художников, который виртуозно и со страшной скоростью рисует эти яйца, за бесценок отдавая их лихим поставщикам, возящим их за океан совместно с мифом.

Когда разнёсся всюду слух, что не сегодня завтра будут детей выращивать в пробирках, то посыпались во все журналы письма-просьбы от обездоленных природой женщин. И вроде бы грех смеяться над бедой, но одно из таких писем я давно уже храню и в памяти, и в блокноте: "Если есть искусственные зародыши хорошего качества и проросшие, то нельзя ли их завезти в аптеки города Пензы?". Вообще в те стародавние уже года дивные письма приходили в журнал "Здоровье" - это, кстати, был один из невиннейших видов самиздата, и клочки из этих писем становились иногда летучими фразами нашего общения. Я до сих пор один такой обрывок с радостью при случае произношу: "Я себя чувствую, но плохо".

А вот, к примеру, проза, вполне достойная Зощенко: "Я страдаю половой слабостью по месту жительства".

Где собраны сейчас, пропали или нет высокие все эти образцы тогдашнего мышления нашего? Надеюсь, что их кто-нибудь собрал. И был я поражён, открыв когда-то россыпи не хуже, сделанные в камне - на могильных плитах и памятниках. Я уже писал об этом в книге "Пожилые записки", несколько из эпитафий тут я повторю. Ибо куда более, чем длинная статья по

социальной психологии, о нас такая надпись говорит: "Спи спокойно, дорогой муж:, кандидат экономических наук!".

Известна уже века два эпитафия в стихах, кочующая по разным кладбищам:

Моя жена в могиле сей
-какой покой и мне, и ей!

Заказывают надписи, не думая обычно, как они прочтутся посторонними глазами:

"Ты ушла от нас так рано, дорогая мамочка! Благодарные дети".

"Какой светильник разума угас! От института низких температур".

"Защитникам города Старая Руса от немецко-фашистских захватчиков".

"Абрам Меерзон
Внезапно ушёл
от жены
от детей
от родственников".

В двадцатые годы кто-то собирал эпитафии, и время, отразившееся в них, уже звучит для нас высокой прозой:

"Упокой Господи обманутый Врангелем прах казака Семёна Кувалдина, вернувшегося в лоно Советской власти и во царствие Твоё".

"Здесь упокоен бывший раб божий, а теперь свободный божий гражданин Никита Зощенков 49 лет".

"В этой могиле неподвижно лежит тело орла боевого Ивана Кочеткова 28 лет. Мир его воинственному праху".

А в Александро-Невской Лавре в Питере такие эпитафии дышат совсем уж давним, невозвратно сплывшим временем:

"Майор ... В приватной жизни был неизъяснимо приятен".

"Здесь покоится прах портупей-юнкера Орлова-Денисова. Жизнь его прекратилась от чрезмерного прилежания к наукам и отличного к службе усердия...".

"Путеводитель и пилот - зачем оставил ты сирот?".

А современные - уже совсем иные:

"Дорогому мужу - от дорогой жены".

"От жены и Мосэнерго".

"Брату Моне от сестёр и братьев - на добрую память".

Тут у нас в Иерусалиме недавно умер один очень хороший человек, и незадолго до смерти он сам себе написал эпитафию. Теперь она высечена на его могильной плите:

Я вас любил,
и вы меня любили,

спасибо вам,

что вы меня похоронили.

И тут меня внезапно прихватила странная тоска, мне показалось вдруг, что я каким-то образом кладбищенский покой этих людей затронул и нарушил. Я это поздним вечером пишу, в такое время обостряется присущее нам всем мистическое чувство -словом, больше я цитировать не стану эпитафии, надёрганные мной за много лет из путешествий собственных, читательских записок, разных книг и переданные устно. И только напоследок расскажу о надписях на камне, неизвестных в мире почти никому, да к тому же ещё хранящихся под землёй. Имя покойника уже и без меня мусолится людьми почти сто лет, и он не похоронен даже - словом, я о мавзолее Ленина. В двадцать седьмом году, когда строили сегодняшнего вида мавзолей (взамен былого деревянного), в Мосстрое запросили для работы лучших каменщиков. Ими оказались молодые евреи, незадолго до того приехавшие в Москву хлопотать об отъезде в Палестину. А пока они работали, чтобы кормиться, и репутация у них была отменная. Они и делали фундамент Мавзолея. А республик в это время в молодой империи было - не помню, сколько точно, а вот присланных от них больших камней - было тринадцать. Чтобы положить их в основание этого великого сооружения эпохи. А собравшиеся на Святую землю молодые евреи, как-то своё участие отметить желая, на всех этих камнях выбили свои имена. На иврите, разумеется. По окончанию работы им позволили уехать, и один из них в своих воспоминаниях об этом случае позднее написал. А я сейчас об этом вспомнил как о важном аргументе в пользу перезахоронения Ильича. А то и мне немного неудобно.

Ах, люди, люди...

Парк культуры вечного отдыха

Всю жизнь я обожал, когда меня развлекали. И хотя сам с большой охотой несу в застолье всяческую чушь, но если попадается коллега-краснобай, я благодарно умолкаю, и не сыщешь на белом свете более отзывчивого слушателя. А если где-то мне известно какое-то развлекательное заведение, то посетить его - полное для меня счастье. В американском Диснейленде есть так называемый "Дом с привидениями" - там прямо в прихожей тебе вслед оборачивается мраморный древнегреческий бюст, а со стены портрет неведомого предка вдруг подмигивает одним глазом - свой восторг по этому поводу я буду помнить всю оставшуюся жизнь. А когда я там же плыл по маленькой подземной речке на специальной утлой лодочке, и с берега тянули ко мне руки изумительно одетые чучела пьяных пиратов, то душа моя пела и гуляла. Впереди меня слышались какие-то неясные крики ужаса и восторга, но вода и своды подземелья поглощали их, а вскоре к этому же повороту выплыл и я. Там на стене передо мной огромное явилось зеркало, и я увидел, что я в лодке не один: обхватывая мои плечи, тесно прижималось ко мне огромное зелёное чудовище из страшных детских снов -почти бесформенный комок ярко-зелёных водорослей, но с руками, обнимавшими меня. Как я кричал! И сколько было счастья в этом крике! Никакому горьковскому буревестнику не снился такой крик.

Но это детский Диснейленд, а в таком же взрослом побывали мы с женой только несколько лет спустя. Он в том же Лос-Анджелесе находится и называется по имени знаменитой киностудии Юнивёрсал. Там довольно скоро усадили нас на некий специальный автобус и повезли вдоль бесчисленных павильонов, где проходили и проходят киносъёмки. Мы ехали по улочкам немецких, французских, мексиканских и ещё каких-то городов, и я впервые с удивлением узнал, что американские киношники часто не ездят на съёмки в разные страны, а просто строят павильоны, в точности воспроизводящие местность. В небольшой такого рода деревушке показали нам сезон дождей: там высились между домов столбы, неотличимые от уличных фонарей, только гораздо выше, и из их верхушек вдруг забила, как из душа, вода, всюду немедля появились лужи, грязь и мелкие ручьи. Но гид автобуса предупреждающе сказал нам грозным тоном, что в предгорьях уже движется лавина, и откуда-то из-за угла на наш автобус понёсся шумный поток выше человеческого роста. Он бурлил по улице, сметая всё живое, попадись это живое

на пути, и не успел никто из женщин вскрикнуть от ужаса, как эта грозная лавина грязи и воды куда-то сгинула в невидимый нам водосток, чуть-чуть не захлестнув наш автобус. А через пять минут мы въехали на дивной красоты деревянный мост над пропастью - мне что-то не внушает этот мост доверия, успел сказать наш гид, - и мост обрушился под нами. Наклонившись ощутимо, корпусом заваливаясь назад, наш автобус чудом выехал с него, чуть повернул, и мы уже со стороны смотрели, как на наших глазах мост восстанавливал свою конструкцию. Нам объяснили, что удачные трюковые сооружения из разных фильмов остаются здесь со всеми своими тайными механизмами, так что нам предстоит ещё не одно приключение. Мы с женою молча переглянулись: я смотрел с собачьим восхищением, жена моя (поскольку смотрела на меня) снисходительно. Мы поравнялись вскоре со стеной какого-то многоэтажного дома, где все окна были затемнены, как во время воздушной тревоги. Но в одном окне вдруг показалась женщина и крикнула отчаянно: он падает! Мы ясно рассмотрели, что это был большой телеэкран, однако же огромный военный вертолёт, рухнувший буквально в полуметре от автобуса, был настоящим! И взорвался! Появились всюду струи огня, невидимые нам сотни зажигалок отмеряли своё рассчитанное пламя, и это было очень впечатляюще. Я понимал, что дальше будет пуще, я был счастлив. Следующий подвесной мост через глубокий ров держался весь на толстых проволочных канатах, выглядел массивным и надёжным. Но появившаяся вдруг чудовищная обезьяна принялась раскачивать его, как детскую игрушку. Морда у обезьяны была вровень с автобусом и не менее его размером, у неё вращались бешено огромные глаза, и разевалась пасть с чудовищными клыками, и гигантские кисти волосатых рук держали опорные стойки моста, как карандаши. Из поразительного материала была сделана она: полное ощущение какой-то великанской грубой кожи. Но мы спаслись, однако, вскоре въехав в надземную (но крытую) станцию метро. Во время землетрясения, печально сказал гид, самое опасное - оказаться в метро. Вот тут оно, естественно, и началось. Довольно крепко нас тряхнуло, и не выдержала, звучно и кошмарно обвалилась массивная бетонная плита перекрытия. А падая, она свалила столб с огромным трансформатором. Столб рухнул и пополз к нашему автобусу, остановившись в метре от него. Под перекрытие влетел большой городской автобус, перевернулся, как споткнувшийся, и загорелся. Языки пламени уже плясали всюду, и прямо в этот ужас въехал встречный поезд, опрокинувшийся набок на платформу. А откуда-то из трещин и разломов хлынула вода таким потоком, что снесла бы наш автобус, как спичечный

коробок, не провались эта стена воды и грязи прямо перед нашим носом. И мы спокойно поехали дальше. На берегу большого тихого озера просто нельзя было не тормознуть, настолько тихо и прекрасно было всё вокруг. На темно-синей глади воды замечательно смотрелась одинокая лодчонка и рыбак во вьетнамской плетёной шляпе с удочкой в руках. Но вдруг невидимое что-то из-под воды с невероятной силой всосало рыбака вместе с лодкой, и в воздух брызнул с этого места метровый фонтан крови. Если не видеть это каждый день, меланхолически сказал наш гид, то просто ужас, как страшно. И в ту же секунду из воды взвилась с дикой силой, пронесясь мимо наших глаз и чуть ли не обрызгав нас, немыслимых размеров рыба - явно та, что заглотила рыбака. Но промахнулась, не схватив автобус, и плюхнулась в воду, звучно клацнув жуткими зубами. Тут уж крик издали все. А лично я - вспотел от наслаждения.

Поездка кончилась, и с просветлёнными помолодевшими лицами мы все отправились искать другие приключения. Их было вдосталь в этом специальном заведении.

После мы сидели в кафе, где висели на высоких стенах десятки живописных полотен (и любое можно было купить, выставка постоянно обновлялась), ели итальянские макароны с грибами, я ещё по жадности заказал себе креветки, их в Израиле вволю не поешь, и с благодушным сожалением сетовали, что всего не посмотрим - надо было ехать дальше. Тут я вышел покурить - американцы совсем сошли с ума, курить было нельзя уже почти нигде, зажмурился от солнца, и поплыло на меня одно давнишнее воспоминание. Я даже понимал, что в час такого полного блаженства не могло оно не всплыть и не явиться. Тем более, что минуло как раз двадцатилетие той ночи.

Было это в ночь с пятого на шестое декабря семьдесят девятого года. В тёмной, одновременно холодной и удушливой (нас там человек пятнадцать было вповалку) камере предварительного заключения в городе Дмитрове, что под Москвой. Меня только что до позднего вечера держал у себя в кабинете начальник городской милиции - он лично вёл моё дело, и сегодня его душевный садизм был, очевидно, крепко утолён. Со сладострастием и смаком излагал он мне, что следствие окончено, что получу я пять лет лагеря, после чего в конце этого срока на меня возбудят дело по найденной антисоветской литературе, и прибавят мне ещё семь лет. А что не сразу - это для того, чтобы больший срок по второму делу не поглотил меньший, по первому, а чтоб они сложились. А после второго срока мне автоматически будут полагаться пять лет "по рогам", то есть

запрещение жить в больших городах. И таким образом, журчал он медленно и вкусно, вы прибавьте себе, Игорь Миронович, семнадцать лет, которые из вашей жизни мы вычёркиваем, и подумайте, как вы будете к тому времени выглядеть и чувствовать себя. А далее не поленился и подробно описал, как буду я выглядеть после стольких лет неволи. Покуда я сидел в его кабинете, я держался хорошо - мне это было видно по тому, как таяла его вежливость и возрастала нескрываемая ярость. Я почти всё время улыбался и ушёл, с улыбкой ему кивнув от дверей - это был единственно доступный мне вид прощальной пощёчины. В камере я покурил, но, очевидно, выглядел уже неважно, мне никто ни одного вопроса не задал, только молча сдвинулись, давая место лечь. И я почти всю ночь не спал. То представлял себе, каким я стану, то прикидывал, смогу ли вообще такие годы протянуть. Потом я стал, естественно, раздумывать над тем, имеет ли вообще смысл их тянуть, довольно быстро и легко решил, что нет. Но оборвать решил уже потом, где-нибудь в лагере, чтоб не доставить удовольствие тому животному, что только что меня подталкивало к этому. А поскольку я в эти часы ещё прикидывал, как тяжко будет близким в эти годы, то довольно много всякого перемолол в воображении - даже устал под утро. И уснул. А вскоре любопытство к новой жизни так эту идею растопило, что я сам о той ночи отчаяния и слабости вспоминал с интересом и изумлением. Пять лет я им отдал в итоге, только весьма полезны для души оказались эти годы, за которые я в результате благодарен этим нелюдям - вот парадокс, найти бы мне слова для описания...

И тут я сигарету докурил.

А много лет спустя после той ночи посчастливилось мне побывать в Бутырской тюрьме. Уже вовсе был в ином я качестве - снимался фильм, по ходу которого (придумка сценариста) должен я был рассказывать свои байки в тюремных стенах. А Бутырка с неких пор вступила на вполне разумный коммерческий путь: за деньги (весьма немалые) туда можно было на четыре часа придти с кинокамерой и в сопровождении дежурного офицера побродить по этажам и во дворе. Впрочем, начали мы съёмки ещё при входе: кто-то местный из начальства строгим тоном нам сказал, что в административном корпусе снимать ни в коем случае нельзя. И тут же я услышал, как у оператора на уровне колена ровно застрекотала камера. Для творческого человека нет сильнее стимула, чем запрет, подумал я одобрительно. Нас опекал очень симпатичный капитан средних лет, знаток Бутырской тюрьмы и вообще энтузиаст тюремного дела (нет-нет, не было в нём ни капли садизма, просто по душе пришлась ему его профессия, и

по-мужски добросовестно он к ней относился). Он знал Бутырку современную, а я довольно много знал о Бутырке двадцатых годов (ибо общался много с бывшими зэками), и мы с ним очень интересно собеседовали, переходя для съёмок в разные помещения - пустующие камеры, прогулочные дворики, отстойник для собирания этапа, даже карцер. Мы были в зале, где в 20 году всю ночь пел Шаляпин (он перед отъездом испросил позволения провести новогоднюю ночь с людьми, ввергнутыми в узилище, и ему разрешили), мы ходили по тюремному музею в Пугачёвской башне (тут когда-то клетку с Пугачёвым охранял всю ночь Суворов с шашкой наголо), я с интересом поддерживал разговор, исправно и послушно излагал заказанные байки - и с недоумением вслушивался в свои душевные ощущения. Их не было. Ни боли, ни страха от кошмарных этих стен, ни даже - очевидно, стыдно сознаваться в этом - острого сочувствия к тем, кто за железными дверьми сейчас сидел. Я был сторонним равнодушным посетителем.

А когда уже мы выходили из последней двери, и замок её за нами громко лязгнул, ощутил я облегчение внезапное и со счастливой глупой улыбкой совершенно машинально произнёс: "Свобода!".

В двух метрах от меня толкал тележку с огромной бадьёй тюремной баланды невысокий мужичок восточного вида - заключённый из тюремной обслуги. Услыхав мой возглас, он остановился и приветливо меня спросил:

- Освобождаешься?

- С концами! - радостно ответил я.

- Больше не попадайся, - посоветовал он.

- Я постараюсь, - честно ответил я.

Оператор хищно водил камерой, радуясь такому подвернувшемуся эпизоду, капитан с отеческой улыбкой наблюдал наш разговор.

- Счастливо тебе, - сказал мужичок и, было, взявшись за тележку, философски добавил: - Воруй не воруй, а всё равно тут будешь.

И с этим мудрым наставлением мы вышли на вольный воздух. Выпить нам хотелось нестерпимо, и никто нам в этом не препятствовал.

Если выстраивать воспоминания по силе впечатлений, в разное время автором испытанных в местах различных, то совсем иная выйдет жизнь, порой беднее, а порой - богаче, чем текущая реальная. Эту главу затеял я о впечатлениях, весьма несхожих, а поэтому сперва - о неких странностях натуры нашей. Странностях, известных каждому, поскольку каждый в то или

иное время, но бывал на кладбищах. Не доводилось ли заметить вам, что состояние души на кладбище - особое, и часто от печали оно очень далеко? И то же самое - возле случайно встреченных могил.

При поездках на гастроли часто попадаешь в места, весьма неожиданные, ибо ты - гость, а гостя надо развлекать. Порою - хочет он того или не хочет. Как-то раз в Америке повезли меня друзья куда-то под Сан-Франциско, чтобы выпить на роскошной тамошней природе. По пути они коротко перекинулись не услышанными мной словами, мы свернули с основной дороги, и через полчаса я стоял возле незаконченного Джеком Лондоном его "Дома волка", где рядом находилась и его могила. Для меня в этом случайном посещении было что-то мистическое - и не только потому, что с детства обожаю этого писателя. Мы накануне долго разговаривали с одним приятелем о самой странной разновидности депрессии - о так называемой депрессии достижения. Когда сбываются мечты и планы человека, он добился того, чего хотел всей душой и уже давно стремился, напрягаясь, а достиг - и полный вдруг упадок сил, и равнодушие, апатия, тоска и яростное нежелание жить дальше. Естественно, что говорили мы как раз о Мартине Идене, именем этого лондоновского героя даже называют иногда депрессию достижения ("комплекс Мартина Идена"). В какой-то степени, конечно, знал такие приступы и сам Джек Лондон, потому так поразительно и сильно сделан образ Мартина Идена в зените его успеха, но что такой силы депрессию испытает и он сам, Джек Лондон, разумеется, не думал. До сорока восьми лет, когда он решительно и твёрдо оборвал своё дыхание. Мне было зябко и диковинно стоять возле его могилы, думая о том, какой великий стимул к жизни придают его рассказы в юности, и как спокойно говорил вчера приятель, что "Мартина Идена" он только что перечитал, и убедился лишний раз, что это всё - о нём, хотя и не было такого ошеломительного жизненного успеха, но такое же пришло спокойное ощущение, что пора. А я его не отговаривал, что напрочь бесполезно было бы, а только повторял, что это некое предательство всех любящих его, и что у жизни ещё столько всяких поворотов - жалко не увидеть их воочию. А стоя у могилы этой и вторую сигарету докуривая, вдруг сообразил, как я глупо упустил весомый довод, ибо знал болезненную гордыню приятеля. Я позвонил ему буквально через час, ещё напиться не успев (с чем хорошо в Америке, так это с повсюдной телефонной связью), и всё сказал открытым текстом. И откуда я звоню, сказал. А состояла моя малая мыслишка в том, что многие сочтут это за трусость, и негоже так ему терять не только жизнь, но и

отменную репутацию. Судя по огорошенности тона, эта мысль не приходила ему в голову. Я не знаю, что и как он думал дальше, ибо жив остался, но со мной общаться прекратил, и вспомнил я истории знакомых психиатров, как исчезают их больные, получив совет или лекарство в крутой ситуации.

А в Лейпциге меня привёл в собор один приятель, и стояли мы возле плиты, под которой лежал Иоганн Себастьян Бах. А наверху вдруг заиграл орган, я поднял голову: какой-то местный музыкант разминал, видимо, пальцы, готовясь к вечерней мессе. И сидел, возможно, этот музыкант на той же самой табуретке (не знаю, как она правильно называется). Жизнь продолжалась. Во всём её великолепии смешения жанров, ибо мне приятель в это время шепотом повествовал, как генералы Советской армии по-воровски распродавали тут бензин и боевую технику.

На севере Италии есть небольшая деревушка Сан-Лео, целиком прильнувшая к огромному древнему замку, давшему ей свое название. В этом замке некогда провёл четыре года в одиночной камере и умер там, не выдержав неволи, знаменитый авантюрист и проходимец-чародей Джакомо Калиостро. Так велика была вера современников в гипнотическую силу его взгляда, что его даже кормили так, чтобы тюремщики не встретились с ним глазами. Дверца в камеру на удивление легко открылась, никаких смотрителей рядом не было - я, не раздумывая ни секунды, вошёл и лёг на грубо сколоченную деревянную кровать, что без сомнения служила ложем Калиостро. Я даже закрыл глаза, чтобы полнее насладиться впечатлением. Вот и пускай таких в музей, вставай немедленно, ругала меня жена (ей, бедной, часто за меня бывает стыдно), через стеклянный люк в потолке (для непрестанного наблюдения за узником) на меня пялились какие-то вездесущие японские туристы, я вытянулся и расслабился. Высокий потолок, большая камера - надо было быть очень свободным и избалованным жизнью человеком, чтоб тут не выдержать. И кроме радости от хулиганства ничего я тут не ощутил. Мы жили в очень разных временах и очень разных культурах, а чтоб явилась искорка сопереживания, должно быть нечто общее, и тогда чуть поддаётся та перегородка, что стоит между живым и мёртвым. Я о Калиостро потому и вспомнил (а не только похваляясь резвой глупостью), что испытал сполна одушевление любви и памяти в совершенно другом месте.

На окраине Ниццы расположен на высоком холме монастырь, а при нём старинное большое кладбище. И на могиле Герцена стоит его изумительно изваянная бронзовая в рост фигура. Её когда-то, скинувшись, заказали современники-друзья. Помня

пристрастие Герцена к шампанскому, мы пришли туда с двумя бутылками. И чуть полили памятник шампанским - но немного, остальное пили мы из горла сами. И такой наплыв различных чувств я испытал, что лучшую свою, наверно, в жизни прочитал я лекцию о Герцене и Огарёве. Это как бы входило в мою обязанность - мы были тут с экскурсией туристов, но ведь обязанности исполняются по-разному, согласитесь. Я ещё не раз туда приеду, мне это душевно нужно.

И вот мы гуляем с художником Борисом Жутовским по Новодевичьему кладбище в Москве. Это самое престижное и знаменитое кладбище, место вожделенное и недоступное для простых смертных. Когда-то оно даже было закрыто для посетителей, потом ввели пропуска и билеты, ныне это чистый музей. Памяти и любви, заслуг перед обществом, гордыни и пластического таланта - много чего намешано здесь, и постоянно тут полным-полно гуляющих. Нет, я не оговорился: сюда приходят совсем не только положить цветы и помянуть, но большинство - чтоб посмотреть могилы разных выдающихся людей и перекинуться о них словцом и мнением. Насчёт престижности этого места замечательные некогда слова сказала вдова одного известного дирижёра. Он уехал за границу на гастроли, там остался, вскоре умер, похоронен где-то в Европе, а вдова его сказала:

- Ах, дурак, дурак, не уезжал бы никуда, лежал бы сейчас на Новодевичьем кладбище, все бы ему завидовали...

И это правда - завидовали бы очень многие.

Сегодня на дворе стоял собачий холод, посетителей совсем немного было, мы с Борисом грелись коньяком, прихлёбывая из горла прихваченной бутылки, и сперва не клеился наш разговор на мной испрошенную тему. Положили мы цветы на несколько могил своих близких, Боря показал мне надгробия, которые он делал сам или принимал участие (как памятник Хрущёву, в частности), и оказались мы у двух недавних могил. Над одной из них стоял в полный рост конферансье Борис Брунов. И камнем став, он был одет по-театральному, при шляпе и в костюме-тройке. Он так и был одет, наверно, когда в каком-то городе на Волге приключилась с ним прекрасная история. Он рано проснулся, вышел пройтись и остановился у парапета набережной. Дорогой плащ, костюм-жилетка-галстук-трость (а может быть, и сигара) - именно таким увидел его трясущийся с похмелья местный алкаш, у которого он изысканно вежливо (и приподняв шляпу, вероятно) спросил, который сейчас час, ибо забыл часы в гостинице. И ужаснувшийся алкаш ответил ему злобно и патриотично:

- Пошёл ты на хуй, шпион проклятый!

А рядом - изумительно трогательный памятник великому клоуну Юрию Никулину. Сидит он - явно на барьере, окружающем арену цирка, грустно курит, перед ним лежит его собака. Мы с Борисом оба закурили, молча глядя, как по очереди фотографируются возле него какие-то молодые люди. Тут и начали мы понемногу разговаривать. И разногласий не возникло (что между нами редкость даже в трезвом виде). Обсуждалась мной означенная тема назначение и суть такого выдающегося места (конечно, кроме функции прямой, которая у каждого есть кладбища).

Помимо отрешённости от суеты, которая тут овевает каждого хотя бы ненадолго, - что с человеком происходит? Довольно многое - побольше, чем в любом музее. Ибо внезапно оживают и махровым цветом распускаются запасы мусора, хранящиеся в памяти. Здесь столько похоронено артистов и полярных лётчиков, писателей и генералов, художников и выдающихся персон, что у любого, кто сюда пришёл, вдруг начинают пузыриться разные истории, куски случайных знаний, мифы и легенды, сплетни, домыслы и слухи из давно утекших лет. А если ещё вдобавок личная жизнь посетителя, его родителей, знакомых, предков - проходила невдалеке от жизни знаменитого покойника (а понятие невдалеке весьма относительно), то начинают бить фонтаны даже у дырявой памяти и вялого воображения. Эти игры интеллекта совершаются у каждого на его личном, разумеется, уровне - однако, совершаются у всех. А если к этому ещё добавить будоражащие разум споры и дискуссии (сколько было героев-панфиловцев и с кем из режиссёров спала данная актриса), то живое пирование духа делается праздником в этом вовсе неподобающем (на первый взгляд) месте. А сюда ведь любил приезжать Сталин, чтобы постоять возле могилы Алилуевой, всюду лежат его сподвижники (их меньшинство, поскольку большинство - в безвестных расстрельных захоронениях, он умел дружить, как никто), и вся история страны тут может быть обсуждена со всех сторон и с точки зрения любого мифа.

Мы ходили кругами, не забывая по очереди отхлебнуть из бутылки. Огромный, хоть по пояс только, маршал связи - держит возле уха телефон, а внизу вьётся телеграфная лента с неразборчивой морзянкой; красиво падающий Икар (авиаконструктор Поликарпов); крохотная плита над Галиной Улановой (нет пока денег у Большого театра); хирург Бакулев с красным сердцем в руках (интересно, пластик или кристалл?); загадочный черно-белый монумент Хрущёва; невообразимо нежный лебедь на могиле Собинова; вишнёвые деревья вокруг

Чехова; мрачный и величественный камень-валун на могиле Булгакова... Тут я поймал себя на жгучем вожделении рассказать Борису, что ведь это чистая мистика: всю свою жизнь Булгаков обожал-боготворил Гоголя, а камень этот - он ведь с могилы Гоголя! Когда переносили захоронения с Донского кладбища, то камень этот выбросили на свалку, и его случайно обнаружила вдова Булгакова, ища какой-нибудь памятник по средствам. И сразу я, по счастью, спохватился, что наверняка мой Боря знает эту историю, и куда точнее, чем я, но так хотелось рассказать! И мы заговорили о ещё одной немыслимой привлекательности такого гуляния.

Причастность! Ключевое слово к ощущениям на этом кладбище и к разговорам о великих людях, тут лежащих. Постояв у памятника и поговорив хотя бы мельком о жизни знаменитого покойника, да ещё сделавши на память фотографию, где вы чуть не в обнимку, вы ясно ощущаете, насколько вы теперь причастны к этой незаурядной личности и к её незаурядной жизни. И празднично-торжественная печаль приятно овевает вас, расцвечивая будничное существование.

Вот тут и наступило время перейти к идее, ради которой нагорожена глава. Эта идея (а точней - проект, в котором чудится мне целебное утоление некой глубинной человеческой тревоги) странным образом возникла из воздуха на шумной дружеской попойке. И была встречена жарким одобрением. Но сколько бы потом один из авторов (а именно я, поскольку Сашу Окуня не спрашивал) эту идею ни излагал, все брезгливо и испуганно отмахивались, с явно суеверным страхом расспрашивали о деталях и просили эту тему более не развивать. Бурность и одинаковость такой реакции лишь убедили меня, что мы затронули нечто серьёзное. А так как на идею эту глупо брать патент - она уже разболтана повсюду и везде, а воплотят её наверняка, хотя не скоро, - я тут её спокойно изложу.

Представьте себе немереных размеров парк, усаженный обильной, в том числе и экзотической зеленью. И всюду памятники-надгробия со всего мира. Тут лежат художники и полководцы, музыканты и политические деятели, писатели и адвокаты, знаменитые преступники всех времён и народов, но и люди неизвестные представлены здесь тоже в изобилии. Поскольку это кладбище - для всех, и никаких сословных или прочих нету у него границ. Да, памятники известным людям - это копии, но только до поры, ибо покоить прах своего предка на этом кладбище довольно быстро станет делом чести и престижа. Памятники разнообразны до невозможности обозначить их сюжеты. Пирамида фараона может здесь соседствовать с

космическим кораблём, конные статуи - с наядами или русалками. Вон коленопреклонённая женщина рыдает у мужского бюста. А неподалёку - их таких же две. Материал - не только мрамор, бронза и гранит, но всё, что может предоставить пластике сегодняшняя технология. Здесь много статуй и мифических существ, разнообразие современной скульптуры делает это кладбище уникальным художественным музеем. А теперь самое главное: любое из таких произведений можно заказать себе на памятник. И, разумеется, приобрести для него тут же клочок земли, который станет для вас верным приютом.

Нет, живому человеку не совершенно безразлично, где будет лежать он после смерти, - я это знаю по себе. Как-то на кладбище в Гиват-Шауле (это на окраине Иерусалима) я поймал себя на тихой тайной радости, что буду я лежать именно здесь. Уже покоятся на этом кладбище мои друзья, и вдруг я рассмеялся, ощутив приятство от вида зелени и окрестных холмов. Я ведь уже не буду любоваться этим видом, сконфуженно подумал я, что за глупость - но приятство ничуть не таяло. Почему-то человеку надо знать, где он будет покоиться, и если можно это место выбрать самому, да ещё знать, какое будет у тебя надгробие... Об этом, впрочем, стоит поговорить особо.

Вот живу я некой жизнью - серая она и монотонная, а может быть, отменно яркая со взлётами и сокрушениями - после смерти делается это как бы безразлично для равнодушного потомства. Вот и нет! Поскольку мой надгробный памятник и эпитафия на нём как бы продлевают моё существование, а то и вносят в него ноты, коих раньше и в помине не было в живой судьбе. Весь век мечтал я, например, быть вольным путешественником, свободным художником, лётчиком-испытателем, странствующим рыцарем или пройдохой-авантюристом. Покорителем женских сердец, карточным игроком, великим сыщиком, наёмным убийцей или фокусником в цирке. Но жизнь свою провёл я в банковской конторе, в цехе на заводе или над листами ватмана в конструкторском бюро. Нет-нет, и путешествовал немного, и играл на бильярде в отпуску, и были всякие удачи по женской части, только вот никак нельзя сказать, что жизнь моя меня устраивала полностью. Но памятник - продлит, обогатит её, украсит новыми оттенками и воплотит мои мечты посмертно. Э, какую непростую прожил жизнь этот безвестный человек, вздохнёт случайный посетитель парка, и черкнёт в блокноте, чтобы не забыть: недалеко от памятника Шерлоку Холмсу лежит некто с очень непростой судьбой. А то, что нет его в энциклопедии, вздохнёт он позже вечером, так всех не упомянешь, только вот ведь жили люди, не чета унылым

сегодняшним обывателям.

А те, в ком попусту всю жизнь кипели и играли всякие творческие наклонности, но так сложилась судьба, бросила кости слепая и безжалостная фортуна - не сбылось. Зато посмертное их существование возможно среди самых известных литераторов, знаменитых артистов, художников и музыкантов мирового класса. И будет памятник такому человеку - воплощение его несбывшейся мечты. А если был всю жизнь поборником справедливости, но так и не случилось за неё вступиться, то рыцарские доспехи заявят о неутолённой душевной страсти - хотя и задним числом, но навсегда. А бронзовый триумфальный венок? А Муза, подающая кисть или перо? А скрипка, молча говорящая о том, во что могла бы воплотиться тайная гармония души? А вот совсем небольшой бюст на тонкой мраморной подставке, но такая эпитафия начертана на постаменте, что никто из посетителей не в силах миновать эту аллею.

Об эпитафиях. Их заказать так же легко, как памятник на облюбованном клочке земли. Сотни художников и скульпторов будут устраивать этот музей, из поколения в поколение передавая эстафету выдумки, воображения и пластики, и так же ревностно будут писать поэты и прозаики. Ибо написанное над местом упокоения - ничуть не менее важно, чем изваянное. А для множества людей - и более важное. Выше я приводил образцы смешных эпитафий, но такие - исключение в этом высоком жанре. А эпитафии значительные и глубокие, трогательные и сердечные - каждый сможет заказать себе по вкусу и разумению, твёрдо зная, что слова эти появятся на его могиле. И скажут о его личности и судьбе гораздо более весомо, чем нелепые случайные слова растерянной или безразличной родни.

А там, где дышат почва и судьба, человеку неодолимо хочется выпить. Заведения с напитками и кухнями всего мира будут находиться здесь же. Трактиры и харчевни, рестораны и кафе, бары и пивные. Это не кощунство, вовсе нет, живая жизнь должна играть и пениться у этой гавани вечного покоя. И если чем-то тронула вас усыпальница японского императора, то помяните его рюмкой саке, а те, кого когда-то поразил Ремарк, выпьют в его память кальвадоса. Если души ушедших существуют и впрямь в некоем недоступном измерении, если они видят нас, живущих после них, то ничего кроме блаженства эти души испытать не могут.

Меня приятно удивило и растрогало, что идея эта уже была однажды воплощена (хотя весьма частично) в средневековой Франции. В книге известного историка культуры Йохана Хёйзинги ("Осень средневековья") я прочитал о кладбище

Невинно-убиенных младенцев, которое для парижан было в 15 веке излюбленным местом гуляния. Среди могил встречались, беседовали и назначали свидания. Невдалеке от склепов ютились различнейшие лавчонки со снедью и подарочными товарами, "а в аркадах слонялись женщины, не отличавшиеся чересчур строгими нравами". Даже некоторые празднества религиозного, правда, характера - устраивались на этом месте захоронения тысяч парижан. Слава этого места была столь высока, что один парижский епископ, который не мог быть там похоронен (очевидно, ему следовало лежать в приделе его церкви) просил положить ему в могилу хотя бы горсть земли с этого вожделенного кладбища. Хёйзинга пишет: "Всё было направлено здесь на то, чтобы придать этому месту черты мрачной святости и красочной, разнообразной жути, к которым позднее Средневековье испытывало такую охоту".

Мы, жившие в двадцатом веке, знаем столько о реальных ужасах, что нам ничуть не надо никакой воображаемой жути, мы скорее ищем покоя и гармонии. Но именно чувство благостного покоя нас ощутимо посещает при встрече с покоем вечным - почему же не ввести в обычай такие встречи с коллективной памятью?

Я начал эту главу с аттракционов, где щекочущее чувство искусственной опасности и риска (то есть чисто игровой близости к смерти) наполняет нас восторгом и обостряет чувство существования. Точно такие же забавы наверняка придутся к месту и здесь. А может быть, иные несколько - ведь человек изобретателен почти беспредельно, а сегодняшняя технология позволяет сделать невероятно много для возбуждения свежей радости, что жив, хоть побывал у края. Как тут будут счастливы дети, говорить излишне. "И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть" - никак тут не минуешь замечательное имя Пушкина, смотревшего на наше бытиё открытыми глазами и поэтому увидевшего так много.

Теперь отвечу на вопрос, давно уже висящий в воздухе. Вот упомянут был Ремарк, давным-давно уже он стал частицей русской литературы, спора нет но ведь лежит он где-то вовсе в ином месте. Испытает ли его читатель то же чувство любви и благодарной памяти, придя к заведомой копии того обелиска, что стоит (надеюсь) где-то над его прахом?

Я врать и предугадывать не стану. Расскажу одну историю, которая сполна (по-моему) на все эти вопросы отвечает. Есть у нас в Иерусалиме знаменитое и всеми посещаемое место - могила царя Давида. До Шестидневной войны 67 года, пока Стена Плача была молящимся евреям недоступна, собирались они здесь. И

здесь в расщелины между камней клали записки, адресованные Богу, и была могила царя Давида некой временной Стеной Плача. Но и сейчас приходят сюда тысячи людей. А подлинность этой могилы - она не то что под сомнением, а просто нет сомнения у знающих специалистов и археологов, что не было её тут никогда, и просто это некая давнишняя условленность, и поздно её подлинность опровергать. Так вот у некоего известного раввина (тоже тут молившегося многократно) спросили, не беспокоит ли его, что это вовсе не то место, где лежит царь Давид. И раввин ответил гениально:

- Если столько евреев столько лет приходят сюда молиться, - сказал он, - то царь Давид наверняка сюда давно уже перебрался.

Мне кажется (точней - уверен я), что на таком кладбище многие памятники со временем обретут свой прах. Усопшим надо, чтобы мы их посещали, и не меньше это нужно нам. А рядом пусть играет жизнь во всём великолепии её игры.

Ещё одна деталь мне кажется весьма существенной. В этом парке культуры вечного отдыха следует брать плату с посетителей - не за вход, а при выходе.

Глава о неслучившейся книге

Уже несколько лет я хочу написать книжку детских стихов. Не для детей, а именно детских, то есть пытаясь воспроизвести то освещение, в котором видят мир и нас наши маленькие или чуть подросшие дети. Когда я рассказываю о своём замысле со сцены, в зале возникает дружный смех. Но это смех несправедливый: я ведь легко справляюсь с первыми тремя строчками стиха, меня в смысле приличности подводит четвёртая, но дети запросто могли бы так писать. Поскольку знают всё и даже больше нашего. Они не говорят нам это вовсе не из-за страха наказания (верней, не только из-за этого) - они ещё жалеют нас, боятся огорчить, они ведь вообще относятся к нам снисходительно. Рассказывала одна мать про своего маленького сына: как-то вечером, уже в постели лёжа, он её спросил:

- Мама, я уже могу спать или ты ещё будешь петь колыбельную?

Вот как относятся к нам наши дети. А теперь - о моей творческой неудаче. Книжку эту придумал не я, а Саша Окунь. Давай сделаем какую-нибудь книгу, предложил он, где не я буду иллюстрировать твои стишки, а ты - мои рисунки. И решили мы учинить большую (по формату) книжку, где во всю страницу располагался бы большой рисунок, а моё четверостишие служило комментарием к нему. Так ведь и делаются детские книжки известных авторов. Я загорелся этой идеей сразу. У меня когда-то был случайный детский стишок, я очень любил его при случае прочесть:

По речушке меленькой
за ромашкой беленькой
плыли три букашки
на большой какашке.

Только этот стишок сюда не очень годился, он был - для детей, а мне хотелось попытаться сотворить самостоятельное детское сочинительство. Что оказалось очень непросто, но какое-то количество стишков я всё же накропал. Среди них были даже приличные. Но очень мало. Ибо от приличных исходил явно уловимый запах взрослого сюсюканья, фальшака, подделки. Под детское мечтание, к примеру:

Тихо мелочь я коплю

и расти я не ленюсь,
мотоцикл я куплю
и на бабушке женюсь.

Ради такой продукции не стоило затевать книжку. Интересен был ребёнок, употребляющий все те слова, которые он держит в тайне от своих докучливых предков. Мы с женой как-то услышали такое. Были мы в гостях у приятеля (весь из себя учёный-физик), под весьма культурную женщину канала его жена (с переменным успехом), а ещё был дивный сын лет четырёх-пяти. Его погнали спать, а мы сидели, выпивая и болтая. Вдруг из детской комнаты послышался ангельский голосок ребёнка. Обращаясь к матери, он с укоризной говорил:

- Ложись спать, старая жопа, завтра тебя в садик не добудишься!

И я это запомнил от восторга на всю жизнь. А тут в Израиле мне рассказали историю чуть ли не из Талмуда. Якобы к раввину одному пришла молодая женщина и спросила совета:

- Рабби, - сказала она, - у меня дочери уже двенадцать лет, и я хочу с ней поговорить об отношениях мужчины и женщины.

- Конечно, поговори, - ответил раввин, - только вряд ли ты узнаешь что-нибудь новенькое.

Я сел писать стишки, и вдруг судьба мне явно стала помогать - я делал, по всей видимости, то, что я и должен был делать по её умышлению. Во всяком случае, мне встречные и поперечные подряд стали рассказывать истории про детское всезнание, как бы поощряя будущую книгу.

В одной семье оба родители были врачи. Мать - гинеколог, а отец отоларинголог (то есть ухогорлонос, как писали в советских поликлиниках). И сына лет восьми однажды спросил кто-то, кем он будет, когда вырастет.

- Врачом, только врачом, - ответил мальчик, - как мама.

- А почему не как папа? - спросил этот кто-то.

- А я в ушах ничего не понимаю, - ответил мальчик.

А из какой-то детской группы (с русским языком) вернулась маленькая девочка, и бабушка её спросила, что сегодня им рассказывали в группе.

- Нам рассказывали, - охотно ответила внучка, - и ещё мы обсуждали сами, что маму надо любить всякую. Маму надо любить красивую и некрасивую. Маму надо любить даже, если она старая падла.

Вдруг из Америки пришло письмо. Один знакомый (и не близкий) мне писал, как из детского сада вернулся его

пятилетний сын и сразу же пошёл за кресло в угол, куда ставили его обычно в наказание.

- Ты чего туда попёрся? - спросил отец.

- А понимаешь, - объяснил смышлёный сын, - мне рассказали в садике стихотворение, я его тебе прочту, ты всё равно меня сюда поставишь, так я тебе отсюда и прочту.

И дивный прочитал отцу стишок - мне бы такой хоть раз написать:

Уронили мишку на пол,
оторвали мишке хер,
всё равно его не брошу,
он теперь пенсионер.

А молодая женщина мне рассказала о своей растерянности и ужасе, который охватил ее, когда пятилетняя дочь спросила простодушно и доверчиво:

- А мамочка, вы с папой тоже еблитесь?

Итак, я сел писать заведомые иллюстрации к заведомо прекрасным будущим рисункам Саши Окуня. Я знал, с чего начну, - конечно, с детского хулиганства, ибо это - несомненная и сладостная игра.

* * *

Я сегодня видел с крыши
много дядей, тёть и кошку,
будь немного я повыше,
я б точней метал картошку.

* * *

Тот гость у нас бы жил и жил,
но я не знаю кто
вчера лягушку положил
ему в карман пальто.

* * *

Ныл с утра дырявый зуб
и, чтоб легче было,
кинул я соседке в суп
маленькое мыло.

* * *

Я купил коробку кнопок
и украл с витрины клей
хватит этого для попок
всех моих учителей.

* * *

Лился дождик монотонно,
скучно было жить на свете,
как пописал я с балкона,
так никто и не заметил.

Даже один чисто еврейский стих я умудрился накропать в возможном детском варианте:

* * *

Когда все дружки мои
молоко у мам сосали,
всё я делал, как они,
но уже мечтал о сале.

А мечты, переживания, обиды - всё ведь по-иному, чем у нас, должно происходить у этих мелких, но уже с несомненностью человеков, думал я, и тень Барто с неслышным осуждением стояла за моей спиной.

Со мной поссорилась подружка,
и дни мои теперь пусты,
а ей приснится пусть лягушка,
ангина, мыши и глисты.

* * *

Ты теки, моя слеза,
очень больно папа высек,
папе зря я рассказал
все названия пиписек.

* * *

Сегодня взрослые опять о
чём-то спорили отчаянно,
и зря меня прогнали спать
за то, что пукнул я нечаянно.

* * *

Света лунного дорожка
красит стену надо мной,
потерплю ещё немножко
и сожгу свой дом родной.

* * *

Рано мне пока жениться,
очень мало мне годов,
я хочу летать, как птица,
чтобы какать с проводов.

Мне предстояло написать о детской несомненной наблюдательности, ибо видят они и слышат - много более, чем мы предполагаем.

* * *

Папа маму раз обидел,
оба жутко злились,
а потом я ночью видел,
как они мирились.

* * *

Папа маме не соврал,
он на встрече коллектива,
он из тумбочки забрал
два цветных презерватива.

* * *

Я услышал ветки хруст,

я увидел ноги тётки,
тётка писала под куст
из большой сапожной щётки.

* * *

А пока шептал уныло
папа мне про баю-бай,
мама гостю говорила,
что наш папа - разъебай.

А познание мира, неотрывное от фантазии и хулиганства? Только тут, хочу признаться, было мне намного легче, ибо у меня, седого дурака, такое же точно восприятие, как у тех, кого хотел я имитировать.

* * *

У раззяв и у раззявок
в их раскрытом настежь рту
плавно вьются сто козявок
и плодятся на лету.

* * *

В пушки, танки и хлопушки
прекращается игра,
от любви к моей подружке
я уписался вчера.

* * *

Спать напрасно между кукол
мишке плюшевому дали,
он во сне храпел и пукал,
и они всю ночь рыдали.

* * *

Шепча, какой несчастненький
и сил уже в обрез,
кузнечик голенастенький

на бабочку залез.

* * *

Возле озера по кругу
скачут восемь лягушат,
это все они друг к другу
ночью трахаться спешат.

* * *

Бросил я курить и драться,
не ворую спички,
всё хочу я разобраться:
как ебутся птички?

И тут я сделал непростительную глупость: от желания услышать поскорее, как это звучит, я несколько четверостиший прочитал на выступлениях. Поняв немедленно, что взрослым людям - противопоказаны по их душевному устройству наши детские стишки. Да, все хохочут в полный голос, но в глазах у них я вижу - даже не растерянность, а ужас. И я их отлично понимаю. Эту реакцию замечательно мне выразила Дина Рубина - я позвонил ей, прочитал пару стихов и легкомысленно спросил:

- А лично ты, если такая книжка выйдет, ты её купила бы?

- Гарька, - воскликнула собеседница, - я на все деньги, что у меня есть, скупила бы весь тираж, чтоб это не попалось моим детям!

И тут я приуныл (не буду врать, что призадумался), и вдохновение покинуло меня. Ужасно жаль, поскольку были там стишки, которые мне нравились и нравятся доныне.

* * *

Посмотреть на драмкружок
приплелись родители,
из-за них мы, кроме жоп,
ничего не видели.

* * *

Мне на все мои дела
хватит сил и доблести,

наша бабушка была
первой блядью в области.

* * *

В тени от водокачки,
где садик и беседка,
играли две собачки,
как папа и соседка.

* * *

Мы закрыли все окошки,
но уснуть мы не могли,
ночью так орали кошки,
словно тигры их ебли.

* * *

За природой наблюдая,
ходит ёжик - и хохочет,
это травка молодая
яйца ёжику щекочет.

Но не оставляет меня всё же некая упрямая надежда. Будучи уже весьма немолод, я знаю и помню, что на крайнем склоне лет многие старики впадают в детство. Может быть, тогда я и закончу этот цикл?

Окончание

Я уже летел обратно, и гастрольная усталость явно сказывалась на количестве сигарет. За полтора часа, что я торчал на пересадке, я выкурил с полпачки, навёрстывая воздержание в предыдущем самолёте. И походную фляжку с виски осушил я уже мелкими, но частыми глотками. Мысли текли вялые и как бы несколько лекарственные, словно пробующие чуть меня подбодрить. Думал ли когда-нибудь мальчик из бедной еврейской семьи, что возвращаться из Берлина в Иерусалим, домой, он будет через Рим? А думала ли об этом его бабушка Любовь Моисеевна, рано оставшаяся без мужа с тремя детьми в каком-то маленьком украинском местечке? А думал ли об этом его дядя Исаак, кандидат экономических наук? А тётя по маме, детский врач, измученная непрестанным блядством своего мужа-хирурга? А его папа с мамой, прожившие свою жизнь, как стоики, хотя о таковых навряд ли знали?

Мои мысли так стремительно переметнулись на Сенеку, что я даже несколько встряхнулся. С его текстами впервые встретился я в заполярном городе Норильске, зэками построенном посреди тундры и о лагере напоминавшем всем своим обликом. В шестьдесят третьем, кажется, году я был там в инженерной командировке. Водку пил с ребятами из местной газеты, мне у них в редакции тогда понравился плакат: "Не говорите даже о деле!". Гуляя как-то раз по улицам, наткнулся я на странную библиотеку - принадлежала она профсоюзу охотников. Те ненцы и долгане, что стреляли песцов на необъятной территории Таймыра, вряд ли даже о ней знали, а уж как она была нужна им, очень просто догадаться. Я вошёл и почти сразу обомлел. В библиотеке было совершенно пусто, что естественно, однако же на полках там стояли книги, которых в Ленинке в те годы не давали. Я попросился погулять внутри и там впервые в жизни подержал в руках двухтомник Шопенгауэра, томик Ларошфуко, жадно полистал двенадцатитомник Стефана Цвейга издания двадцатых годов (их было там четыре или пять комплектов).

Мне библиотекарша, к которой кинулся я выражать восторги, объяснила, что библиотеке выдаются раз в году большие деньги, и они, чтобы потратить их (а то урежут в будущем году), летают в Ленинград, где покупают всё подряд в букинистических магазинах. Я покачал завистливо своей кудлатой головой и возвратился к полкам. А через полчаса ко мне подошёл незнакомый человек и тихо-вежливо меня спросил, не захочу ли я купить книг пять по выбору за пятьдесят рублей. Это большая для

меня была в те годы сумма, но копейки по сравнению с их стоимостью. А моральная часть дела нас обоих начисто не волновала. Денег этих не было у меня, но я поплёлся на местное телевидение и мигом их уговорил (я с ними накануне пил) со мной устроить пару научно-популярных передач на тему только что написанной мной книжки. Не была она ещё написана, я только собирался, но о чём трепаться, знал уже прекрасно. Дальше было просто: я под этот заработок одолжил у них же денежку и вечером в тот день впервые читал Сенеку. Ещё у меня был Ларошфуко и три разрозненные томика Цвейга. А Сенеку я читал - "Письма к Луцилию", и дай Бог всем хорошим людям хоть бы раз в году испытывать такое наслаждение, какое было мне в тот вечер суждено.

А между тем уже толпился я со всеми на посадку, сожалея, что наполнить фляжку поленился. Мне явилась вдруг идея ослепительной теологической яркости. В Норильске это было в шестьдесят третьем. А семнадцать лет спустя советский суд пришил мне сфабрикованное дело о покупке краденого. Но я ведь за семнадцать лет до этого и впрямь купил в Норильске краденые книги! Так, быть может, Божья кара неуклонна, только несколько запаздывает с исполнением ввиду обилия клиентов? Эта мысль меня так захватила, что я времени в упор не замечал.

А мы уже взлетели, не уйдя пока за облака, и дивные за окнами стелились краски. Расплавленная медь заката напоминала о еврейской страсти к золоту. Блаженная и вязкая истома охватила весь мой организм. Спасибо Тебе, Господи, подумал я, пускай всегда мне будет так красиво, пусть я ещё хоть несколько лет буду мотаться по свету, и любопытствовать, вывихивая вертишейный позвонок, и радоваться возвращению домой. И пусть моё пьянство и моё ничтожество никак не скажутся на мировой гармонии, которую никак Тебе не удаётся полностью наладить.

Желаю Тебе сил и удачи, Господи, ведь никто Тебе их не пошлёт. И я уснул, коляски с выпивкой не дожидаясь.

Пять лет уже неслышно утекло с поры, когда я написал свою первую книгу воспоминаний. А за это время всякое и разное случилось.

Только что покинул нас огромный благородный пёс Шах. Он у нас прожил двенадцать лет в любви и строгой нежности. А погибать он начал очень по-мужски: на вечерней прогулке принялся играть с такой же крупной сучкой, а я курил, за ними наблюдая. Он утилитарную собачью цель такой игры уже забыл и приставал к игривой сучке чисто инстинктивно, никакой в этом не чувствуя необходимости. Она ещё потом долго шла за нами,

недоумевая, почему так резко от неё отстал этот симпатичный чёрный пёс. А у Шаха вдруг ослабли и почти отнялись задние лапы. Он ковылял пять метров, а потом садился или ложился и виновато на меня смотрел. Оставшиеся метров двести мы с ним шли около часа. А лестницу он одолеть уже не смог. Я сбегал в дом, мы взяли советскую летнюю раскладушку и на ней принесли Шаха в квартиру. Всё как-то сразу стало ясно, и на Шаха мы старались не смотреть, только украдкой друг от друга гладили его по загривку. На следующий день я должен был уезжать и отложить эту поездку не мог. И сын наш Милька всё необходимое делал сам, позвав товарища на помощь. Он купил Шаху два килограмма гуляша, и тот всё съел. К врачу он ехал тихий и счастливый - кроме пиршества была и радость главная - его вёз Милька. Врач сказал, что он обречён, и привезли его очень вовремя: уже вот-вот должны были начаться параличные мучения - у него была беда с позвоночником. И Шаха усыпили. Даже после смерти ему сильно повезло: ещё ему не сделали укол, как появился вызванный еврей из частной похоронной конторы для собак. И этот профессионал вдруг отказался от своей работы наотрез: я не хороню собак, надменно и испуганно сказал он, которых я успел видеть живыми. Милъка не настаивал, они с товарищем купили лопаты и мотыги, Шах лежит теперь недалеко от нашего дома, и на могиле его - холмик из камней.

А между тем естественно и неуклонно умножается наш семейный клан. Появилась у меня вторая внучка - Тали, ей уже четыре года. В детском садике наслушавшись каких-то благостных речей, она сказала встретившемуся ей солдату - а точней, торжественно и величаво произнесла: "Храни тебя Бог!" и молодой солдатик густо покраснел от неожиданности. А позже появился внук, за что я очень благодарен сыну и его жене. Внуку Ярону чуть побольше года, но уже он проявляет незаурядную эстетическую чувствительность: меня завидев, горько плачет.

А у двух племянниц моей жены Таты почти одновременно родились сыновья. Тата купила два одинаковых детских конверта, и в одном из них - в Иерусалиме - обрезали Шломо Бен Менаше, а в другом - в Москве - крестили Петра Фёдоровича. При случае я напишу роман "Хождение по внукам".

Когда вся наша семья собирается вместе за столом, то я некоторое время креплюсь, а потом глаза мои застилаются слезами нежности. Значит, уже хватит пить, соображаю я. Но чаще это успевает мне сказать жена.

И кстати о слезах. Эту книгу ещё в рукописи прочитали уважаемые мной два человека, и сказали они дружно и единогласно, что я слишком часто в разных главах плачу или ещё

только собираюсь это сделать. Слёзы убери, сказали они мне (точнее -написали на полях).

Но я действительно плаксив! Я смотрел кино "Граф Монте-Кристо" восемь раз, из которых пять последних раз - в надежде, что уже не зарыдаю, когда корабль "Фараон", восстановленный графом Монте-Кристо, входит в гавань, и его старому владельцу не надо застреливаться. Но куда там: я опять заплакиваю всю рубашку. А на советских фильмах о деревне я плачу совершенно другими слезами. А вы бы не заплакали? Там так бывает: некий тракторист-правдолюбец едет в город, чтобы пожаловаться на жлоба и жулика председателя, с которым справиться не может весь колхоз. Ему все говорят: ты зря, но он всё-таки едет. А в городе, оказывается, только что сменился областной партийный секретарь, и всё он понимает в пять минут, и ясно всем, что будет всё прекрасно. Тут обратно на попутном грузовике добирается тот парень до родной деревни, и внезапно выясняется, что учительница, по которой он напрасно сох, его таки да любит, но стеснялась говорить об этом первой. Кто ж тут не заплачет? Чем сентиментальней и пошлее кинофильм, тем гуще и сильней рвётся из меня наружу солёная влага сострадания и счастья. От того, что трогательно по-настоящему, у меня тоже незамедлительно намокают глаза. Я этой слабости нисколько не стыжусь, я решил писать о себе полную правду.

Мне, к примеру, часто снятся тараканы и гавно. Тараканы снятся в образе естественном, а гавно - в виде различных знакомых. Если верить соннику, и то, и другое - к деньгам и почёту. Но пока что это не сбывается.

А Тате вдруг приснился наш давнишний друг Сандрик, очень чистый, рассудительный и верный человек. Это с ним когда-то Тата моталась на его машине по различным тюрьмам Подмосковья - ей сказали, что в районных, этих тюрьмах, если я там окажусь, идя по этапу, можно получить свидание. Но мы разминулись. Сандрик теперь наш сосед по дому. И Тате вдруг приснилось, что он умер (это к долгой жизни, кстати) и лежит в городской больнице. И вот Тата в неё мчится, и лежит там Сандрик на каталке, и глаза его закрыты, только вдруг один глаз открывается и ей подмигивает. С криком: "Он жив, он жив!" - несётся Тата по больничным коридорам и натыкается на врача. "Да, он жив, - холодно говорит ей врач, - и он за это будет наказан". Тата, недоумевая, возвращается к каталке с Сандриком, а тот уже лежит, читая русскую газету. В чём дело, Сандрик? - спрашивает Тата. Видишь ли, спокойно отвечает ей наш умный друг, я застраховал свою жизнь и попытался получить эту страховку заживо - как было б хорошо! И снова стал читать

газету.

У тёщи моей уже четырнадцать внуков и десять правнуков. Достаточно хоть мельком увидеть молодёжь нашего клана, чтобы сразу же понять: число это будет неуклонно расти, умножаясь параллельно сразу в двух странах. Я даже стих однажды написал:

Когда гуляю в шумной роще
своей бесчисленной родни,
с восторгом думаю о тёще,
откуда вышли все они.

Я этой разновозрастной родне обязан лучшей в моей жизни шуткой. В городе Москве это случилось. Как-то поздно вечером заплакала, устав от гостевания, одна очень тогда маленькая девочка. И я сказал ей:

- Не плачь! Сейчас откроется дверь, и войдёт твоя пьяная прабабушка.

В ту же секунду отворилась дверь, и вошла прабабушка (уже под восемьдесят лет), почти до крайнего предела освежённая каким-то возлиянием по поводу очередного юбилея Герцена или открытия какой-нибудь мемориальной доски.

Тёща моя Лидия Борисовна - интеллигентнейший человек, постоянная участница всяких культурных мероприятий. Однако именно она мне подарила нужные слова для окончания этой книги. Недавно мы приехали в Тель-Авив, там заезжий сумашай-американ делал доклад о некоей советской школе (как раз о той, где некогда училась тёща), и остановились покурить у входа в университет. Вокруг была неописуемая красота из зелени и всяческой архитектуры. Тёща глубоко и с наслаждением затянулась сигаретой, выдохнула дым и, глянув на окружающий ландшафт, сказала с чувством:

- И что же, это всё арабы собираются забрать себе? Хер им в жопу!

Конец второй книги